

Д. С. ЛИХАЧЕВ

**„СЛОВО
О ПОЛКУ
ИГОРЕВЕ“**

И КУЛЬТУРА
ЕГО ВРЕМЕНИ

Издание второе, дополненное

Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
1985

ББК 83.3Р1
Л 65

Оформление художника
Л. ЯЦЕНКО

© Издательство «Художественная литература», 1978 г.

© Главы, отмеченные в содержании знаком*, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1985 г.

Л 4603010100-056 221-85
028(01)-85

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многим читателям вся древнерусская литература известна только по одному памятнику — «Слову о полку Игореве». И «Слово» поэтому представляется одиноким, ни с чем не связанным произведением, сиротливо возвышающимся среди унылого однообразия княжеских свар, диких нравов и жесточайшей нищеты жизни. Эти представления поддерживаются традиционными мнениями о низком уровне культуры Древней Руси, при этом косной и малоподвижной.

Все это глубоко ошибочно. Русь до ее Батыева завоевания была представлена великолепными памятниками зодчества, живописи, прикладного искусства, историческими произведениями и публицистическими сочинениями. Она не была отгорожена от других европейских стран, поддерживала тесные культурные связи с Византией, Болгарией, Сербией, Чехией, Моравией, Польшей, скандинавскими странами. Она была связана с Кавказом и степными народами. Ее культура не была отсталой или замкнутой в себе, отгороженной «китайской стеной» от внешнего культурного мира. Широкое распространение грамотности — это факт, доказанный сейчас многочисленными находками берестяных грамот в Новгороде. Ее культура была единой на всей огромной территории от Ладоги и Белого моря на севере до черноморской Тмуторокани на юге, от Волги на востоке и до Карпат на западе. Брачные узы княжеских семей связывали их с Францией, Германией, Венгрией, Польшей, Скандинавией, Византией, с Кавказом и половецкой кочевой аристократией.

Культура домонгольской Руси была высокой и утонченной. На этом культурном фоне «Слово о полку Игореве» не кажется одиноким, исключительным памятником.

Основная цель этой книги — показать глубокие корни всей художественной и идейной системы «Слова о полку Игореве». Особую роль играют в данном случае внелитературные связи — связи с устной речью, с феодальной символикой, с историческими представлениями, наконец, просто с исторической действительностью и историческим прошлым Руси. Далеко не все из того, что писал

автор о «Слове», вошло в эту книгу. Нет в ней полемики по частным вопросам, например по поводу отдельных произвольных исправлений в «Слове». Автор стоит на той точке зрения, что «Слово» необходимо защищать не только от скептиков, но и от слишком вольного обращения с его текстом, дошедшим до нас в первом издании 1800 г. и в Екатерининской копии. «Слово» можно не только срубить на корню, но и подточить его отдельными исправлениями многочисленных «старателей», пытающихся добыть в нем «золотую руду» эффектных гипотез.

«Слово» — это многостолетний дуб, дуб могучий и раскидистый. Его ветви соединяются с кронами других роскошных деревьев великого сада русской поэзии XIX и XX вв., а его корни глубоко уходят в русскую почву. «Слово», как и всякое живое растение, нуждается в тщательном уходе, во внимательном отношении к нему — как ученых специалистов, так и рядовых читателей. Только в детальном, кропотливом и высококвалифицированном научном изучении раскрывается вся его художественная мудрость, вся его неповторимая, единственная и вместе с тем традиционная и «почвенная» красота.

* * *

В данном издании моей книги (первое издание ее вышло в 1978 г.) коренным образом изменен состав. Исключены полемические главы как потерявшие в настоящее время свой интерес для широкого читателя (исключены главы, где я полемизирую с итальянским ученым Анжелло Данти, с английским ученым Джоном Феннелом, с советскими учеными С. Н. Азбелевым, А. А. Зиминим и писателем О. Сулейменовым). Список моих работ по «Слову о полку Игореве», составленный М. А. Салминой, дополнен новыми сведениями. Более подробная библиография вышла в свое время в серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР» (М., Наука, 1977), а также в дополнении к этой библиографии: «Список печатных трудов академика Д. С. Лихачева за 1977—1981 гг. (подготовила М. А. Салмина)». — В кн.: Археографический ежегодник за 1981 год. М., 1982, с. 326—332.

Вместе с тем в это издание книги включены новые главы: «Летописный свод Игоря Святославича Новгород-Северского»,

«Поэтика повторяемости в „Слове о полку Игореве“», «Тип княжеского певца по свидетельству „Слова о полку Игореве“», «„Свет“ и „тьма“ в „Слове о полку Игореве“», а в последнем разделе книги — «Несколько замечаний в помощь начинающим изучать „Слово о полку Игореве“».

В остальные главы внесены частичные исправления и дополнения.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Что сближает «Слово о полку Игоре» с литературой своего времени и что выделяет в ней? Указывают ли отдельные сближения с литературой XII в. на то, что «Слово» не могло быть порождено другой эпохой, а то, что выделяет «Слово» среди произведений его времени, не противоречит ли его обычной датировке?

А. С. Пушкин писал в своей статье «О ничтожестве литературы русской», изумляясь непреходящей красоте «Слова»: «...«Слово о полку Игоре» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности»¹. С тех пор прошло почти полтора столетия, «Слово» изучалось литературоведами, лингвистами, историками, было открыто много новых памятников древней русской литературы, изучен процесс литературного развития. Подтвердили ли все эти дальнейшие изучения мнение Пушкина об одиночестве «Слова»?

Я думаю, что слова Пушкина подтверждены в том, что перед нами произведение изумительное, «горная вершина». Мы ведь и до сих пор воспринимаем «Слово» как памятник гениальный. Но мнение Пушкина не подтверждено в том, что «Слово» одиноко. «Слово» возвышается, но не в пустыне, не на равнине, а среди горной

7

цепи, где есть и памятники исторические, ораторские, житийные, где есть произведения, сходные по своему типу, где высказывались сходные патриотические идеи, возникали сходные темы. Более чем полуторавековое изучение «Слова» и всей древней русской литературы, в которой были открыты после Пушкина многие новые памятники, позволяют нам согласиться с тем, что было в свое время сказано Б. Д. Грековым: «Волнующая красота и удивляющая глубина «Слова» — не чудо, а закономерность»¹.

Не буду касаться всех связей «Слова» с литературой его времени. В последние десятилетия особенно много сделано в этом направлении. Укажу хотя бы на те многочисленные параллели, которые были подысканы к отдельным местам и образам «Слова» в работах В. П. Адриановой-Перетц, Д. В. Айналова, Б. С. Ангелова, В. Л. Виноградовой, С. А. Высоцкого, Св. Гординского, Н. К. Гудзия, Л. А. Дмитриева, Н. М. Дылевского, А. П. Евгеньевой, И. П. Еремина, К. Менгеса, Н. А. Мещерского, А. С. Орлова, А. В. Соловьева, В. И. Стеллецкого, Б. А. Рыбакова, О. В. Творогова, В. В. Колесова, Р. О. Якобсона и многих других².

В нашу задачу входит выделить те особенности «Слова», которые делают несомненной его средневековую природу.

* * *

Русская литература уже с древнейшего периода отличалась высоким патриотизмом, интересом к темам общественного и государственного строительства, неизменно развивающейся связью с народным творчеством. Она поставила в центр своих исканий человека, она ему служит, ему сочувствует, его изображает, в нем отражает национальные черты, в нем ищет идеалы. В русской литературе XI—XVI вв. не было поэзии, лирики как обособленных жанров, и поэтому вся литература проникнута

8

особым лиризмом¹. Этот лиризм проникает в летописание, в исторические повести, в ораторские произведения. Характерно при этом, что лиризм имеет в древней русской литературе по преимуществу гражданские формы. Автор скорбит и тоскует не по поводу своих личных несчастий, он думает о своей родине, к ней по преимуществу обращает всю полноту своих личных чувств. Это лирика не личностного характера, хотя личность автора в ней и выражается призывами к спасению родины, к преодолению неурядиц в общественной жизни страны, острым выражением горя по поводу поражений или междоусобий князей.

Эта типичная особенность нашла себе одно из самых ярких выражений в «Слове о полку Игореве». «Слово» посвящено теме защиты родины, оно лирично, исполнено тоски и скорби, гневного возмущения и страстного призыва. Оно эпично и лирично одновременно. Автор постоянно вмешивается в ход событий, о которых рассказывает. Он прерывает самого себя восклицаниями тоски и горя, как бы хочет остановить тревожный ход событий, сравнивает прошлое с настоящим, призывает князей-современников к активным действиям против врагов родины.

Совершенно прав И. П. Еремин, когда пишет, что автор «Слова» «действительно заполняет собою все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, автор, вносит в «Слово» и ту лирическую стихию и тот горячий общественно-политический пафос, которые так характерны для этого произведения»².

Те же черты мы найдем во всех исторических повестях Древней Руси, но особенно характерны они для XII и XIII вв. — для «Слова о погибели Русской земли», для «Повести о разорении Рязани Батыем», для повестей о битве на Калке, о взятии Владимира татарами и многих других.

И. П. Еремин справедливо отмечает в «Слове о полку

9

Игореве» многие приемы ораторского искусства. Это еще не служит, как мне кажется, доказательством принадлежности «Слова» к жанру ораторских произведений, но это ярко свидетельствует о пронизывающей «Слово» стихии устной речи. Эта стихия устной речи вообще характерна для древнерусской литературы, как бы еще не освободившейся от традиций устных художественных произведений, от традиций речевых выступлений¹ и церковной проповеди, но вместе с тем теснейшим образом связана с той лирической стихией, о которой говорилось выше. Через ораторские обращения и ораторские восклицания передавалось авторское отношение к событиям, изображаемым в рассказе. Перед нами в «Слове», как и во многих других произведениях Древней Руси, рассказ, в котором автор чаще ощущает себя говорящим, чем пишущим, своих читателей — слушателями, а не читателями, свою тему — темой поучения, а не рассказа.

Автор «Слова» обращается к своим князьям-современникам и в целом, и по отдельности. По именам он обращается к двенадцати князьям, но в число его воображаемых слушателей входят все русские князья и, больше того, все его современники вообще. Это лирический призыв, широкая эпическая тема, разрешаемая лирически. Образ автора-наставника, образ читателей-слушателей, тема произведения, средства убеждения — все это как нельзя более характерно для древней русской литературы в целом.

* * *

Не случайно поводом для призыва князей к единению взято в «Слове» поражение русских князей. Только непониманием содержания «Слова» можно объяснить тот факт, что А. Мазон считал целью «Слова» обоснование законности территориальных притязаний Екатерины II на юге и западе России². Для такого рода притязаний скорее бы

подошла тема победы, именно победа могла бы сослужить наилучшую службу для выражения лести... Для той шовинистической цели, которую предполагает А. Мазон в «Слове», толкуя его как произведение XVIII в., незачем было менять тему «Задонщины», повествующей

10

о *победе* русского оружия, на тему *поражения* мелкого русского удельного князя Игоря Святославича от войск половцев. Для своего времени тема поражения была органически связана с призывом исправиться и постоять за Русскую землю. Вспомним церковные поучения XI—XIII вв. Они прикреплялись к несчастным общественным событиям — нашествиям иноплеменников, землетрясениям, недородам. Начиная от «Почения о казнях божиих», помещенного в летописи под 1067 г., и кончая поучениями Серапиона Владимирского, все призывы церковных проповедников строились на примерах общественных несчастий. Не только церковные проповедники, но и летописцы стремились высказать хотя бы несколько слов поучения по поводу того или иного поражения русских войск, голода, недорода, пожара, землетрясения, разорения городов и сел половцами, а впоследствии татарами и т. д. Типична сама форма этих поучений: если они коротки — это восклицания, напоминающие авторские отступления в «Слове о полку Игореве» («о горе и тоска!»; «тоска и туга!»; «о, велика скорбь бяше в людех!» и т. д.); если они пространны — это лирические призывы к современникам исправиться, стать на путь покаяния, активно сопротивляться злу.

Общественные несчастья служили нравоучительной основой и для житийной литературы. Убийство Бориса и Глеба, убийство Игоря Ольговича служили исходной темой для проповеди братолюбия, княжеского единения и княжеского послушания старшему.

Характерно, что не только церковная, но и чисто светская литература, светское нравоучение, политическая агитация находили себе повод в общественных несчастьях. Поражение обычно служило в Древней Руси стимулом для подъема общественного самосознания, для начала новых действий, реформ, введения новых установлений. Это была до известной степени реакция здорового, полного сил общественного организма, признак его жизнеспособности и уверенности в своем будущем. Вспомним всю реформаторскую деятельность Владимира Мономаха. Он стремился использовать уроки неурядиц и поражений для новых и новых обращений к русским князьям. Замечательно при этом, что проповедь политического единения, призывы к исправлению нравов или к новым военным действиям против врагов опирались на события только что совершившиеся, которые еще живо ощущались, не остыли, были перед глазами у всех, были

11

полны эмоциональной силы. Этим во много раз увеличивалась действенность проповеди. В древней литературе XI—XIII вв. почти нет случая, чтобы основной нравоучительный толчок давался событием далекого прошлого¹. Нравоучение могло широко использовать воспоминания о прошлом (особенно когда нужно было сравнить печальное настоящее с цветущим прошлым, как, например, в «Слове о погибели Русской земли»), но тем не менее *поводом* для написания нравоучения прошлое не служило. Литературная тенденция была остро современна.

Почти все произведения древней русской литературы XI—XIII вв., посвященные реальным событиям, избирают эти события из живой современности, описывают события только что случившиеся. События далекого прошлого служат основанием только для новых компиляций, для новых редакций старых произведений, для сводов — летописных и хронографических. Вот почему самые события, изображенные в «Слове», служат до известной степени основанием для датировки столь публицистического произведения, как «Слово». «Слово о полку Игореве» и в этом отношении типично. Тема поражения, как

основа для поучения, для призыва к единению, может быть избрана только для произведения, составленного тотчас же после этого поражения.

* * *

Давно обращала на себя внимание жанровая одинокость «Слова» среди памятников древнерусской литературы. Ни одна из гипотез, как бы она ни казалась убедительной, не привела полных аналогий жанру «Слова». Если «Слово» — светское ораторское произведение XII в., то других светских ораторских произведений XII в. пока еще не обнаружено. Если «Слово» — былина XII в., то и былины от этого времени до нас не дошло. Если это воинская повесть, то такого рода воинских повестей мы также не знаем.

Присмотримся к некоторым особенностям жанровой системы древнерусской литературы XI—XIII вв.

Жанровая система древней русской литературы была довольно сложной. Основная часть жанров была заимствована русской литературой в X—XIII вв. из литературы

[12]

византийской: в переводах и в произведениях, перенесенных на Русь из Болгарии. В этой перенесенной на Русь системе жанров были в основном церковные жанры: жанры произведений, необходимых для богослужения и для церковной жизни — монастырской и приходской. Здесь должны быть отмечены различные руководства по богослужению, молитвы и жития святых различных типов; произведения, предназначавшиеся для благочестивого индивидуального чтения и т. д. Но, кроме того, были и сочинения более «светского» характера: разного рода естественнонаучные сочинения (шестодневы, бестиарии, алфавитарии), сочинения по всемирной истории (по ветхозаветной и римско-византийской), сочинения типа «эллинистического романа» («Александрия») и многие другие.

Разнообразие перешедших на Русь жанров поразительно. Однако вот на что следует обратить внимание. Перешедшие на Русь жанры по-разному продолжали здесь свою жизнь. Были жанры, которые существовали только вместе с перенесенными на Русь произведениями и самостоятельно здесь не развивались. И были другие, продолжавшие на Руси активное свое существование. В их рамках создавались новые произведения: например, жития русских святых, проповеди, поучения, реже молитвы и другие богослужебные тексты.

Таким образом, среди жанров, перенесенных на Русь из Византии и Болгарии, существовали «живые» жанры и «мертвые».

Кроме этой традиционной системы литературных жанров, существовала и другая традиционная жанровая система — фольклорная.

Одна особенность жанровой системы фольклора должна быть отмечена прежде всего. Фольклор в XI—XIII вв. был тесно связан с литературой, и его жанры были соединены с жанрами литературы. Те и другие составляли некое двуединство словесного искусства. Поясню, что я имею в виду.

В XI—XIII вв. граница между фольклором и литературой проходила не там, где она проходит в новое время. В новое время фольклор — это искусство народа, крестьянства, низших слоев населения. В средние века и в особенности в раннем средневековье фольклор распространен во всех слоях общества: и у крестьян, и у феодалов. Граница между литературой и фольклором в это время не столько социальная, сколько жанровая.

[13]

Есть жанры, которые требуют письменного оформления, и есть жанры, которые требуют устного исполнения. А поскольку грамотность была распространена не во всех слоях общества, то не столько фольклор, сколько литература была ограничена и

социально. Фольклор же в период раннего феодализма этих социальных ограничений в целом не знал. Как известно, в новое и особенно новейшее время положение обратное: не ограничена социально литература, а социально ограничен фольклор.

Обе традиционные системы жанров — литературная и фольклорная — находились во взаимной связи. Отдельные потребности в словесном искусстве удовлетворялись только фольклором, другие — только литературой.

В самом деле. Любовная лирика, развлекательные жанры были на Руси до XVII в. только в фольклоре. Церковные же и различные сложные исторические жанры были только в литературе.

Отсутствие в древней русской литературе от XI и до XVII в. любовной лирики, театра, ограниченность развлекательных сочинений, как я думаю, объясняется именно тем, что в фольклоре была уже высокая личная лирика, была сказка, были игры и представления скоморохов. А фольклор обслуживал всех.

Итак, в древней русской литературе ко времени создания «Слова о полку Игореве» существовали две традиционные системы жанров, тесно связанные друг с другом и взаимно друг друга дополнявшие.

Однако, как бы ни была богата традиционная (двойная) система жанров, в XI—XIII вв. она оказалась все же недостаточной.

Самым кратким образом остановимся на вопросе о том, почему же она оказалась недостаточной.

XI—XIII вв. на Руси — это время необыкновенных по быстроте, широте и глубине социальных и политических преобразований. Русь из родового общинного общества быстро становится обществом феодальным. Феодализация происходит ускоренными темпами. Возникает колоссальное, самое большое в тогдашней Европе государство. Это государство принимает развитую христианскую религию, на Русь переносится высокая византийская культура. Возникает новое историческое и патриотическое самосознание, которое требует новых жанровых форм для своего выражения.

В результате поисков новых жанров в русской литературе и, я думаю, в фольклоре появляется много произведений,

14

которые трудно отнести к какому-нибудь из прочно сложившихся традиционных жанров. Эти произведения стоят как бы вне их.

Ломка традиционных форм вообще была довольно обычной на Руси. В разные эпохи и в разных обстоятельствах стремление «начать все сначала» овладевало обществом. Дело в том, что новая явившаяся на Русь культура была хотя и очень высокой, создав первоклассную «интеллигенцию», но налегла тонким слоем — слоем хрупким, ломким. Вследствие этой хрупкости и ломкости образование новых форм, появление вне традиционных произведений было очень облегчено.

Вместе с тем все более или менее выдающиеся произведения литературы, основанные на глубоких внутренних потребностях, часто вырываются за пределы традиционных форм. В самом деле, такое выдающееся произведение, как «Повесть временных лет», не укладывается в воспринятые на Руси жанровые рамки. «Повесть об ослеплении Василька Тербовльского» — это тоже произведение вне традиционных жанров.

Ломают традиционные жанры произведения князя Владимира Мономаха: его «Поучение», его автобиография, его письмо к Олегу Святославичу.

Вне традиционной жанровой системы находится «Моление Даниила Заточника», «Слово о гибели Русской земли», «Похвала» Роману Галицкому и многие другие замечательные произведения древней русской литературы XI—XIII вв. В последующее время в XIV—XVI вв., литературные произведения укладываются в установившиеся

жанры — и те, что были традиционно восприняты из византийской литературы, и те, что были вновь созданы на Руси.

Таким образом, для XI—XIII вв. характерно, что многие более или менее талантливые произведения отличаются младенческой неопределенностью форм.

Забегая несколько вперед, скажу, что неясность жанровой принадлежности «Слова о полку Игореве» — явление как раз этого порядка, типичное для литературы XI—XIII вв.

Следует предположить, что новые жанры или новые видоизменения старых жанров образовались в раннефеодальный период также и в фольклоре. Эти изменения нам очень мало известны, как мало известен и самый фольклор этого периода, очень слабо отразившийся в письменности XI—XIII вв.

15

Свидетельством появления новых жанров в эпическом творчестве является «Слово о полку Игореве» — памятник, стоящий на грани литературы и фольклора.

Обратим внимание на одну черту общественного сознания раннефеодального общества, вызвавшего формирование новых жанров и в литературе, и в фольклоре.

Раннефеодальные государства были очень непрочными. Рост производительных сил при недостаточности экономических связей приводил к обособлению отдельных княжеств. Единство государства постоянно нарушалось раздорами феодалов. Однако общность языка, фольклора, бытовых и исторических традиций, память об общности исторического прошлого и постоянная внешняя опасность настоятельно требовали сохранения единства страны. Чтобы удержать единство, требовалась высокая общественная мораль, высокое чувство чести, верности, самоотверженности, высокое патриотическое самосознание и высокое развитие словесного искусства — жанров политической публицистики, жанров, воспевающих любовь к родной стране, жанров лиро-эпических.

Единство государства, при недостаточности связей экономических и военных, не могло существовать без интенсивного развития патриотических качеств у феодалов и рядовых воинов. Вот почему развивается личностное начало в эпосе. Певец-исполнитель выражает свое личное отношение к рассказываемым событиям.

Для раннефеодальной литературы и для раннефеодального эпоса в равной степени характерны произведения, окрашенные чувством сильной личной привязанности к родной стране, недовольством существующим положением, особенно раздорами и вызванными этими раздорами военными поражениями. В раннефеодальном эпосе Франции типичны в этом отношении *chansons de geste*. Эпос становится лиричен и публицистичен. В нем отражаются симпатии к сильной королевской власти, осуждение своевольных поступков феодалов и вместе с тем похвала их чувству чести, их рыцарским добродетелям, скорбь по поводу вызванных их своевольством поражений.

Возвращаясь к проблеме образования новых жанров в русской литературе XI—XIII вв., необходимо указать на то, что новые жанры по большей части образуются на стыке фольклора и литературы. Такие произведения, как «Слово о гибели Русской земли», «Моление Даниила Заточника», — полулитературные-полуфольклорные.

16

Возможно даже, что зарождение новых жанров происходит в устной форме, а потом уже закрепляется в литературе.

Типичным мне представляется образование нового жанра в «Молении Даниила Заточника». В свое время я писал о том, что это произведение *скоморошь*¹. Скоморохи Древней Руси были близки к западноевропейским жонглерам и шпильманам. Близки были и их произведения. «Моление Даниила Заточника» было посвящено профессиональной скоморошьей теме. В нем скоморох Даниил выпрашивает «милость» у князя. Для этого он восхваляет сильную власть князя, его щедрость и одновременно стремится возбудить

жалость к себе, расписывая свои несчастья и пытаясь рассмешить слушателей своим остроумием.

Другой тип произведения, гораздо более серьезного, но вышедшего из той же среды княжеских певцов, представляет собой «Слово о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» принадлежит к числу книжных отражений раннефеодального эпоса. Оно стоит в одном ряду с такими произведениями, как немецкая «Песнь о Нибелунгах», грузинский «Витязь в тигровой шкуре», армянский «Давид Сасунский» и т. д. Но особенно много общего в жанровом отношении у «Слова о полку Игореве» с «Песнью о Роланде».

Автор «Слова о полку Игореве» причисляет свое произведение к числу «трудных повестей», то есть к повествованиям о военных деяниях (ср. *chansons de geste*). «Слово» оплакивает поражение Игоря. Это поражение — результат безрассудного, безумно смелого похода небольшого войска князя Игоря в далекие степи — на неверных язычников «паганых» (*paganus* — язычник). Трагичность поражения усугубляется тем, что войско идет навстречу неминуемой гибели, но не может вернуться из-за высокого чувства чести князя и его дружины.

Как и в «Песне о Роланде», где седобородый император Карл сочувствует Роланду и оплакивает его, хотя и осуждает, — в «Слове о полку Игореве» седой киевский князь Святослав оплакивает гибель Игорева войска, жалеет о судьбе Игоря и одновременно его осуждает.

Карл и Святослав символизируют собой национальное

17

и государственное единство своих стран. Они мирно управляют своими странами, пока герои идут в поход.

В русских былинах образам Карла и Святослава соответствует образ киевского князя Владимира Красное Солнышко, при дворе которого живут богатыри, совершающие свои подвиги по защите Русской земли от врагов-язычников.

В «Слове о полку Игореве» вставлено (инкрустировано) другое произведение — «Плач Ярославны», — очень напоминающее западноевропейские песни о разлуке. Как и песни о разлуке (*chansons de toile*), плач Ярославны, жены князя Игоря, оплакивает разлуку с мужем, ушедшим в далекий поход на язычников.

В «Слове о полку Игореве», как и в *chansons de geste*, сильно сказывается авторское начало. Пока это авторское начало еще слито с началом исполнительским, не отделено от него. В «Слове» автор говорит о себе как об исполнителе своего произведения под аккомпанемент гуслей. Однако это авторско-исполнительское начало чрезвычайно важно для понимания особенностей жанра. Оно дает возможность лирически интерпретировать события, сопровождать рассказ горестными размышлениями, лирическими восклицаниями и отступлениями и обратиться к слушателям с призывом объединиться и стать на защиту Русской земли.

Лирическое начало пронизывает собой весь стиль «Слова о полку Игореве». В наиболее патетических местах автор дважды восклицает: «О русская земля, уже ты за холмом!» Дважды автор горестно восклицает, прерывая свой рассказ: «А Игоревое войско не воскресить!» Для «Песни о Роланде», как известно, также характерны повторные тирады (*laisses similaires*).

В «Слове о полку Игореве», как и в «Песне о Роланде», кажется, что поэт, пораженный горем, не может расстаться с этим горем, не может перейти к другой теме. Он как бы останавливает свой рассказ, предаваясь горестным размышлениям и воспоминаниям о таких же несчастьях в прошлом.

Между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде» есть и другие черты типологической близости: вещие сны, знамения, приметы, заботливое перечисление военной добычи и многое другое.

О близости «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» писали многие русские и советские ученые — Полевой, Погодин, Буслаев, Майков, Каллаш, Дашкевич,

18

Дынник и Робинсон¹. Однако прямой генетической зависимости «Слова» от «Песни о Роланде» здесь нет. Есть только общность жанра, возникшего в сходных условиях раннефеодального общества.

Но между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде» есть и существенные отличия. Эти различия не менее важны, чем сходства, для истории раннефеодального эпоса Европы.

Различия эти вызваны вот чем. «Слово о полку Игореве» создано вскоре после событий, по-видимому, через несколько лет, тогда как «Песнь о Роланде» формировалась столетиями. Во всяком случае, Оксфордская — наиболее ранняя — рукопись «Песни о Роланде» относится к XI в. и отстоит от событий поражения Роланда (778 г.) на три-четыре века.

Это различие сказывается на приемах художественного обобщения в том и другом произведении.

Чудесный, сверхъестественный элемент в «Слове о полку Игореве» слабее, чем в «Песне о Роланде». Гиперболизация в «Слове о полку Игореве» не достигла такой сильной степени, как в «Песне о Роланде». Поэтому образ князя Святослава ближе к историческому князю Святославу, чем образ императора Карла в «Песне о Роланде» к историческому Карлу.

«Слово о полку Игореве» историчнее, ближе к историческим событиям, чем «Песнь о Роланде». Хотя, надо сказать, что тенденции гиперболизации и введения чудесного элемента ясны уже и в «Слове». Гиперболизированы мудрость и сила Святослава, гиперболизированы подвиги брата Игоря — Всеволода Буй Тура. Что же касается чудесного элемента, то в «Слове о полку Игореве» он все же интенсивно проникает в описания природы. Как и в «Песне о Роланде», природа сочувствует герою, предупреждает его об опасности, помогает ему. Это сочувствие природы русскому войску и предводителю похода сильно увеличивает трагичность и лиричность всего произведения.

Вместе с тем, поскольку «Слово о полку Игореве» ближе к животрепещущим событиям, которые послужили его темой, в нем сильнее сказывается, чем в «Песне

19

о Роланде», публицистический элемент, вернее — лирико-публицистический. В «Слове» сильнее, чем в «Песне о Роланде», осуждение князей-современников за их междоусобия и легкомысленную отвагу, сильнее звучит призыв объединиться и общими усилиями защитить Русскую землю от «поганых» — язычников.

«Слово о полку Игореве» «злободневнее», чем «Песнь о Роланде».

Наконец, есть и еще одно важное отличие «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде». Отличие это заложено как будто бы в различиях самих событий. Дело в том, что герой «Песни о Роланде» погибает, герой же «Слова о полку Игореве» бежит из плена. Поэтому «Слово о полку Игореве» заканчивается радостно — «славой» Игорю.

Однако наличие в «Слове о полку Игореве» элементов «славы» могло явиться не только результатом темы, событий, легших в основу произведения, но и особенностей русского жанра «трудных повестей».

В свое время я уже неоднократно писал о том, что в «Слове» соединены два фольклорных жанра — «слава» и «плач»: прославление князей с оплакиванием печальных

событий. В самом «Слове» и «плачи», и «славы» упоминаются неоднократно. И в других произведениях Древней Руси мы можем заметить то же соединение «слав» в честь князей и «плача» по погибшим. Так, например, близкое по ряду признаков к «Слову о полку Игореве» — «Слово о гибели Русской земли» представляет собой соединение «плача» о гибнущей Русской земле со «славой» ее могучему прошлому.

Это соединение в «Слове о полку Игореве» жанра «плачей» с жанром «слав» не противоречит тому, что «Слово о полку Игореве» как «трудная повесть» близка по своему жанру к *chansons de geste*. «Трудные повести», как и *chansons de geste*, принадлежат к новому жанру, очевидно соединившему при своем образовании два более древних жанра — «плачи» и «славы». «Трудные повести» оплакивали гибель героев, их поражение и восхваляли их рыцарские доблести, их верность и их честь.

Как известно, «Песнь о Роланде» не есть простая запись устного, фольклорного произведения. Это книжная обработка устного произведения. Во всяком случае, такое соединение устного и книжного представляет текст «Песни о Роланде» в известном Оксфордском списке.

То же самое мы можем сказать и о «Слове о полку

20

Игореве». Это книжное произведение, возникшее на основе устного. В «Слове» органически слиты фольклорные элементы с книжными.

Характерно при этом следующее. Больше всего книжные элементы сказываются в начале «Слова». Как будто бы автор, начав писать, не мог еще освободиться от способов и приемов литературы. Он недостаточно еще оторвался от письменной традиции. Но по мере того как он писал, он все более и более увлекался устной формой. С середины он уже не пишет, а как бы записывает некое устное произведение. Последние части «Слова», особенно «плач Ярославны», почти лишены книжных элементов.

Выше я утверждал, что в XI—XII вв. на Руси недостаточно оформились многие новые жанры и были произведения, которые стояли обособленно в жанровом отношении, носили монадный характер.

Однако эта жанровая обособленность вела к образованию новых жанров. Мы не можем сейчас решить окончательно: было ли «Слово о полку Игореве» совершенно одиноко в жанровом отношении, как некая «трудная повесть», *chanson de geste*, или были и другие произведения того же жанра. Во всяком случае, одинокое или не одинокое, «Слово» представляло собой некое закономерное и характерное явление для литературы и для фольклора раннефеодального периода.

Попытаемся все же проанализировать своеобразную гибридность «Слова» и прежде всего его жанровые связи с народной поэзией.

Связь «Слова» с произведениями устной народной поэзии яснее всего ощущается, как я уже сказал, в пределах двух жанров, чаще всего упоминаемых в «Слове»: плачей и песенных прославлений — «слав», хотя далеко не ограничивается ими. «Плачи» и «славы» автор «Слова» буквально приводит в своем произведении, им же он больше всего следует в своем изложении. Их эмоциональная противоположность дает ему тот обширный диапазон чувств и смен настроений, который так характерен для «Слова» и который сам по себе отделяет его от произведений устной народной словесности, где каждое произведение подчинено в основном одному жанру и одному настроению.

Плачи автор «Слова» упоминает не менее пяти раз: плач Ярославны, плач жен русских воинов, павших в походе Игоря, плач матери Ростислава; плачи же имеет

21

в виду автор «Слова» тогда, когда говорит о столах Киева и Чернигова и всей Русской земли после похода Игоря. Дважды приводит автор «Слова» и самые плачи: плач Ярославны и плач русских жен. Многократно он отвлекается от повествования, прибегая к

лирическим восклицаниям, столь характерным для плачей: «О, Руская земле! уже за шеломянемъ еси!»; «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»; «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?»; «А Игорева храбраго плъку не крѣсити!».

Близко к плачам и «золотое слово» Святослава, если принимать за золотое слово только тот текст «Слова», который заключается упоминанием Владимира Глебовича: «Туга и тоска сыну Глѣбову». «Золотое слово» «съ слезами смѣшено», и Святослав говорит его, обращаясь, как и Ярославна, к отсутствующим — к Игорю и Всеволоду Святославичам. Автор «Слова» как бы следует мысленно за полком Игоря и мысленно его оплакивает, прерывая свое повествование близкими к плачам лирическими отступлениями: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине!»

Близость «Слова» к плачам особенно сильна в плаче Ярославны. Автор «Слова» как бы цитирует плач Ярославны — приводит его в более или менее большом отрывке или сочиняет его за Ярославну, но в таких формах, которые действительно могли ей принадлежать.

Плач русских жен по воинам Игоря автор «Слова» передает не только как лирическое излияние, но старается воспроизвести перед воображением читателя и сопровождающее его языческое действо: «За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ».

Не менее активно, чем «плачи», участвуют в «Слове» стоящие в нем на противоположном конце сложной шкалы поэтических настроений песенные «славы». С упоминания о славах, которые пел Боян, «Слово» начинается. Славой Игорю, Всеволоду, Владимиру и дружине «Слово» заключается. Ее поют Святославу немцы и венецианцы, греки и моравы. Слава звенит в Киеве, ее поют девицы на Дунае. Она вьется через море, пробегает пространство от Дуная до Киева. Отдельные отрывки из «слав» как бы звучат в «Слове»: и там, где автор говорит о Бояне, и там, где он слагает примерную песнь

22

в честь похода Игоря. «Славы» то тут, то там слышатся в обращениях автора «Слова» к русским князьям, в диалоге Игоря с Донцом («Княже Игорю, не мало ти величия...»; «О, Донче! не мало ти величия...»). Наконец, они прямо приводятся в его заключительной части: «Солнце свѣтитъ на небесѣ, — Игорь князь въ Руской земли».

Итак, «Слово» очень близко к народным «плачам» и «славам» (песенным прославлениям). И «плачи», и «славы» часто упоминаются в летописях XII—XIII вв. «Слово» близко к ним и по своей форме, и по своему содержанию, но в целом это, конечно, не «плач» и не «слава». Народная поэзия не допускает смешения жанров. Это произведение книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии.

Было ли «Слово» единственным произведением, столь близким к народной поэзии, в частности к двум ее видам: к «плачам» и «славам»? Этот вопрос очень существен для решения вопроса о том, противоречит ли «Слово» своей эпохе по стилю и жанровым особенностям.

От времени, предшествующего «Слову», до нас не дошло ни одного произведения, которое хотя бы отчасти напоминало «Слово» по своей близости народной поэзии. Мы можем найти отдельные аналогии «Слову» в деталях, но не в целом. Только *после* «Слова» мы найдем в древней русской литературе несколько произведений, в которых встретимся с тем же сочетанием плача и славы, с тем же дружинным духом, с тем же воинским характером, которые позволяют объединить их со «Словом» по жанровым признакам.

Мы имеем в виду следующие три произведения: «Похвалу Роману Мстиславичу Галицкому», читающуюся в Ипатьевской летописи под 1201 г., «Слово о погибели Русской земли» и «Похвалу роду рязанских князей», дошедшую до нас в составе повестей о Николе Заразском. Все эти три произведения обращены к прошлому, что составляет в них основу для сочетания плача и похвалы. Каждое из них сочетает книжное начало с духом народной поэзии «плачей» и «слав». Каждое из них тесно связано с дружинной средой и дружинным духом воинской чести.

«Похвала Роману Мстиславичу» — это прославление его и плач по нем. Это одновременно плач по бывшему могуществу Русской земли и слава ей. В текст этой «жалости и похвалы» введен краткий рассказ о траве евшан

23

и половецком хане Отроке. Похвала посвящена Роману и одновременно Владимиру Мономаху. Ощущение жанровой близости «Слова о полку Игореве» и «Похвалы Роману Мстиславичу» было настолько велико, что оно позволяло даже некоторым исследователям видеть в «Похвале» отрывок, отделившийся от «Слова». Но «Похвала» и «Слово» имеют и существенное различие. Эти различия не жанрового характера. Они касаются лишь самой авторской манеры. Так, например, автор «Похвалы Роману» сравнивает его со львом и с крокодилом («Устремил бо ся бяше на поганья, яко и лев, сердит же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодил, и прехожаше землю их, яко и орел, храбор бо бе, яко и тур»). Автор «Слова о полку Игореве» постоянно прибегает к образам животного мира, но никогда не вводит в свое произведение иноземных зверей. Он реально представляет себе все то, о чем рассказывает и с чем сравнивает. Он прибегает только к образам русской природы, избегает всяких сравнений, не прочувствованных им самим и не ясных для читателя.

«Слово о погибели Русской земли» — также плач и слава, «жалость и похвала». Оно полно патриотического и одновременно поэтического раздумья над былой славой и могуществом Русской земли. В сущности, и в «Похвале Роману» тема былого могущества Русской земли — центральная. Здесь, в «Слове о погибели», эта тема не заслонена никакой другой. Как и «Похвала Роману», она насыщена воздухом широких просторов родины. В «Похвале» — это описание широких границ Русской земли, подвластной Мономаху. Здесь, в «Слове о погибели», это также еще более детальное описание границ Руси, подчиненной тому же Мономаху. «Отселе до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи, и от ятвязи до литвы, до немецъ; от немецъ до корелы, от корелы до Устьяга, где тамо бяху тоимичи погании, и за Дышючим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис, от чермис до морьдвы, — то все покорено было богом христьянскому языку поганьскыя страны: великому князю Всеволоду, отцу его Юрью, князю кыевьскому, деду его Володимеру и Мономаху, которым то половьцы дети своя полошаху в колыбели, а литва из болота на свет не выникваху, а угры твердыху каменныя городы железными вороты, абы на них великый Володимер тамо не въехал, а немци радовахуся, далече будуче за синим морем».

24

Не только поэтическая манера сливать похвалу и плач, не только характер темы сближают «Похвалу Роману» со «Словом о погибели», но и самое политическое мировоззрение, одинаковая оценка прошлого Русской земли. В «Слове о погибели» нет только того элемента рассказа, который есть в «Похвале Роману» и который сближает ее со «Словом о полку Игореве»¹.

Наконец, тем же грустным воспоминанием о былом могуществе родины, тою же «похвалою» и «жалостью» овеяно и третье произведение этого вида — «Похвала роду рязанских князей». Эта последняя восхваляет славные качества рода рязанских князей, их княжеские добродетели, но и за этой похвалой старым рязанским князьям ощутимо стоит образ былого могущества Русской земли. О Русской земле, о ее чести и могуществе

думает автор «Похвалы», когда говорит о том, что рязанские князья были «к приезжим приветливы», «к посолником величавы», «ратным во бранях страшны являшеся, многие враги встаючи на них побежаше, и во всех странах славно имя имяше». В этих и во многих других местах «Похвалы» рязанские князья рассматриваются как представители Русской земли, и именно ее чести, славе, силе и независимости и воздает похвалу автор. Настроение скорби о былой независимости родины пронизывает собой всю «Похвалу роду рязанских князей». Таким образом, и здесь мы вновь встречаем то же сочетание славы и плача, которое мы отметили и в «Слове о полку Игореве». Это четвертое (включая и «Слово о полку Игореве») сочетание плача и славы окончательно убеждает нас в том, что оно отнюдь не случайно и в «Слове о полку Игореве». Ведь и «Задонщина» в конце XIV в. подхватила в «Слове» то же сочетание «похвалы» и «жалости», создав и самое это выражение «похвала и жалость», которым мы пользовались выше.

Следовательно, «Слово о полку Игореве» не одиноко в своем сочетании плача и славы. Оно, во всяком случае, имеет своих преемников, если не предшественников. И вместе с тем на фоне «Похвалы Роману», «Похвалы роду рязанских князей» и «Слова о погибели Русской земли» «Слово о полку Игореве» глубоко оригинально.

25

Оно выделяется среди них силой своего художественного воздействия. Оно шире по кругу охватываемых событий. В еще большей мере, чем остальные произведения, сочетает в своей стилистической системе книжные элементы с народными. Но факт то, что «Слово» не абсолютно одиноко в русской литературе XII—XIII вв., что в нем могут быть определены черты жанровой и стилистической близости с тремя произведениями XIII в., каждое из которых стало известно в науке *после* открытия и опубликования «Слова о полку Игореве».

* * *

Языческие элементы в «Слове о полку Игореве» выступают, как известно, очень сильно. Это обстоятельство всегда привлекало внимание исследователей, а у скептиков вызывало новые сомнения в подлинности «Слова». Большинство исследователей тем не менее объясняли это фольклорностью «Слова», другие в последнее время видели в этом характерное явление общеевропейского возрождения язычества в XII в.¹

Действительно, «Слово о полку Игореве» выделяется среди других памятников древней русской литературы не только тем, что языческие боги упоминаются в нем относительно часто, но и отсутствием обычной для памятников древнерусской литературы враждебности к язычеству.

Тем не менее язычество «Слова» не только не противоречит нашим современным представлениям об истории русской религиозности и об отношении к язычеству

26

в Древней Руси в XII в., но в известной мере подтверждает их. Особенное значение имеют в изучении этого вопроса работы Е. В. Аничкова¹ и В. Л. Комаровича².

Обратим внимание на то обстоятельство, что в «Слове» очень часто говорится о «внуках» языческих богов: Боян «Велесов внуче», ветры «Стрибожи внуци», «жизнь Дажьбожа внука», «въ силахъ Дажьбожа внука». А. Мазон считает, что перед нами в данном случае типичное псевдоклассическое клише: Боян называется внуком Велеса, подобно тому как поэты XVIII в. назывались сыновьями Аполлона³. Однако сын и внук — это совсем не одно и то же. Внук в данном случае несомненно имеет значение «потомка» (ср. «Хамови внуци» — Изборник 1073 г.; «внуки святого великаго князя Владимира»; «внучата великаго князя Святослава Ольговича Черниговского» — «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др.).

В «Слове» перед нами несомненные пережитки религии еще родового строя. Боги — это родоначальники. В. Л. Комаровичу, как мне кажется, удалось вполне убедительно показать, что культ Рода глубоко проник в сознание людей домонгольской Руси и в пережиточной форме сохранялся даже в политических представлениях и политической действительности XII—XIII вв. Культ родоначальника сказался, в частности, в элементах религиозного отношения к Олегу Вещему, воспринимавшемуся одно время как родоначальник русских князей⁴, даже в политической системе «лествичного восхождения» князей и во многом другом. Исследование В. Л. Комаровича показывает целую систему представлений XII—XIII вв., связанную с этими пережитками культа Рода.

В «Слове о полку Игореве» эти пережитки также могут быть отмечены — не только в том, что люди и явления признаются потомством богов, но и в самой системе

27

художественного обобщения. В самом деле, для чего в «Слове» даны большие отступления об Олеге Гориславиче (Святославиче) и Всеславе Полоцком? Многим из исследователей эти отступления казались совершенно непонятными: в них видели то вставки, то проявления неуместной придворной лести, разрывающей художественное единство произведения¹.

На самом деле, как это можно заключить из материалов исследования В. Л. Комаровича, эти отступления закономерны: князья Ольговичи характеризуются по их родоначальнику Олегу, Всеславичи — по их родоначальнику Всеславу Полоцкому². Перед нами единое представление о взаимоотношении предков и потомков, в котором элементы культа перекрещиваются с элементами политических воззрений, быта и, как мне представляется, художественного мышления.

Как показал Е. В. Аничков, в Древней Руси существовало два взгляда на происхождение языческих богов. Согласно первому взгляду, языческие боги — это бесы. Взгляд этот опирался на Библию, высказывания апостолов и отцов церкви. Языческие боги названы бесами во Второзаконии (82₁₆₋₁₇), в Псалмах (105₃₇), у апостола Павла (1-е Послание Коринфянам, 10₂₀). Взгляд этот усвоен был нашей древнейшей летописью в рассказе о варягах-мучениках и о крещении Руси, в рассказе летописи под 1067 г., и т. д. Этот взгляд требовал умолчания имен богов, упоминание которых считалось греховным. Е. В. Аничков обращает внимание на учение Иисуса Навина — «не вспоминайте имени богов их» (Иисус Навин, 23₇) — и на слова псалма «не упомяну имен их устами моими» (15₄), которые объясняют нежелание древнерусских книжников называть имена древнерусских богов и даже особую формулу древнерусских поучений, отмечающих, вслед за рано переведенной в славянской письменности проповедью Ефрема Сирина против вновь впадающих в язычество, что о последнем «срам» говорить³.

Этот древнейший взгляд на язычество, как отмечает Е. В. Аничков, по мере успехов борьбы с язычеством

28

сменяется более спокойным к нему отношением. Развивается второй взгляд на язычество: языческие боги не заключают в себе ничего сверхъестественного. Боги — это простые люди, которых потом обоготворило потомство. Еще в «Речи философа» сказано, что люди творили кумиры «во имяна мертвых человек, овем, бывшим царем, другом храбрым и волхвом, и женам прелюбодейцам»¹.

Интересное рассуждение записано в «Повести временных лет» под 1114 г. Там сказано, что Сварог и Дажьбог сотворены кумирами во имя «бывшего царя» Феоста-Гефеста — родоначальника целого поколения богов-царей. Причем характерно, что отношение к этим богам-царям вовсе не отрицательное: они одобряются за то, что установили единобрачие. Взгляд на богов как на предков отражен в «Хождении богородицы по мукам». В этом произведении говорится, в частности, о том, что нечестивцы «богы назваша» «человеческа имена» — «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна»².

По-видимому, основанием к такому взгляду на языческих богов служили не только произведения переводной литературы, но и самый характер древнерусского язычества, в котором действительно были элементы культа предков, как это блестяще показано исследованием В. Л. Комаровича и как это ясно из самого «Слова о полку Игореве» и его художественных обобщений.

Если это так, и «Слово» действительно придерживалось взгляда на языческих богов не как на бесов, а как на родоначальников, то понятно его спокойное отношение к языческим богам, отсутствие боязни называть языческих богов и их своеобразное поэтическое переосмысление.

Многобожие в отличие от монотеизма всегда отличалось терпимым отношением к «чужим» богам. В связи с этим отметим, что и див явно «чужой», а не русский бог, и «тмутороканский бльван». Под «тмутороканьским бльваномъ» в «Слове» скорее всего разумеется не маяк, не статуя, не столп или сосуд, а именно *идол*, что чаще всего и означало слово *болван*. Ведь клича с дерева какое-то языческое божество — див обращается к «чужим» странам: «велить послушати земли незнаемѣ

29

(так чаще всего именовалась, даже и в «Слове», половецкая степь), Вльзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ Тмутороканьский бльванъ». Страна могла быть названа по главному божеству, которому в ней поклонялись и где стояли идолы (ср. многочисленные топонимы по названиям идолов: Перынь, Волотово, Велесово и т. д.).

* * *

Авторы древнерусских литературных произведений обычно не скрывают своих намерений. Они ведут свое повествование для определенной цели, которую прямо сообщают читателю. Авторская тенденция по большей части явна и только в редких случаях скрыта за авторским изложением (в некоторых случаях так скрывалась, например в летописи, политическая тенденция). Это стремление открыто проводить определенную идею в своих произведениях отразилось, в частности, в описаниях природы.

Древняя русская литература чаще рассказывает, чем описывает. Она чаще изображает события, чем состояния. Она не отвлекает явления от их отношения к главной цели повествования, не интересуется явлениями самими по себе, независимо от их отношения к человеку. Она антропоцентрична. Поэтому древняя русская литература знает очень мало описаний того, что находится в статическом состоянии, того, что не связано непосредственно с событиями или нуждами человека.

Так, например, древняя русская литература редко описывает памятники архитектуры, а если это и делает, то только для того, чтобы прославить князя-строителя или пожалеть об утраченной красоте погибшего памятника. Самое пространное описание архитектурных памятников читается в Ипатьевской летописи под 1259 г.: это описание города Холма, сожженного «от оканья бабы». Это описание преследовало двойную цель: оплакать красоту и богатство погибшего города и прославить его строителя Даниила Галицкого. Поэтому описание построено как рассказ о создании города, хотя помещен этот рассказ в месте, где полагалось бы говорить о его гибели. Русские авторы не создавали статичного описания самого по себе, и поэтому летописец Даниила Галицкого создал лирический рассказ о построении города

30

и о его гибели. «Си же потом спишемъ о создании града, и украшение церкви, и онога погибели мнозе, *яко всим сжалитися*», — так заявляет летописец о цели своего повествования. Весь дальнейший рассказ о красоте погибшего города представляет собою повествование о его созидании. Следовательно, описывается действие, а не статичная

картина. Это описание Холма — лучшее из описаний древнерусских архитектурных ансамблей, и оно часто использовалось в специальных работах искусствоведов.

И во всех остальных случаях о древнерусских архитектурных сооружениях говорится только в связи с их созданием или с их гибелью — чаще в связи с последним, так как то, что сохранилось и что было перед глазами современников, с точки зрения древнерусских авторов, меньше нуждалось в описании. Так было при описании взятия города Судомира и гибели его «великой» церкви или при описании взятия Владимира Залесского. Жалость и похвала красоте утраченного — вот к чему сводятся обычно короткие замечания об архитектуре. Строго говоря, это не описания, а похвалы, в которых есть элементы описания.

Так же точно и в описаниях природы. По существу, объективного, самоустранившегося описания природы, статичного литературного пейзажа, статичной картины природы древняя русская литература не знает. В этом одно из коренных отличий отношения к природе древней русской литературы от новой. Приведу примеры.

«Явися звезда на востоце хвостатая, образом страшным, испущающе от себе луче великы, си же звезда наречается власатая; от видения же сея звезды страх обья вся человеки и ужась; хитреци же смотревше, тако рекоша: «Оже мятежь велик будеть в земли»; но бог спасе своею волею, и не бысть ничтоже» (Ипат. лет., под 1265 г.).

«И бысть сеча силна, яко посветяше молонья, блещашеться оружие, и бе гроза велика и сеча силна и страшна» (Лавр. лет., под 1024 г.).

«Том же лете стоя все лето ведром и пригоре все жито, а на осень уби всю ярь мороз; еще же, за грехы наша, не то зло оставися, нь паки на зиму ста вся зима теплом и дъжгемь, и гром бысть; и купляхом кадку малую по 7 кун. О, велика скърбь бяше в людех и нужда» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1161 г.).

«На то же осень зело страшно бысть: гром

31

и мълния, град же яко яблъков боле, месяца ноября в 7 день, в час 5 ноци» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1157 г.).

Приведенные четыре отрывка из летописей, хотя и носят сугубо прозаический, а не поэтический характер, тем не менее очень типичны для художественного отношения к природе в Древней Руси. Обратим внимание на то, что во всех четырех отрывках описываются явления природы в динамике, а не в статике, описываются действия природы, а не рисуются ее неподвижные картины; в них выражено авторское отношение в виде очень сильной лирической их окрашенности; явления природы в них имеют прямое отношение к людям. В первом из приведенных отрывков речь идет о тяжелых, но, к счастью, несбывшихся предзнаменованиях. Во втором выступает параллелизм в действиях людей и действиях природы: картина битвы соединена с картиною грозы. В третьем рассказывается о стихийных несчастьях. В четвертом рассказывается просто об удивительном явлении природы: поздней грозе и граде.

Кроме этих четырех типов отношения к природе, в древней русской литературе есть и пятый — редкий в летописи, но зато частый в церковно-учительном жанре: это раскрытие символического значения того или иного явления природы.

Типично для этого раскрытия символизма в природе знаменитое изображение весны в «Слове на Фомину неделю» Кирилла Туровского. Кирилл описывает весну и каждую деталь сопровождает разъяснением ее символического смысла: «Ныне небеса просветишася, темных облак яко вретича съвлекъша, и светлымъ въздухом слава господню исповедають. Не си глаголю видимая небеса, нь разумныя... Днесь весна красується оживляючи земное естъство, и бурьнии ветри тихо повевающе плоды гобъзують, и земля семена питаючи зеленую траву ражаеть. Весна убо красная естъ вера Христова... бурьнии ветри — грехотворьнии помыслы... земля же естъства нашего, аки семя

слово божие приемши и страхом его болящи присно, дух спасения ражаеть»¹. Не буду продолжать цитирование этой обширной символической картины весны. Приведенного вполне достаточно, чтобы судить об этой системе изображения природы — типично

32

церковной и зависящей в конечном счете от византийской традиции.

В отличие от большинства древнерусских литературных произведений, природа в «Слове о полку Игореве» занимает исключительно большое место, но если мы присмотримся к *системе* ее изображения, то заметим ее безусловную связь со своей эпохой. Природа в «Слове» описывается только в ее изменениях, в ее отношениях к человеку, она включена в самый ход событий, в «Слове» нет неподвижного литературного пейзажа, типичного для литературы нового времени. Природа участвует в событиях, то замедляя, то ускоряя ход событий. Она активно воздействует на людей, и описания ее явлений окрашены сильным лирическим чувством.

Все типы отношения природы к человеку, приведенные мною выше, встречаются в «Слове» в разнообразных и усложненных видах. Природа выступает с предзнаменованиями. Кроме предзнаменований «астрономических» (солнечное затмение), в «Слове» представлены предзнаменования по поведению зверей и птиц, в существовании которых в Древней Руси нет основания сомневаться (вспомним, как по вою волков в «Сказании о Мамаевом побоище» Дмитрий Волынец гадает о русской победе и слышит ночью — «гуси и лебеди крыльми плещуще»)¹.

Выступает природа и в поэтических параллелях к событиям человеческой жизни. Параллель битвы — грозы, которую мы видели в «Повести временных лет» под 1024 г. в описании Лиственской битвы, развернута в «Слове» с особенной подробностью. Нельзя думать, что в описании Лиственской битвы гроза — только исторический факт, а в «Слове» — только поэтическая параллель к битве. Факт и поэтическая параллель могли совмещаться. Во время Лиственской битвы гроза, несомненно, была, но ее упоминание было бы совершенно необязательно в летописи, если бы летописцу она не показалась многозначительной для описания битвы. Так же точно, если бы гроза и на самом деле была во время первой битвы с половцами Игоря Святославича, это не умалило бы поэтичности параллели. Так же точно сравнение людей с птицами и зверями — типичная черта средневековой литературы.

33

Таким образом, природа в «Слове о полку Игореве» изображается так, как это было принято в средневековой литературе. Она действует или «аккомпанирует» действию людей, она динамична, «события» природы параллельны событиям людской жизни, символичны. Статичного литературного пейзажа, типичного для нового времени, «Слово» не знает.

* * *

Типичной для средневековой русской литературы следует признать также особого рода конкретизацию абстрактных понятий в метафорических выражениях: «уже бо бѣды его пасеть птицъ по дубию», «слава на суд приведе и на Канину зелену паполому постла», «уже пустыни силу прикрыла», «Игорь и Всеволодь уже лжу убудиста», «уже снесся хула на хвалу», «уже тресну нужда на волю», «веселие пониче», «тоска разлился по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи», «Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «за нимь кликну карна, и жля поскочи по Руской земли» (если только «карна» и «жля» — не языческие боги), а также «истягну умь крѣпостию своею и поостри сердце своего мужествомъ», «жалость ему знамение заступи», «скача славину по мыслену древу, летая умомъ подь облакы, свивая славы оба полы сего времени».

Такую же своеобразную конкретизацию мы найдем в житийной и учительной литературе, в посланиях и у Даниила Заточника: «Огнь искушает злато и серебро, а человек умом лжу отсекает от истины» («Житие Константина Философа»)¹; «Вострубим, братие, яко во златоконныя трубы, в разум ума своего» («Моление Даниила Заточника»)²; «Веде, яко не разумеши, яко по божию благодати ум твой быстро летает» («Послание Никифора, митрополита киевского, к великому князю Володимиру, сыну Всеволожу, сына Ярославля», в списке XVI в. Московской синодальной библиотеки)³; «аще кто слеп есть разумомъ, ли хром невериеть, ли сух мнозех

34

безаконий отчаяниеть, ли раслаблен еретичьскимъ учениеть — всех вода крещения съдравы творить» (Кирилл Туровский. Слово о расслабленном)¹; «богохульная словеса акы стрелы к камени пушающе съламахуся» (там же)²; «окованы нищетою и железомъ» (Кирилл Туровский. Слово на Вознесение)³; «возьмем крест свой претерепиеть всякоя обиды; распьемъся браньими к греху» (Кирилл Туровский. Слово в неделю цветную)⁴, и т. д.

Метафорическую конкретизацию абстрактных понятий мы встречаем в самых различных жанрах; в летописи: в описании взятия татарами Судомира говорится об одном из жителей его — простом поляке, что он «защитився отчаянием акы твердым щитом», совершил подвиг, достойный памяти (Ипат. лет., под 1259 г.); в учительной проповеди — в «Слове о ленивых» — говорится о том, что ленивого «беда по голеням биет, а долг вшаеи пихает; недостатки у него в дому сидят, а раны ему по плечам лежат; уныние у него на главе, а посмех на браде; помысл на устех, а скорбя на зубех; горесть на языке, печаль в гортани» и т. д.⁵

Особый характер носят представления в древнеславянских литературах о местонахождении человеческих чувств и мыслей. Нельзя утверждать, что во всех случаях, но очень часто чувство находится там, на кого оно направлено. Оно имеет не личностный характер, имеет своим центром не печалющегося человека, а того или то, на что направлена печаль. При этом — и это обусловлено особенностью восприятия чувств — последнее как бы материализуется: тоска, туга, печаль могут течь и на довольно широком пространстве, быть «жирными», то есть густыми, вязкими.

Тоска и печаль могут одевать в темноту берег реки (каким стал берег Днепра после гибели князя Ростислава). Предполагаю, что и трава, и деревья никнут, клонятся долу не по собственному произволению, не потому, что они сами испытывают клонящую их книзу печаль, а потому, что на них распространяется печаль людей, думающих о поражении.

35

Несколько иное положение с городами, которые рады при возвращении Игоря, и странами, которые веселы. Здесь радуются люди, их населяющие. При поражении Игоря приуныли не сами по себе забралы, а люди, на них собирающиеся, ибо забралы — это места публичных сборищ.

Если мы обратимся к конкретизации абстрактных понятий в литературе нового времени и, в частности, в литературе второй половины XVIII в., то там мы встретимся с конкретизацией совсем другого характера. Там авторы по большей части создают аллегории. Здесь же конкретизация носит весьма специфический и, я бы сказал, однообразный характер. Она лишена какой бы то ни было описательности. Абстрактное понятие попросту вводится в конкретное действие. Оно чаще всего «материализуется» с помощью глагола, означающего какие-либо действия: «вострубим в разум ума», «окованы нищетою», «тоска разлилася» и т. д. Иногда оно конкретизируется с помощью эпитета. Ближе к этой конкретизации стоит одушевление неодушевленных предметов и придание им абстрактных значений: «живые камни»¹ (ср. в «Слове» — «живыми шерешеры стрѣляти»), «умная гора»² (ср. в «Слове» — «скача, славию, по мыслену древу»).

Меньше всего в «Слове» той христианской символики, которая столь типична для церковноучительной литературы. Здесь, конечно, сказался светский характер памятника. Эту церковную символику можно усматривать только в образе «мысленного древа», по которому растекалась мысль Бояна.

* * *

Вступление к «Слову», в котором автор колеблется в выборе стиля и обращается к своему предшественнику — Бояну, кажется скептикам одной из самых больших странностей «Слова».

На самом деле вступления к различного рода «словам», житиям, проповедям обычны в древнерусской литературе.

36

Во вступительной части «Слова на Фомину неделю» Кирилл, прежде чем приступить к теме своего повествования, выражает свои колебания, как и автор «Слова о полку Игореве»: «Велика учителя и мудра сказателя требует церкви на украшение праздника. Мы же нищи есмы словом и мутни умом, не имуще огня святого духа на слажение душеполезных словес; оба же любве делея сущая со мною братья мало нечто скажем о поновлении въскресения Христова»¹. Замечательно, что перед нами в этих колебаниях не простое проявление авторской скромности, но и мысль о том, каким должен быть подлинный «сказатель», который бы украсил свою речь праздник — тему слова Кирилла.

Во вступительной части слова Кирилла «О слепце и о зависти» Кирилл подчеркивает, что он «творит» свою повесть словами Иоанна Богослова: «Нъ не от своего сердца сия изношу словеса — в души бо грешне ни дело добро, ни слово пользно ражається, — нъ творим повесть, въземлюще от святого Евангелия, почтенана нам ныня от Иоана Феолога, самовидьца Христовых чудес»².

Во вступительной части «Слова на собор 318 отец» Кирилл выбирает задачу повествования, указывая, что его задача сходна с той, которую себе ставят летописцы и песнотворцы: «Яко же историци и ветия, рекше летописьци и песнотворци, прикланяють своя слухи в бывшая межю цесари рати и възпльчения, да украсять словеса и възвеличать мужьствовавшая крепко по своему цесари и не давших в брани плещю врагом, и тех славяще похвалами венчають, колми паче нам лепо есть и хвалу к хвале приложити храбром и великим воеводам божиам»³. Замечательно, что в этом вступлении есть даже лексические совпадения со вступлениями к «Слову»: «песнотворци», «лепо» и др.

Наиболее странной особенностью вступления к «Слову о полку Игореве» всегда представляется обращение автора к своему предшественнику — Бояну. Но в «Слове на Вознесение» у Кирилла есть и такое именно обращение к предшественнику. Кирилл, прося пророка Захарию прийти к нему на помощь и дать «начаток слову», обращает внимание на его немногосказательную, но прямую

37

речь: «Приди ныня духомъ, священный пророче Захария, начаток слову дая нам от своих прорицаний о възнесении на небеса господа бога и спаса нашего Исуса Христа! Не бо притчею, нъ явѣ показал еси нам, глаголя: «Се бог нашъ грядеть в славѣ, от брани опльчения своего, и вси святии его с нимъ, и станета нозе его на горе Елеоньстѣй, пряму Иерусалиму на възток. Хоцем бо и прочее от тебе уведати»¹.

Из приведенных примеров, взятых только из одного автора XII в. — Кирилла Туровского, видно, что все основные элементы введения к «Слову о полку Игореве» не составляют новшества: колебания в выборе стиля, обращение к предшественнику,

противопоставление притчей («по замыслению») рассказу, «яве» показывающему (то есть «по былинам сего времени») и пр.

Единственно, чем введение к «Слову» выделяется среди всех остальных введений, это своим совершенно светским характером. Соответственно этому свои нюансы имеют в «Слове» и авторские колебания, и самый выбор предшественника, к которому обращено введение, — это не библейский пророк Захария, а светский певец Боян.

Перед нами и в этом, следовательно, выступает выдержанный светский характер памятника.

Отмечено было также сходство между вступлением к «Слову» и вступлением к «Хронике Манассии» — к той ее части, которая описывает Троянскую войну².

В предисловии к «Хронике» автор ее говорит, что он будет вести свое повествование «древняя словеса». В предисловии к «Троянской войне» автор пишет: «Сия аз възхотев брань с'писати якоже писавшими прежде пишет ся». Он просит прощения («прощения прося»), что будет говорить другими словами, чем Гомер («глаголати не якоже Омир с'писует»), и т. д. Перед нами в данном случае светская параллель к вступительной части «Слова».

Наконец, самое главное: Боян имеется и в «Задонщине». Боян в «Задонщине» упоминается в аналогичном контексте вводных размышлений автора: «Но проразимся мыслию над землями и помянем первых лет времена и похвалим вещего Бояна, гораздаго гудца в Киеве. Тот

38

Боян воскладаше гораздыя своя персты на живыя струны и пояше князем руским славы»¹. Следовательно, ко времени создания «Задонщины» размышления автора о своем предшественнике-поэте не казались чем-то необычным.

* * *

«Слово о полку Игореве» не противоречит своей эпохе. Оно не опровергает сложившихся представлений о домонгольской Руси — о ее литературе и культуре в целом. Оно лишь расширяет эти представления. В своей литературной природе оно несет отдельные черты, специфические для русского средневековья. Однако не только в отдельных своих чертах, но и в целом «Слово о полку Игореве» типично для эстетических представлений своего времени. Во всем своем эстетическом строе оно подчинено, как мы убедимся в дальнейшем, стилистической формации XI—XIII вв.

39

«СЛОВО» И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ

Как это ни странно, «Слово о полку Игореве» меньше всего изучалось как явление культуры своего времени — в связи с тогдашними эстетическими представлениями, с представлениями средневековья о мире и обществе, этическими понятиями и пр. Обычно оно изучалось обособленно — так, будто наши представления о красоте, о доброте и зле, о пространстве и времени, об истории и прочем не меняются и не менялись.

Ни один памятник в исследованиях ученых не находится в такой изоляции от своего времени, как «Слово о полку Игореве». Исключение составляют лишь работы языковедов. Последние изучали язык «Слова» как язык XII в., сопоставляли его с языком других

памятников той же эпохи. Не случайно поэтому именно эти работы больше всего убеждают в том, что перед нами памятник домонгольского периода.

В дальнейшем я остановлюсь главным образом на эстетических представлениях XI—XIII вв. и на том, как эти эстетические представления соотносятся с эстетической системой «Слова о полку Игореве».

XI—XIII вв. в истории культуры Древней Руси принадлежат так называемому *стилю монументального историзма*. По существу, здесь можно говорить не просто о стиле, а о целой «эстетической формации» (понятие,

40

введенное в науку югославским ученым Александром Флакером¹⁾). Этот стиль захватывает собой не только все искусства, но в какой-то мере подчиняет себе и естественнонаучные представления, поскольку наука и искусство не были еще четко разделены, а также все бытовые представления о прекрасном. Эта эстетическая формация была характерной не только для Руси этого времени, но распространялась и на ряд других стран: южнославянские и Византию в первую очередь, откуда она и явилась на Русь вместе с письменностью и христианским культом.

Стиль монументального историзма характеризуется прежде всего стремлением рассматривать предмет изображения с больших дистанций: пространственных, временных, иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее значимое и красивое представляется большим, монументальным, величественным. Стремясь видеть окружающее в рамках представлений этого стиля, летописцы, авторы житий, церковных слов смотрят на мир как бы с большой высоты или с большого удаления.

В этот период развито «панорамное зрение», стремление подчеркивать огромность расстояний, сопрягать в изложении различные удаленные друг от друга географические пункты.

Эстетически ценно и значительно только то, что может быть представлено большим и мощным и что может быть воспринято с огромных расстояний. Вот почему в летописях действие перебрасывается из одного географического пункта в другой, находящийся на другом конце Русской земли. Рассказ о событии в Новгороде сменяется рассказом о событии во Владимире или в Киеве, далее упоминается событие в Смоленске или Галиче и т. п.

Такая особенность летописного повествования создается не только потому, что в летописи обычно соединяются разные по своему географическому происхождению источники. Особенность эта соответствовала самому духу исторического повествования. Она захватывала читателя, увлекала ощущением пространства истории.

В том, что такого рода «панорамное зрение» при изображении исторических событий было эстетической реальностью, а не случайным следствием соединения различных

41

летописных источников — киевских, новгородских, ростовских, владимирских и т. д., убеждает «Поучение» Владимира Мономаха. В своей автобиографии Мономах ведет повествование так же, как в летописи: соединяет в едином изложении различные географические пункты. Свою жизнь Мономах воспринимает в крайних географических пределах, до которых он доходил в походах, охотах и переездах. Он доходил до Чешского леса на западе, до Волги на востоке, углублялся в половецкую степь на юге, за Сулу, за Хорол, к Дону. Значительность своей жизни он подчеркивает дальностью своих походов, многочисленностью переездов. Он упоминает множество географических пунктов, где он бывал или до которых достигал в походах, и именно этим измеряет свой «труд», дело своей жизни.

Оценивая княжение умершего князя, летописец пишет: «...а се княже седение: мир держа с околными сторонами, с Ляхы и с Немци, с Литвою, одержа землю свою величеством олны по Тотары, а семо по Ляхы, по Литву» (Ипат. лет., под 1289 г.).

Автор «Слова о погибели Русской земли» говорит о ее былом благополучии опять-таки с высоты огромных дистанций: «Отселе до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немецъ, от немецъ до корелы, от корелы до Устьяга, где тамо бяху тоимичи погании, и за Дышючим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис, от чермис до морьдви, — то все покорено было богом християньскому языку поганьския страны...» В сущности, все «Слово о погибели» написано как бы с высот этого «панорамного зрения».

Приступая к проповеди, или к житию святого, или к историческому сочинению, авторы как бы испытывали необходимость окинуть взором всю землю. Так начинает Кирилл Туровский свое «Слово о расслабленном»: «Неизмерьна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина»¹. Так начинается и «Чтение» о Борисе и Глебе. Сама «Повесть временных лет» также открывается описанием самых общих судеб вселенной и дает превосходную по своей наглядности картину Русской земли. Автор «Повести» начинает это описание с водораздела великих русских рек — Валдайской возвышенности, на которой

42

помещался Оковьский лес, и далее ведет свое повествование по трем рекам: Днепру, Волхову и Волге, отмечая, в какие моря они впадают и куда можно проехать по этим морям. Этот «прием» позволяет придать удивительную наглядность и конкретность описанию. Напомню, кстати, и знаменитое начало былины о Соловье Будимировиче, сохраняющее это же ощущение пространства:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския¹.

Фольклор сохраняет это «панорамное зрение» — особенно в былинах.

Сознание громадности мира было не только в искусстве, но и в обыденной жизни. Не случайно князья призывали в свидетели своей правоты всю «подънебесную» (Ипат. лет., под 1288 г.).

То же «панорамное зрение» в широкой степени сказывается и в «Слове о полку Игореве». Помимо того, что повествование в «Слове» непрерывно переходит из одного географического пункта в другой, автор «Слова» все время охватывает многие географические пункты своими призывами, обращениями и историческими воспоминаниями. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю Русскую землю по окружности — ее самые крайние точки. Поражает и та «переключка», которую ведут мифические существа и действующие лица в «Слове». Див кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и Тмуроканскому болвану на Черном море. Ярославна плачет на самой высокой точке Путивля — на крепостной стене, над заливными лугами Сейма, обращаясь к солнцу, ветру, Днепру. Девы поют на Дунае, их голоса вьются через море до Киева.

Каждое действие воспринимается как бы с огромной высоты. Благодаря этому битва Игоря с половцами приобретает всесветные размеры: черные тучи, символизирующие врагов Руси, идут от самого моря, хотят прикрыть четыре солнца. Дождь идет стрелами с Дона

43

великого. Ветры веют стрелами с моря. Битва как бы наполняет собою всю степь.

Многие отвлеченные понятия воспринимались в эпоху монументального историзма в пространственном, ландшафтно-географическом аспекте. Это прежде всего касается такого важного феодального понятия, как слава. Слава того или иного князя имела прежде всего пространственное распространение. Она измерялась географическими пределами. Она могла достигать границ Русской земли или переходить за них, захватывая окружающие народы.

Летопись до краев наполнена звоном военной славы. Важно при этом отметить, что ареал этой славы не мыслился замкнутыми пределами только Русской земли. Слава князя очень часто воспринимается не как его личная слава, но также как и слава всей Русской земли в целом. Об этой всесветной славе говорят под разными годами летописцы. Под 1111 г. в Ипатьевской летописи говорится в следующих выражениях о возвращении Владимира Мономаха из победоносного похода на Дон: «...възвратишася Русьстии князи в свояси с славою великою к своим людем и ко всим странам далним, рекуще к греком и угром, и ляхом, и чехом, дондеже и до Рима проиде на славу богу, всегда и ныня и присно во веки, аминь».

Эта же всесветная слава Мономаха вспоминается и в его некрологической характеристике, помещенной в Лаврентьевской летописи под 1125 г. Умер Мономах, говорится там, «прослувый в победах, его имене трепетаху вся страны и по всем землям изиде слух его». О той же мировой славе русских князей говорится и в «Слове» Илариона, и в «Слове о погибели Русской земли», и в «Повести о разорении Рязани Батыем» — в «Похвале роду рязанских князей», и в «Молении Даниила Заточника», и в житии Довмонта Тимофея, и в житии Александра Невского: «...и оттоле прослыся имя святаго во всех странах латынских и до моря Хупужьского и гор Араратских, и обону страну моря Варяжского, и даж и до самага того Великаго Рима»¹.

Нельзя думать, что перед нами бессознательный трафарет исторической литературы. Об этой всесветной русской чести и славе говорят князья дружине и князья между собой. Это понятие было не только в литературе —

44

оно было в самой жизни, и именно из жизни, из действительности проникло и в летопись, и в литературные произведения. В 1152 г. Изяслав Мстиславич говорил своей дружине: «Братья и дружино! Бог всегда Рускы земле и руских сынов в безчестьи не положил естъ; на всих местех честь свою вимали суть. Ныне же, братье, ревнуимы тому вси, у сих землях и перед чюжими языки дай ны бог честь свою взяти» (Ипат. лет.). Мстиславу Изяславичу говорили его братья: «тако буди, то естъ нам на честь и всее Рускей земли» (Ипат. лет., под 1170 г.). Эти слова не придуманы летописцем. Летописцы относительно точно передавали в своих летописях действительно произнесенные речи. Следовательно, в самой жизни было отчетливое представление о славе и чести Русской земли среди других стран мира.

«Слово о полку Игореве» постоянно говорит о славе, и именно в этих широчайших географических размерах. От войска Романа и Мстислава дрогнула земля и многие страны — Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и половцы копьа свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Князю Святославу Киевскому поют славу немцы и венецианцы, греки и моравы: «ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поють славу Святъславлю». Они поют ее не в гриднице Святослава, как ошибочно думали некоторые исследователи «Слова», а в своих странах. Перед нами тот же образ всесветной славы русских князей, что и в «Слове» Илариона, в «Молении Даниила Заточника», в житиях Александра Невского и Довмонта Тимофея, в «Слове о погибели Русской земли» и в «Похвале роду рязанских князей».

Пространственные формы приобретают в «Слове» и такие понятия, как «тоска», «печаль», «грозы»: они «текут» по Русской земле, воспринимаются в крупных

географических пределах почти как нечто материальное и ландшафтное. То же мы видим и в летописи, где печаль может охватывать города и княжества.

Летопись говорит, что после поражения на Калке «бысть плачь и туга в Руси и по всей земли, слышавшим сию беду» (Лавр. лет., под 1223 г.), «и бысть вопль и вздыхание, и печаль по всем градом и по волостем» (Сузд. лет. по Акад. сп., под тем же годом). При нашествии татар в 1239 г. «тогда же бе пополох зол по всеи земли и сами не ведяху и где хто бежить» (Лавр. лет., под 1239 г.).

«Лютое томление бесурменьское», тоска, печаль всегда

45

изображаются «в ширину», они распространяются «по всей земле» или перечисляются охваченные ими города и княжества. Они подчиняются пространственному восприятию. Ср. в «Слове»: «чръна земля... туюю взыдоша по Руской земли», «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «Жля поскочи по Руской земли», «а въстона бо, братие, Киевъ туюю, а Черниговъ напастьми», «тоска разлися по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Руский», «уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче». И т. д. Печаль, горе, хотя и растекаются по земле, тем не менее лишают людей простора. «Тоска», по древнерусским представлениям, — «теснота»; трудный же жизненный путь — это «тесный путь».

Представления летописи, «Слова о полку Игореве» и других древнерусских произведений XI—XIII вв. о печали, тоске, туге или веселии, как о неких пространственных явлениях, распространяющихся вне человека, в природе, сами по себе глубоко архаичны. Они ведут свое начало еще от того времени, когда личность человека слабо отделялась от окружающего мира. Печаль, горе, веселие представлялись человеку охватывающими не только его, но и окружающий мир. Они казались существующими, как бы разлитыми в природе.

В период перехода к личностному сознанию стало обычным или даже обязательным обращаться в плаче к окружающей природе — горам, рекам, удолиям — с просьбой принять участие в горе, плаче совместно с человеком. «Горы и холмы возвеселитесь со мной», «солнце, горы, холмы и красные дерева плодовитые, плачите со мною». В «Повести о разорении Рязани Батыем» (вторая половина XIII — первая XIV в.) в плаче Ингваря Ингоревича говорится: «О земля, о земля, о дубравы, поплачите со мною!»¹ Эти обращения — знак того, что печаль и веселие стали отделяться от человека, но еще не порвали с самой природой своей традиционной связи.

Стиль монументального историзма определяет собой и представления о человеке. Человек — это микрокосмос. Это ясно выражено в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, в апокрифе «Сказание, како сотвори бог Адама» и во многих других произведениях Древней Руси, переводных и оригинальных.

46

Все малое — как бы уменьшенная схема большого. Человек поэтому — это «малый мир». Жизнь человека — это «малая жизнь», малая по сравнению с большой и «настоящей» — вечной, которая предстоит ему за гробом.

Стремление увидеть в малом и преходящем большое и вечное — это способ восприятия мира, типичный для эпохи исторического монументализма. Отразилось это и в «Слове о полку Игореве».

В апокрифе «Сказание, како сотвори бог Адама» говорится: бог «взем земли горсть ото осьми частей: 1) от земли — тело, 2) от камени — кости, 3) от моря — кровь, 4) от солнца — очи, 5) от облака — мысли, 6) от света — свет, 7) от ветра — дыхание, 8) от огня — отепла»¹ (тепло тела. — Д. Л.). Следовательно, мысли созданы «от облак». Отсюда мысль человеческая, как и его чувства, не прикреплена к телу, а свободно поднимается к небу — особенно тогда, когда человек думает о высоком. В «Шестодневе» мысль человека парит, летит с огромной скоростью, достигает неба. То же мы видим и в

«Слове о полку Игореве»: «летая умом под облакы» — под теми именно облаками, из которых созданы человеческие мысли.

Приведу прекрасный пассаж из книги В. П. Адриановой-Перетц «„Слово о полку Игореве“ и памятники русской литературы XI—XIII вв.»: «Сведения о мироздании древнерусский книжник приобретал из Шестоднева, где «слово шестыаго дъне» повествовало о создании человека, особенно подробно описывая отличия человека от животных, постоянно подчеркивая, что только человек имеет «душу разумичну и съмыслену». Его «мысль висока», обходит «всю землю и выше небес» всходит; его «ум» пройдет «въздух и облакы минет, солнца и месяца и все поясы и звезды, етир же и вси небеса и том часе паки в телесе своем обрящет. Кыма крылома възлете, кымь ли путем прилете, не могу исследити» (л. 196—196 об.)². О превосходстве мысли над зрением предупреждает «Шестоднев», рассказывая о сотворении небесных светил: «Луны убо не мозем очима мерити, нь мыслию, яже велми паче очесу истиннейши есть на истинное

47

изобретение» (л. 148). «Убогий человек» пытается даже мерить мыслями Божию силу», «измерила бо и е моя мысль, аще ли вышии е мои мысли, и не доидет мои ум его» (л. 155 об.). И так, «мыслями», «умом» можно облететь и измерить и землю, и небеса, только «Божью силу» мысль не способна измерить: не следует «хотети домыслити се человекымы мыслями неведимых мыслии Божиих» (л. 104 об.). Но зато «мыслию» можно «възйти» «к богу невидимуему», «сквозе храм пролета ум и всю ту высоту и небеса, скорее мъжэния очнааго прилетев» (л. 199). Мысль летает быстрее взгляда — она видит и измеряет то, чего не видят «очеса». Ум выше тела: «Тело бо воин есть, а ум кнез и царь», и потому автор советует: «Мыслию пари... на высоту и разумное» (л. 212). Ум «брьзо и без некакого расстояния приемле вещьное естество истинных», поэтому «ини от прьввых философ око душевьное ум прозваше» (л. 217 об.).

В Изборнике Святослава 1073 г. русский книжник нашел поучение под заглавием: «Немесия епискупа Емесьскааго от того еже о естестве человекьсте», где он встретил те же суждения о силе человеческой мысли, преодолевающей пространство: «обилия пучины бо минуеть, небеса проходить мыслью, звездная пошьствия и расстояния и меры размышляеть» (л. 134 об.). Сходное суждение читаем в поучении «Златоустааго от того еже от 45 псалмоса»: «Ум человекьск въскоре бо объходить вьсу землю, небесная же и подземельная, нь несущтиемь, тьчью же умьную мыслью» (л. 132). На этой оценке силы человеческой мысли строится поучение «Нусьскааго от оглашеника», где доказывается, что свет и «солнечное» тело, так же как божеское и человеческое, в Христе неразделимы, и только человек «мыслию же разделив, познаеть естестве» (л. 15).

На фоне таких представлений о человеческом уме, о мысли созданные автором «Слова» («Слова о полку Игореве». — Д. Л.) метафорические образы ума и мысли, которые летают, мысли, способной уносить ум «на дѣло» или мерить поля, закономерны для XII века и не являются неожиданными для читателя того времени. Нельзя не отметить, что ни одна из этих четких и вполне обоснованных мировоззрением начитанного автора XII в. метафор не нашла отражения в «Задонщине». Слово «мысль» находим здесь только в таких явно испорченных сочетаниях: «Не проразимся мыслию по землями» (список ГБЛ, собр. Ундольского, № 632), «но потрезвимься мыслями

48

и землями» (список ГИМ, Музейное собр., № 2060)»¹.

Если мысль животных не может сама летать и охватывать огромные пространства, то зато сами животные, как и растения, служат символами тех или иных мировых явлений — явлений мирового значения или мировых размеров. И именно этому посвящен другой замечательный памятник монументально-исторической стилистической формации — «Физиолог» и вся «физиологическая сага» средневековья (под последней я разумею

средневековые повествования о том или ином символическом значении животных, птиц, рыб, растений, драгоценных камней).

В связи со свойством мысли перелетать на объект мысли на далекие расстояния, следует, как мне представляется, понимать и следующий текст обращения Святослава к Всеволоду Суздальскому в его «золотом слове»: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча, отня злата стола поблюсти?» Переводится это обычно так: «Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, отцовский золотой престол побережь?» Сам Всеволод был князем в Суздале, а его отец Юрий Долгорукий был князем киевским. Но смысл этой фразы не в том, чтобы Всеволод явился на юге в Киеве беречь его военной силой. Такой призыв со стороны киевского князя Святослава был бы опасен для него самого на киевском столе. Предложение гораздо более нейтрально: «Не перелетишь ли ты мыслию (не помыслишь ли ты) побережь киевский стол, киевское княжество». Киевский Святослав призывает Всеволода *подумать* о Киеве.

«Не мыслию ти прелетѣти» не может означать «не помыслишь ли ты». Мысль в данном случае явное существительное, а не глагол.

Полет мысли неоднократно подразумевается в «Слове». Например, в обращении к Роману и Мстиславу говорится: «храбрая мысль носить вашъ умъ на дѣло. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти». Храбрая мысль способна не только сама носиться, но и «носить умъ на дѣло». Различие между мыслью и умом состоит,

49

очевидно, в том, что ум объединяет в себе все мысли, представляет собой как бы субстанцию мыслей.

В связи с вопросом о «мысли», которая, по «Слову», способна переноситься сама, в своей субстанции, по предметам, которыми она занята, возникает и вопрос о «древе», по которому мысль Бояна растекается. Что это за «дерево»? Почему именно по дереву, а не по какому-либо другому объекту? Тут следует обратить внимание на то, что «дерево», «дерево» в «Слове» упоминается не один раз, причем в таких обстоятельствах, когда мы были бы вправе ожидать множественное число скорее, чем единственное.

Вот эти деревья, упоминаемые всегда в единственном числе: «Боянь бо вѣщій, аще кому хотяше гѣснь творити, то растѣкашеться мыслию по *древу*, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подь облакы». Все мировое пространство, по которому передвигается мысль Бояна, делится, следовательно, на три сферы: землю, дерево и подблачье — облака (в множественном числе). Дерево занимает промежуточное положение между землей и облаками. Это, конечно, не случайно: автор «Слова» очень точен в последовательности своих перечислений. Но почему все-таки не по деревьям, а по одному «древу»?

В следующем примере это «дерево», по которому «растекается» Боян, получает некоторое определение, близкое к первому примеру: «О Бояне, соловию старого времени! а бы ты сиа плѣкы ущекоталь, скача, славию, по мыслену дереву, летая умомъ подь облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресь поля на горы». Здесь снова Боян «свивает славу». Здесь снова мысль, песнь, слава Бояна движется в трех сферах пространства: верхнем, нижнем и среднем. Это последнее снова определено как дерево в единственном числе и имеет очень важный эпитет «мысленное». Что такое «мысленное дерево», пытались толковать в литературе о «Слове» очень многие. Это и дерево религиозных представлений, и дерево метафорическое. Одним словом, какое-то необыкновенное. Единственное, с чем никак нельзя согласиться, что «мыслену» надо исправлять на «мысию» и дерево, следовательно, считать реальным. «Мысь», то есть «мышь», выпадает из обычных ассоциаций «Слова» со звериным миром. Творчество

Бояна может быть сравнено с полетом орла, сокола, пением соловья и полетом лебедей, но не со скоком мышей (тем более,

50

что сказать о мыши, что она «скачет», вообще невозможно). Удовлетворимся тем, что древо это какое-то необыкновенное. Далее в «Слове» говорится: «дивъ кличетъ врѣху древа, велить послушати земли незнаемѣ, Вльзѣ, и Поморию, и Посулию, и Суружу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутороканьскыи блѣванѣ». Клич дива слышен необыкновенно далеко: одновременно в различных странах, окружающих Русь. Если клич необыкновенен, то закрадывается мысль, что и древо не совсем обыкновенно — высокое по крайней мере. И опять-таки оно в единственном числе. Подчеркнуто, что див кличет на верху древа. Поскольку говорится, что див кличет на вершине древа, логично было бы упомянуть (хотя эта логика и не совсем обязательна) — где находится это древо, какое оно. Но оно не определяется — как всем известное.

Третье упоминание древа опять-таки в критической ситуации: русичи потерпели поражение: «Ту пирь докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалошами, а древо с тугою къ земли преклонилося». Трава упомянута здесь в собирательном смысле, трава как символ покрова всей земли (она также не раз упоминается в «Слове»), но почему «древу», а не «древеса». Снова возникает подозрение, что в «Слове» имеется в виду одно какое-то определенное «древу». В текстах мне не удалось найти образа склоняющихся от горя деревьев, но в композиции «Смертного благовещения Богоматери» деревья склоняются пред Богоматерью в горе и благоговении. Но склоняется обычно несколько деревьев, а не одно. Снова о дереве в единственном числе говорится в аналогичной, горестной ситуации (в связи со смертью юноши Ростислава): «Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонилося». Перед этой последней цитатой еще раз упоминается «древу», но единственное число его более оправдано: некое зеленое дерево укрывало Игоря во время его бегства: «О Донче! не мало ти величия, делѣявшу князя на вльнахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мѣглами подѣ сѣнию зелену древу». Древо здесь, очевидно, вполне обычное. Если же в остальных, приведенных нами примерах, «древу» — единственное собирательное, то обращает на себя внимание то, что ни в приводимых примерах в «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“» В. Л. Виноградовой, ни в «Материалах» И. И. Срезневского этого единственного собирательного в отношении

51

«древу» не приведено. «Древо» «Слова о полку Игореве» остается загадкой. По-видимому, все же правы А. Н. Майков («„Слово о полку Игореве“». Несколько предварительных замечаний об этом памятнике» — «Заря», 1870, январь, с. 127) и А. А. Потебня («Малорусская народная песня по списку XVI в.» — В кн.: «Слово о полку Игореве». Текст и примечания. Изд. 2-е. Харьков, с. 229), что в «Слове» в некоторых случаях упоминается языческое дерево жизни, притом неизменно сочувствующее русским. О языческом древе жизни имеется большая этнографическая и археологическая литература, которую здесь не упоминаю¹.

Монументализм XI—XIII вв. имеет одну резко своеобразную особенность, отличающую его от наших представлений о монументальном.

Мы привыкли под монументальностью понимать не только все большое, но и инертное, тяжелое, неподвижное, устойчивое. Однако монументализм домонгольской Руси был связан с прямо противоположным: с быстротой передвижения в больших географических пространствах.

Монументализм домонгольской Руси — ее искусства, ее представлений о прекрасном — это прежде всего сила, а сила выражается не только в массе, но и в движении этой

массы. Поэтому монументализм этот особый — динамичный. В широких географических пространствах герои произведений и их войско быстро передвигаются, совершают далекие переходы и сражаются вдали от родных мест. Даже оставаясь неподвижными, в церемониальных положениях, князья как бы управляют движением, происходящим вокруг них.

Летопись повествует о походах, битвах, переездах из одного княжества в другое. Все события русской истории происходят как бы в движении. Мономах пишет в автобиографии о том, что он «нестижды», то есть более ста раз, ездил из Чернигова в Киев, и ставит себе в заслугу быстроту своих передвижений (он гнался за Олегом «о двою коню»), многочисленность своих походов: «а всѣх путей (походов. — Д. Л.) 80 и 3 великих, а прока не испомню менших». Он отмечает, что ходить в походы он стал с 13-ти лет и что и в них не давал себе «упокоя» — «сам твориль, что было надобѣ, весь нарядъ».

52

Тот же динамичный монументализм характерен и для зодчества этого времени. Это — зодчество для человека, находящегося в пути. Церкви ставятся как маяки на реках и дорогах, чтобы служить ориентирами в необъятных просторах его родины. Отметить храмом крутой берег реки на изгибе и тем дать как бы маяк для едущих по реке (храм Покрова на Нерли); отметить храмом низкий берег озера при выходе из него реки и тем дать возможность корабельщикам найти этот выход; отметить храмом многочисленные пригорки в равнинной земле, сделать храмы заметными в любую погоду с помощью золотого верха; подчинить патрональной святыне окружающую городскую застройку — все это главные задачи зодчих. И далеко не безразлично зодчим, как их постройки будут восприниматься в движении, при приближении к ним. Облик храма должен оставаться неизменным на любом расстоянии и легко узнаваться издали. И. Е. Забелин пишет о верхах русских зданий: «В строительном художестве высота жилища... должна была выражать... первичное понятие о его красоте. Что было высоко, то необходимо само по себе было уже красиво»¹.

Для стилистической формации монументального историзма характерна связь города с окружающим пространством, своеобразный вынос города за пределы самого города, например, кольцо монастырей по горизонту за пределами Новгорода: Нередицкий, Михайло-Сковородский, Андрея на Ситке, Кириллов, Ковалевский, Волотовский и т. д. Путников, приближающихся к Новгороду со стороны Ильменя, встречали огромные строения Юрьева монастыря на одной стороне Волхова и Рюрикава городища на другой. Плывущего же со стороны Ладоги встречал на изгибе Волхова Антониев монастырь. Сам Новгород распространял свою власть над всей Новгородской землей через свои отдельные «концы», которые начинались в городе, делили территорию города и уходили отсюда на все стороны света — в те «пятины», которыми Новгород владел. В самом же Новгороде доминировал надо всем пространством храм Софии, выше и авторитетнее которого не было в Новгороде вплоть до XIX в., начиная со времени его построения в начале XI в. То же мирное овладение пространством было характерно и для других церквей, контрастно возвышавшихся среди всей остальной городской

53

застройки или среди полей, лесов и водных просторов. Именно поэтому у церквей были фасады, обращенные на все четыре стороны света. Храм ориентировался на окружающий мир, был кораблем, плывущим во вселенной. На восток был обращен алтарь, на запад — вход в него. Алтарем он встречал восход и воскресение, на западной стене его провожала смерть и изображался ад. Храм был «малой вселенной», как город — малой окружающей его страной. Архитектурные сооружения — это попытки освоить огромные пространства, подчинить себе окружающий ландшафт.

Такое же значение придавалось пространству и в быту. Победа над врагом — это обретение пространства. Повествуя о победах половцев, летописец пишет: «...а сим

поганым и ругателем на семь свете приимшим веселье и *просторонство*) (Лавр. лет., под 1096 г.). Побеждая, враги распространяются по завоеванной земле: «Татарове же *россунушася* по земли» (Лавр. лет., под 1252 г.). Именно на это обращает внимание летопись.

Напротив того, поражение или пленение — это прежде всего потеря пространства. Пленение — это, кроме того, разлука: разлучаются односельчане, разлучаются братья, плененные разводятся в разные стороны. «Повесть временных лет» рассказывает под 1093 годом, как половцы разделили пленников между собой и как, ведомые в плен, они со слезами отвечали друг другу: «Аз бех сего города», а другие — «Яз сея вси» (то есть села). Под 1146 г. летопись рассказывает, как потерпевшие поражение «разлучишася друг от друга» (Ипат. лет.). Под 1262 г. говорится, что татары «дши (души — *Д. Л.*) крестьянския раздно ведоша» (Лавр. лет.).

Так же точно разлучаются в летописи и в «Слове» Игорь и Всеволод: «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы» («Слово»); в летописи они «разведени быша» и тоже разлучились. Характерно, что, каюсь в плену, Игорь так говорит о последствиях своих междоусобных войн: «тогда бо не мало зло подъяша безвиннии хрестьяни, *отлучаеми* отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих» (Ипат. лет., под 1185 г.).

Если для нового времени с его личностным сознанием пленение — это прежде всего потеря личной свободы, то для раннеколлективистского сознания XI—XIII вв. пленение — это прежде всего разлука и одновременно потеря родины, увод в плен с общей родной земли.

54

Пространство находится в общем владении¹. Поэтому поражение — это потеря пространства, связанная с разлукой, а победа — обретение пространства, связанное с единением. Отсюда ясно, что призыв автора «Слова» к единению князей особенно выразительно для своего времени сочетается с призывом к походу на половцев, к победе над ними.

Но вернемся к представлениям о быстроте передвижения в географическом пространстве.

Быстрота передвижения — это символ власти над пространством, в котором князь передвигается. Быстрота похода — символ овладения пространством.

Могущество Романа Галицкого описывается в летописи прежде всего в образах движения: «...устремил бо ся бяше на поганяя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожахше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур» (Ипат. лет., под 1201 г.; ср. о нем же под 1252 г.: «изоострился на поганяя, яко лев»).

Тот же динамичный монументализм очень характерен и для «Слова о полку Игореве». Действующие лица переносятся в нем с большой быстротой: постоянно в походе Игорь, парадируют в быстрой езде «кмети» — куряне, в быстрых переездах — Олег Гориславич и Всеслав Полоцкий; Всеслав, обернувшись волком, достигает за одну ночь Тмуторокани, слышит в Киеве колокольный звон из Полоцка. И т. д.

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, но его «золотое слово» обращено из Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям. Двигается не он, но зато движется все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет движением. То же и Ярослав Осмомысл: он высоко сидит в Галиче на своем златокованом столе, но его железные полки подпирают горы угорские, он мечет бремены чрез облака, рыдит суды до самого Дуная, грозы его по землям текут и он отворяет врата Киеву.

55

В таком же церемониальном положении изображен и Всеволод Суздальский, готовый вычерпать шлемами Дон, расплескать веслами Волгу, полететь к Киеву. Великий князь церемониально неподвижен, но он среди движения, как бы им руководит.

Эти церемониальные положения князей — типичная черта монументально-исторического стиля XI—XIII вв. Образ князя, высоко сидящего на престоле, подчеркивает еще одну дистанцию — дистанцию феодально-иерархическую между ним и остальными князьями.

Поэтизация средствами установления дистанций способна объяснить, почему автор «Слова» так героизирует в сущности слабого киевского князя Святослава. Важно, что он князь киевский, глава всех русских князей. Это возвышает его над всеми остальными князьями, делает его старым, мудрым и сильным. Он предстает перед читателями высоко «на горах» и высоко по своему феодальному положению, в ореоле иерархической дали.

Еще одна дистанция чрезвычайно характерна для стиля монументального историзма: это дистанция во времени, дистанция историческая.

Там, где в искусстве динамизм, там обычно вступает в силу и историческая тема, появляется обостренный интерес к истории. Движение в пространстве тесно связано законами стиля с движением во времени.

Огромный интерес к истории пронизывал собой изобразительное искусство и литературу XI—XIII вв. Религиозная живопись была по преимуществу религиозно-исторической. Новозаветные и ветхозаветные события и персонажи, события и персонажи церковной истории — основные сюжеты стенных росписей и икон. В литературе также главные темы распределяются вокруг священной, всемирной и русской истории. О преобладании исторических интересов в литературе свидетельствует и широкое развитие в Древней Руси летописания с таким великолепным произведением во главе, как «Повесть временных лет»¹.

56

Но преобладание истории в стиле монументального историзма не только сюжетное и тематическое. Для того чтобы объект литературы стал в XI—XIII вв. поэтическим, был поэтически возвышенным, для этого нужна была дистанция не только пространственная и иерархическая, но и историческая.

Событие и действующее лицо, представленное в ореоле истории, приобретали особенную внушительность. Это наиболее отчетливо видно во всех случаях изображения в литературе поражений русских. В рассказе о взятии Владимира татарами в 1237 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем: «...створися велико зло в Суждальской земли, яко же зло не было ни от крещенья, яко ж бысть ныне». В описании взятия Киева Рюриком и Ольговичами в той же летописи под 1203 г. говорится сходно: «...и створися велико зло в Русстей земли, якоже же зла не было от крещенья над Киевом. Напасти были и взятъя, не яко же ныне зло се сстася». О битве на Калке говорится: «и бысть победа на вси князи рустии, ака же не бывала от начала Русьской земли никогда же» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.).

Почти в тех же выражениях говорится о битве Игоря и в «Слове»: «То было в ты рати, и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»

Мы можем довольно четко установить в «Слове» ту «временную дистанцию», которая требуется его автору, чтобы опозитизировать современность: это приблизительно один век или чуть меньше.

Для того чтобы опозитизировать события, современные автору «Слова», он привлекает русскую историю XI в. События XII в. для этой цели не годятся, и они для этого нигде им не упоминаются. В самом деле, свои поэтические сопоставления автор «Слова о полку Игореве» делает с историей Олега Святославича и Всеслава Полоцкого, с битвой Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве, с гибелью в реке Стугне юноши князя Ростислава, с

поединком Мстислава Тмутороканского и Редеди. Это все события XI в. Автор «Слова» вспоминает певца Бояна — также XI в. История XII в., предшествующая походу Игоря, как бы отсутствует в «Слове» — эстетически она не нужна.

В «Слове о полку Игореве» остро ощущается воздух русской истории. Конечно, представления об истории были представлениями своего времени, и измерения этого исторического времени были не столько летописными,

57

сколько эпическими. «Слово о полку Игореве» не называет точных дат тех или иных событий, что было обязательным для летописи, зато постоянно говорит о «дедах» и дедовской славе. Такое определение времени часто встречается в летописях.

Отцы и главным образом деды также очень часто упоминаются в проповедях, поучениях и житиях — особенно тогда, когда автор хотел выразить свое эмоциональное отношение к их потомкам, или тогда, когда он хотел сравнить деяния их потомков с деяниями отцов и дедов. Деды и прадеды — это всегда некоторое мерило добродетелей и славы внуков и правнуков.

Митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати», восхваляя Ярослава Мудрого, обращается к его предкам — славит его отца, деда и прадедов. Он говорит о его предках, «иже славятся ныне и слывут». Владимир Мономах вспоминает в «Поучении» о том, что было «при умных дедех наших, при добрых и при блаженных отцех наших».

Пример отцов и дедов, обычаи отцов и дедов, их наследие, слава отцов и дедов и, наконец, полуязыческая молитва «дедня и отняя»¹ постоянно упоминаются в летописи, особенно в критические моменты судьбы их потомков.

«Слово о полку Игореве» буквально наполнено проявлениями этого культа предков — дедов и прадедов, но через головы отцов. Это и понятно, если принять во внимание характерную для этого времени «эстетику дистанций», требовавшую промежутка времени большего, чем его давало обращение к отцам и их славе.

В «Слове» постоянно говорится о дедях и внуках, о славе дедов и прадедов, об «Ольговом гнезде» (Олег — дед Игоря). Сам автор «Слова» — внук Бояна, ветры — «Стрибожи внуци», русское войско — «силы Дажьбожа внука», Ярослав Черниговский с подвластными ему войсками ковуев звонят в «прадѣдную славу», Изяслав Василькович притрепал славу деду своему Всеславу Полоцкому: внуки последнего призываются понизить свои стяги — признать себя побежденными в междоусобных бранях и т. д. и т. п.

58

Не случайно поэтому и сами русские называются в «Слове» русичами, что вызывало иногда недоумение исследователей. Однако форма эта — русичи — характерна для племенных названий, подчеркивающая происхождение от легендарного предка; радимичи — потомки легендарного Радима, вятичи — потомки легендарного Вятки. В названии же русичи подчеркивается просто, что они «одного деда внуки», а дедом их назван Дажьбог. И в этом проявляется временная эстетизация, столь типичная для «Слова».

Стиль монументального историзма, властно подчинивший себе не только изобразительное искусство, зодчество и литературу в XI—XIII вв., но и все вообще эстетические представления, игравшие серьезную роль в феодальном быте, не ограничивался, само собой разумеется, только принципом эстетизации дистанций — пространственных, временных (исторических) и иерархических.

Историчность монументального стиля соединяется в нем со стремлением утвердить вечность. Вечность не противоречит движению. Это не неподвижность. Библейские события историчны и вечны одновременно. Христианские праздники существуют в данный момент священной истории и одновременно существуют в вечности. История и вечность составляют в средневековье некое диалектическое единство. В отношении

эстетическом это единство осуществляется через церемониальность. Средневековая церемониальность и этикетность — это попытка эстетически утвердить вечное значение происходящего и заявить о значительности события.

Поэтому одной из существеннейших сторон монументально-исторического стиля была именно церемониальность, я бы даже сказал — демонстративная церемониальность, хотя церемониальность всегда в той или иной мере рассчитана на демонстрацию и поэтому демонстративна по своей сути.

Церемониальность находилась в прямом соответствии с монументальностью литературы. Она требовала репрезентативности, торжественности, крупных форм, рассчитанных на коллективного зрителя и слушателя. Она требовала не столько изображения действительности, сколько ее оформления, подчинения жизненных явлений торжественным и идеализированным формам.

59

Литература XI—XIII вв. была церемониальна по формам своего применения, по художественным средствам, к которым она прибегала, по темам, которые она для себя избирала.

В чисто эстетическом плане главный жанр литературы этого периода — ораторский¹. Ораторское выступление было в этот период частью церемониала — церковного и светского. Частью церковного церемониала были жития святых и сочинения гимнографические. Летописи не предназначались для церемониала, но они в известной мере были церемониальным освещением событий, отбором событий для увековечения их, который также представлял собой известный церемониал. В народном творчестве церемониальное значение имели славы и плачи. Одни предназначались для встреч князей, для их прославления при вокняжении, другие — для похорон и воспоминаний.

Литература и фольклор, таким образом, входили в церемониалы и вместе с тем церемониально оформляли изображаемое.

Не случайно в «Слове» так часто используются такие церемониальные формы народного творчества, как слава и плач. Боян поет славу старому Ярославу и храброму Мстиславу, он свивает славы «оба полы сего времени» и исполняет славу «княземъ» на своем струнном музыкальном инструменте.

Выше уже говорилось, что в «Слове» иноземцы (немцы, венецианцы, греки и моравы) поют славу великому Святославу, говорится о плаче русских жен, о пении славы девицами на Дунае.

Описан или упомянут в «Слове» целый ряд церемониальных положений: обращение Игоря к войску, звон славы в Киеве: «Звенить слава въ Кыевъ... стоять стязи в Путивль». Как на параде, с оружием наизготовку проносятся в «Слове» «свѣдоми къмети» — куряне. Игорь вступает в золотое стремя — момент также церемониальный. После первой победы Игорю подносят трофеи — черленый стяг, белую хоругвь, черленую чолку, серебряное стружие. В церемониальном положении изображен «на борони» Яр Тур Всеволод. О пленении Игоря сообщено, как о церемониальном пересаживании из золотого

60

княжеского седла в седло кощеево. В церемониальных положениях изображены в «Слове» Всеволод Суздальский, Ярослав Осмомысл на своем златокованом столе высоко в Галиче, а также окруженный на горах киевских боярами, подающими ему советы, Святослав Киевский.

Своеобразно церемониальное положение Всеслава Полоцкого — он добывает себе Киев — «девицу любу», скакнув на коне и дотронувшись стружием до золотого киевского стола, что напоминает сватовство к невесте в русской сказке (Иванушка скачет на коне и успевает снять кольцо с руки у царевны, сидящей высоко в тереме).

Церемониален плач Ярославны. Она плачет открыто, при всех, на самом высоком месте своего Путивля — на городских забралах, откуда открывается простор Посеймья.

Наконец, завершается «Слово» торжественной церемонией въезда Игоря в Киев и пением ему славы в разных концах Русской земли.

При определении жанра «Слова» следует учитывать его церемониальность. Древняя русская литература, особенно в этот период, в XI—XIII вв., не знала произведений, предназначенных только для одиночного читателя. Она всегда была рассчитана на обряд, на чтение в тот или иной момент богослужения, бытового случая, — на чтение вслух, для всех или многих. Несомненно, что и «Слово» должно было для чего-то предназначаться: не исключена возможность, что это было ораторское произведение, предназначенное для какого-то светского церемониала, как это думал И. П. Еремин, но вероятнее, как об этом мы уже говорили, это были плач и слава, также имевшие точное обрядовое назначение. Приводимые И. П. Ереминым признаки ораторского жанра в «Слове»¹ распространены во многих произведениях этого периода и не принадлежащих к ораторскому жанру. Ораторские приемы встречаются в летописях и житиях, в хождениях и исторических повестях (особенно в повестях о княжеских преступлениях), так как литературные произведения очень часто были участниками торжеств и обрядов, требовали громкого произнесения.

61

Монументальность и церемониальность всегда связаны с традиционностью. Церемониальность традиционна по самой своей сути. Чем дальше в глубь времени уходят обряд или церемония, тем они торжественнее. Поэтому церемониальные одежды всегда старинные, а церемониальные формы держатся десятилетиями и веками.

Монументальность, особенно монументальность историческая, должна быть поэтому традиционна. Все три особенности (монументальность, историчность, традиционность) поддерживают друг друга.

К сожалению, у нас очень мало данных, чтобы судить о том, насколько традиционны многие формы в том жанре, в котором было создано «Слово о полку Игореве». Однако эти данные все же отчасти есть.

С одной стороны, мы встречаемся с образами, метафорами, оборотами «Слова о полку Игореве» в русской, украинской и белорусской народной поэзии нового времени, а это само по себе свидетельствует о том, что все они были не только в народной поэзии, но и в самом «Слове» глубоко традиционными.

С другой стороны, поэтические образы в «Слове» тесно связаны с образами, лежащими в основе политической (феодальной) и военной терминологии его времени, и это опять-таки говорит об их традиционности. Образы не придумывались, не изобретались автором «Слова» — они брались из жизни или стали традиционными в литературе, но также, в свою очередь, восходили к феодальной и военной терминологии.

В дальнейшем я скажу о «терминологическом происхождении» таких образов «Слова», как «итти дождю стрѣлами», «вонзить свои мечи верезени» (прекратить военные действия), «понизить стязи свои» (сдаться), «всесть на свои брѣзья комони» (выступить в поход), «вѣступити в стремя» (выступить в поход), «высѣсть из сѣдла злата, а в сѣдло кощиево», «отворить ворота» (впустить врага в город или завладеть им), «не крѣситъ» (в формуле отказа от мести), «вѣстала обида», «иссушить потоки и болота» (захватить землю по рекам) и некоторые другие¹.

Монументализм XI—XIII вв. имеет целый ряд и других признаков и свойств. Так, например, монументализму свойственна особая лаконичность, краткость. В произведениях

62

монументального стиля обычно мало орнаментики — монументальность требует выразительности при немногословии. Это касается, например, характеристик людей и населения той или иной местности. В летописи такая лаконичность и «геральдичность» в характеристиках постоянна. Владимирцы говорят о ростовцах: «то суть наши холопи каменъницы» (Лавр. лет., под 1175 г.). Об ольговичах и половцах говорится в летописи, что они «скори бяху на кровопролитъе» (Ипат. лет., под 1151 г.), «перяславци же дерзи суще» (Лавр. лет., под 1169 г.), «смоляне дерзи к боеви» (Сузд. лет. по Акад. сп. под 1216 г.) и т. д.

То же самое видим мы и в «Слове». Вспомните «свѣдомых кметей» — курян, Ольгово храброе гнездо, храбрые полки Игоря, железные полки Ярослава Осмомысла и пр.

Особую роль в церемониальном, монументальном стиле литературы играли афоризмы, приписываемые обычно каким-то древним мудрецам или просто вкладываемые в чьи-то уста: «Яко инде глаголетъ: «Скырт река злу игру сыгра гражаном», тако и Днестр злу игру сыгра Угром» (Ипат. лет., под 1229 г.), «Выйде Филя, древле прегордый, надеяся объяти землю, потребити море, со многими Угры, рекшу ему: «един камень много горньцев избиваетъ», а другое слово ему рекшу прегордо: „острый мечю, борзый коню — многая Руси“» (Ипат. лет., под 1217 г.), «О, лествъ зла есть! якоже Омир пишетъ, да обличена же зла есть, кто в ней ходить, конецъ зол приметъ; о злее зла зло есть» (Ипат. лет., под 1234 г.), «якоже премудрый хронографъ списа: „якоже добродейня в веки светятъся“» (Ипат. лет., под 1257 г.). Ср. в «Слове»: «рекоста бо братъ брату: „Се мое, а то мое же“», «Рекъ Боянь... „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣду кромѣ головы“», «Тому вѣщей Боянь и прѣвое приптѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

Одна из сторон церемониальности — истовая неторопливость и своеобразная полнота в перечислении всего того, что участвует в церемонии. Эта полнота преследует цели не столько информационные, сколько украшающие и напоминающие присутствующим о том, что входит в церемонию.

Церемония — это некий процесс, некое длительное, разворачивающееся в пространстве и во времени действие, действие, которое может быть заранее известно не

63

только распорядителю церемонией, но и присутствующим. Особенно важны поэтому в церемонии последовательность в демонстрации неких равных и соподчиненных членов.

В поминовениях умерших обычно перечисление мест, где они скончались: «Покой Господи душа раб своих всех правоверных крестьян, умерших в градах, и в селех, и в пустынях, и на путях, и на мори...»¹

В «Службнике» Варлаама Хутынского говорится о тех, кто в беде: «Помяни Господи сущая в пустынях, и в горах, и в пещерах, и в распаданиих земных». Еще красноречивее эта полнота перечисления в «Службнике» Варлаама Хутынского несколько ниже: «Помяни Господи предстоящая люди и оставшая потребных вин дея, и помилуй я и нас множествомъ милости твоея. Клетѣ (избы. — *Д. Л.*) их наполни всякаго блага, подружия (мужей и жен. — *Д. Л.*) их в мире и в единении съблуди, младенца их въспитай, уность накажи (научи. — *Д. Л.*), старость поддержи, малоденныи утешѣ, расеяныя събери, блудящая приведи и совѣкупи с святою и апостольскою церковью твоею, нудимыя духы нечистыми свободи, с плавающими плавай, со в пути ходящими шествуй, вдовицамъ помощникъ буди, сирымъ заступникъ, пленныя избави, болящая исцели, и сущая на судищи, и в родах, и в поточениях, и в лютыхъ работах, и во всякой скорби, и беде, и нужи сущихъ поминай, Боже, и вся требующая великаго твоего милосердия и любящая ны, и ненавидящая»².

В летописи описывается татарское нашествие. Татары пришли на Рязань, требуя у рязанских князей «десятины во всем: в князех, и в людех, и в конех — десятое в белых,

десятое в вороных, десятое в бурых, десятое в рыжих, десятое в пегих» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1237 г.).

То же самое и в «Слове». «Чръленъ стягъ, бѣла хорюговъ, чрълена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю». Или: «дивь... велить послушати — земли незнаемѣ, Влѣзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню», «Орьтъмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты мстити», «съ черниговскими былями, съ могуты,

64

и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольберы».

Разные формы перечислений в «Слове» нуждаются в специальном изучении, особенно в связи с проблемой ритмики «Слова». С точки же зрения стилистического требования полноты, столь характерного для монументально-исторического стиля, стоит сопоставить эти перечисления со стремлением в «золотом слове» Святослава обратиться ко всем русским князьям поименно. Если практически достаточно было бы просто призвать всех русских князей, как единое сообщество, не перечисляя каждого, выступить в объединенный поход против половцев, то чтобы придать обращениям церемониальность, необходима была именно их «полнота»: обращение к каждому из князей лично. Князь киевский Святослав обращается к князьям, соблюдая феодальный этикет.

Весьма важно отметить, что перечисления в «Слове» падают на те объекты, которые требуют именно церемониальности; дань, добыча, народы и племена («черниговские были»: «съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольберы»), покоренные страны («Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела»), народы, поющие славу Святославу («ту нѣмцы и венецици, ту греци и морава»).

Церемониальное значение многих других моментов в «Слове» возможно, хотя и не всегда ясно. Приведу такой пример: обсуждение значения виденного Святославом сна в кругу своей дружины. Не лежал ли в этом обсуждении какой-то свойственный тому времени церемониально обставленный обряд? Об этом позволяет думать следующее обстоятельство. В «Легенде мантуанского епископа Гумпольта о святом Вячеславе (Вацлаве) Чешском» рассказывается о вещем сне Вячеслава Чешского, видевшего себя в кругу своей дружины. О церемониальном характере обсуждения сна Святослава Киевского о боярской думе как будто бы свидетельствует и то обстоятельство, что сон свой Святослав видел «въ Киевѣ на горахъ», то есть в церемониальном положении. Это почти «официальный» сон, требующий своего церемониального обсуждения в боярской думе¹.

«Слово» откликается не только на эстетические представления в литературе и искусстве. Оно как бы включено

65

в раму тех эстетических норм, которые существовали в самой жизни, в феодальном быте времени.

Новейшая поэзия не имеет особо выделенной категории явлений, которые представляли бы собою как бы особый резервуар эстетических ценностей. В принципе современный поэт может эстетически сублимировать любое жизненное явление. В современной нам литературе почти отсутствует деление явлений самих по себе на эстетические и антиэстетические. Эстетическим или антиэстетическим может быть только *подход* к явлениям жизни. Это закономерное следствие расширения сферы поэзии и уступки в ней первого места нюансам, обертонам, ассоциациям, позволившим вскрыть эстетические ценности в любом явлении и в любом понятии.

В средневековой литературе, напротив, первенствующее место занимает явление в своей основной сущности, его основная функция, его всесторонность и как бы всеобщность.

Поэтому в средние века выделены определенные категории жизненных явлений, которые признаются эстетически ценными и откуда по преимуществу черпается поэтическая образность.

Это одно из проявлений того монументализма, который сохраняет свое значение и в последующее время, после XIII в., хотя и подвергается постоянной эрозии, совершенно сменившей почву поэзии в новое время.

Иерархическое устройство общества отразилось в установленной в нем иерархии эстетических ценностей. В литературе эстетически ценно прежде всего все то, что связано с высшим светским слоем феодального общества. Именно светским, а не церковным. Это может показаться странным, но этому есть свои основания: внешнее и далеко не последовательное отрицание «земной» красоты черным духовенством.

Наиболее частое сравнение праведного поведения подвижника этого времени — с ратным трудом. В послесловии к Синодальному списку псалтири 1296 г. под № 235 писец пишет: «...аще убо воины Христови есмы путем истины труда должни есмы ходити, облечемся в броня веру Христову и в шлем крест его, щит же и копие в любовь его и мечь духа еже суть словеса Божия, и станем на супостата яко добрии воины бдением и постомь и молитвою с псалтырею смиренномудрии и луци

66

и стрелы и сети и раны бывають врагу, точию не възнесемся в молитве нашей с псалтырею»¹.

К этому мы еще вернемся. Сейчас же обратим внимание вот на что. Два княжеских дела считались в этот период наиважнейшими: война и охота. Именно о своих «путях» (то есть походах) и «ловах» (то есть охотах) рассказывает, как мы видели, в своем «Поучении» Владимир Мономах. Те же два княжеских дела как наиважнейшие подчеркиваются и в летописи.

Красиво оружие воина, красиво все, что связано с боевым конем, красива княжеская охота — особенно соколиная. И даже тогда, когда нужно подчеркнуть величие дела церковного подвижника, он сравнивается с воином, его дело объявляется воинским делом и сам он — «воин Христов».

«Красота воину оружие и кораблю ветрила», — говорится в «Слове некоего калугера о чь[тении] [к]ниг»², включенном в «Изборник» 1076 года (л. 2 об.). В том же Изборнике с оружием сравнивается молитва («велико оружие молитва», л. 229), с оружием же сравнивается человеческое тело: «оружье бо наше есть тело, а душа — храбрь» («храбрь» — богатырь, л. 240).

Образ воина, подобно Всеволоду Буй Туру «стоящего на борони», — это также по-своему эстетически канонизированное представление о красоте. И опять-таки оно находит себе подтверждение в том же Изборнике: «любит князь воина стояштя и борющагося с врагы» (л. 216).

Все вышеприведенные цитаты взяты из статей сугубо церковного содержания, но эстетическим идеалом для каждого из монахов остается все же светский идеал воина, именно образ воина стоит впереди церковного подвижника.

О красоте оружия воинов неоднократно пишет и летопись, редко отвлекающаяся от строго деловитого изложения и аскетически обнаженная от всякой образности. «блистахуса щити и оружници подобни солнцю» (Ипат. лет., под 1231 г.), «велику же полку бывшую его (Даниила Галицкого. — Д. Л.), устроен бо бе храбрыми людми и светлым оружьем» (там же). Красоту оружия отмечает обычно и «Хронограф»: «якоже въставше

67

слнце на златыа щиты и на оружиа, блистахуса горы от них»¹.

Феодосий Печерский говорит в своем «поучении о терпении и милостыни»: «...воину Христову лепо ли есть лениться? Да или то они за тщую славу и изгибающую не помнать ни жены, ни детей, ни имениа. Да что мною имение, еже есть хуже всего, но и главы своея ни в что же помнать, дабы им не посрамленным быти»².

О способности воина забыть о своих ранах в бою пишет и летопись. Даниил Галицкий в битве на Калке «младенства ради и буести, не чюаше раны бывши на телеси его» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.). Князя Мстислав Мстиславич и «Володимер» Рюрикович, «укрепляя» своих новгородцев и смолян, говорили им: «забудем, брате, домов, жен и дети» (там же, под 1216 г.). Радость, заставляющая воина забыть в пылу битвы или после нее о своих ранах, неоднократно описывается в летописи и в других случаях. Ипатьевская летопись рассказывает о Романе Брянском под 1264 г., что когда он отдавал «милую свою дочь, именовъ Олгу, за Володимера князя, сына Василькова», он на радостях забыл о своих ранах: «И в то веремя рать приде Литовьская на Романа; он же бися с ними и победи я, сам же ранен бысть и немало бо показа мужьство свое, и приеха во Брянескъ с победою и честию великою, и не мня ранен на телеси своемъ за радость».

Поразительно близок идеалу воинской увлеченности сражением образ Всеволода Буй Тура. В пылу битвы он забывает свои раны и своих близких: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милья хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая?»

Церемониальность многих сторон «Слова о полку Игореве» не совсем ясна для нас сейчас. Большинство обычаев забылось. Например, почему плачет Ярославна на «забрале» — не был ли обычаем плач на городской стене по погибшим в далекой битве? Или, может быть, важнее то, что «забрала» эти находились на *берегу* реки Сейма? Ведь на *берегу* Днепра оплакивает мать своего

68

сына Ростислава и в «Слове о полку Игореве» и в «Повести временных лет» под 1093 г. В «Слове» «готские красные девы» поют на *берегу* моря, плещет «лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону» дева обида, «дѣвици поють на Дунаи» и т. д. Не было ли обычаем петь и плакать именно на берегу? Не потому ли «Слово» подчеркивает, что поражение войск Игоря произошло на «брезѣ быстрой Каялы», то есть в месте скорби¹.

Обращу еще внимание на одну сторону военных образов «Слова». Битва, как известно, сравнивается в «Слове» с жатвой, и этот образ обычно сопоставляется с аналогичными образами народной поэзии.

Однако образ этот существует и в книжности. Враги избивают людей, «аки на ниве класы пожинаху» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1216 г.), или о татарах: «а все людие секуще, аки траву» (там же, под 1238 г.)².

Не случаен в летописи и противостоящий войне образ мирных пахарей, ратаев. Война — это прежде всего гибель пахарей. В речи Владимира Мономаха на Любечском съезде, обращенной к князьям с призывом защитить Русскую землю от набегов половцев, читаем: «и половчин приехав ударить и (смерда) стрелюю, а кобылу его поиметь» (Лавр. лет., под 1103 г.).

Переходим теперь ко второму слою эстетических ценностей — охоте, и при этом соколиной по преимуществу. Владимир Мономах начинает свою биографию со слов: «А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея и ловы с 13 лет» (Лавр. лет., под 1096 г.). Княжеский «труд» для Мономаха, как мы уже указывали, это «пути» и «ловы». Как одну из главных добродетелей князя называет охоту и Ипатьевская летопись. В ней под 1287 г. прославляется как охотник Владимир Василькович Волынский: «Бяшетъ бо и сам ловечь добр, хоробор, николи же ко вепреви и ни к медведеве не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всяки

69

зверь; тем же и прослул бяшетъ во всей земле, понеже дал бяшетъ ему Бог вазнь (удачу. — *Д. Л.*) не токмо и на одиных ловех, но и во всемъ, за его добро и правду». Впоследствии, уже в XVII в., царь Алексей Михайлович составляет чин соколиной охоты и пишет в нем: «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселием радостным, и веселит охотников сия птичья добыча. Безмерна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига (самец кречета. — *Д. Л.*) кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая переласка (особого рода перелет птицы дремлика. — *Д. Л.*) и добыча. Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лет». Составленный Алексеем Михайловичем «Урядник Сокольниковъ пути» — это не только уложение об охоте, это поэтический гимн красоте соколиной охоты.

Вот почему в Древней Руси даже в сухое летописное изложение вторгается сравнение стрельцов с соколами: «приехавшим же соколомъ стрелцемъ, и не стерпевъшим же людемъ, избиша е и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.).

Восемь раз в «Слове» употребляется образ сокола по отношению к князьям и воинам, однако образами охоты «Слово» буквально пронизано. Природа в «Слове» — это по преимуществу та природа, которая увидена глазами охотника.

* * *

Стиль монументального историзма XI—XIII вв. далеко не исследован. Предстоит еще многое сделать для выявления его особенностей. Эти особенности лежат не только в эстетических принципах. Существуют, по-видимому, и некоторые этические принципы, общие для произведений этого времени и тесно связанные с принципами эстетическими. Существует некоторое характерное для этого периода отношение между фольклором и литературой. Есть и известная эстетическая сосредоточенность на определенных темах, мотивах. Внимание людей этого времени выделяло в окружающем их мире однородный ряд фактов, как эстетически ценный.

В целом многие традиции, обычаи, привычки сливались с эстетическими принципами, становились характерными для этого периода признаками стиля, пронизывавшего не только все искусства, включая литературу, но

70

и весь жизненный уклад XI—XIII вв. Перед нами не столько стиль, сколько «эстетическая формация» (термин А. Флакера).

Обращаясь к «Слову о полку Игореве», отметим его полную подчиненность принципам этого стиля. Если есть различия между «Словом» и летописью, житиями и другими произведениями этого периода, то различия эти обусловлены только различиями жанра.

* * *

Откуда же явилась стилистическая формация монументального историзма? Чем объяснить ее появление на Руси?

История человеческой культуры знает периоды особенно светлого взгляда на мир, периоды как бы удивления вселенной, когда восхищение окружающим становится своего рода чертой мировоззрения и эстетического восприятия мира. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового великого стиля в искусстве и в литературе. Человек открывает в мире какую-то новую, не замечавшуюся им ранее эстетическую или религиозную систему. Новое истолкование мира приносит и новое его открытие. Обнаруживаются связи и значения, ранее не замечавшиеся, обнаруживается какой-то новый ритм в мире, новая стилеформирующая доминанта, которые до глубины

души удивляют человека. И это удивление перед тем, что все окружающее подчиняется новому мировоззрению, всегда бывает радостным.

Об оптимистическом характере первого (домонгольского) периода древнерусского христианства писали многие, — прежде всего Н. К. Никольский¹ и М. Д. Приселков². В качестве объяснения приводилось отсутствие в древнерусском христианстве аскетизма. Но это отсутствие аскетизма не может быть принято за объяснение, так как оно является, в общем, другой стороной того же самого. Объяснение лежит, как мне представляется, в изменении исторических условий.

71

Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь, как и некоторые другие европейские страны, миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству — язычеству, типичному именно для родового строя. В древнерусском язычестве гнезился страх перед могуществом природы — природы, враждебной человеку и властвующей над ним. Вместе с феодализмом и христианством пришло новое художественное познание мира, создавшее великий монументальный стиль домонгольского древнерусского искусства.

Доминантой нового художественного отношения человека к окружающей природе явилось открытие значительности человека и человечества в окружающем его мире. Всемирная история, изложенная так, как она рассказана в первом произведении русской литературы, обращенном к новопросвещенному народу — русским, — «Речь философа», вся говорила о значении людей, о смысле их существования и о центральном положении человека в окружающем его мире. Отныне стало аксиомой, что человек — центр вселенной и именно в нем смысл существования мира. Первые русские произведения полны восторга перед мудростью мироустройства, но мироустройство это не замкнуто в самом себе: природа служит человеку, она не враждебна ему и именно потому прекрасна. Она помогает человеку материальными благами, и через нее бог открывает человеку заповеди поведения. Природа содержит в себе притчи, нравоучения. Это — второе Писание.

Вселенная вся обращена к человечеству, сочувственно участвуя в его судьбах. Именно такое, отнюдь не узкоязыческое, а скорее эстетическое истолкование природы и ее участия в человеческих событиях найдем мы и в «Слове о полку Игореве», и в проповеднической литературе XI—XIII вв.

Владимир Мономах пишет в «Поучении»: «Что есть человек, яко помниши и́? Велий еси, господи, и чюдна дела твоя, никак же разум человеческ не может исповедати чюдес твоих; — и паки речем: велий еси, господи, и чюдна дела твоя, и благословено и хвално имя твое в веки по всей земли. Иже кто не похвалить, ни прославляеть силы твоея и твоих великих чюдес и доброт, устроены на семь свете: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма и свет, и земля

72

на водах положена, господи, твоим промыслом! Зверье разноличнии, и птица и рыбы украшено твоим промыслом, господи! И сему чюду дивуемься, како от персти создав человека, како образи разноличнии в человекьских лицих, — аще и весь мир совокупить, не вси в один образ, но кьи же своим лиць образом, по божиим мудрости. И сему ся подивуемь, како птица небесныя из ирья идуть, и первее, в наши руце, и не ставятся на одной земли, но и сильныя и худыя идуть по всем землям, божиим повелениемь, да наполнятся леси и поля. Все же то дал бог на угодьи человеком, на снеть, на веселье. Велика, господи, милость твоя на нас, иже та угодьи створил еси человека доля грешна. И ты же птице небесныя умудрены тобою господи; егда повелиши, то вспоють, и человеки веселять тебе; и егда же не повелиши им, язык же имеюще онемеють»¹.

В цитированном месте «Поучения» сказало влияние «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского².

Само по себе это знаменательно: на столетие раньше Болгария пережила то же «удивление миром», которое было затем столь характерно и для Руси, она раньше Руси прошла тот же путь к новому восприятию мира, опыт ее оказался для Руси особенно ценным.

Мономах пользуется не только «Шестодневом» Иоанна экзарха Болгарского, но и цитатами из псалтири. Однако в сочетании с собственными наблюдениями над русской природой этот восторг приобретает у Мономаха особенно личный характер. Это не обнаженная литературная традиция: это традиция прикровенная, используемая для выражения вполне искреннего чувства.

Церковная и нецерковная литература домонгольской поры полна и другими приглашениями читателей «подивиться», или «почудиться», окружающей природе, мудрости мироустройства. Этот общехристианский мотив становится особенно характерным именно в первые века древнерусской культуры.

Под влиянием этого «открытия» окружающего мира человек как бы расправил плечи, мир представился ему огромным, он потерял страх перед миром. Напротив, человек стремится теперь подчинить себе обширное окружающее пространство. Русь, объединенная в феодальное

73

государство, одно из самых больших в тогдашней Европе, манит человека к далеким переездам и даже переселениям. Отсюда динамичный монументализм мироощущения. Человек открывает дальние страны, куда устремляли его большие русские реки и сношения с которыми облегчились теперь благодаря общей религии.

Вместе с тем это был период открытия истории. В язычестве доминировал годовой круг праздников, оно не было связано с историей. Время замыкалось в годичный цикл смены сезонов: весны, лета, осени, зимы. Христианство принесло сведения о тысячелетних изменениях в судьбах многих народов мира. Представление о старине как о некоей единой эпохе, где происходит все героическое, сменилось взглядом на историю, в которой все совершается в определенные года «от сотворения мира». Разбивка событий в летописи на годы — погодные записи — явилась одним из радостных открытий этого времени, и не случайно хронологические отметки, начинающиеся словами «в лето такое-то», стали обязательной формой рассказа о прошлом. История получала определенный мировоззренческий смысл и объединяла собой все человечество.

На пути такого антропоцентризма менялись и отношения между художником и его созданием, между зрителем и объектом искусства. И это новое отношение уводило даже от канонически признанного церковью.

Бог прославляется нашими делами. «И кто не удивится, възлюблении, яко Богу прославится нашими делесы?» — говорит Феодосий в «Слове о терпении и любви»¹. Но и бог прославляет человека церквами, иконами и церковной службой. Отсюда, с одной стороны, приглушенность личностного начала в творчестве, ибо в человеческом творении прежде всего проявляется «боговдохновенность» и «богосозданность», но отсюда же, с другой стороны, величие и монументальность произведений искусства, их прославляющий человека характер.

Вопреки постановлению седьмого вселенского собора, установившего чествование икон и креста «по подобию» — «ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному»², Феодосий Печерский утверждает,

74

что храмы и изображения созданы в честь «нам» — людям. Он призывает «с страхом стати безмолвно при стене, гласы немълчны въспевающе к Вышнему, иже нас грешных

сподобил входа церковнаго, не имеюще себе подпоры стены, ни стлѣпа, еже нам суть на честь створена...» — и далее: «И в церкви более того есть: на честь бо нам стлѣпы суть и стены церковныя, а не на бещестие»¹.

Сказав о стенах и столпах церкви, как о «чести», воздаваемой человеку, Феодосий переходит затем к каждению в церкви и снова подчеркивает обращенность и этого действия к человеку, к молящемуся. Аналогия с честью, воздаваемой человеку сооружениями зодчества, несомненна. Храмы, их величие, богослужение — все это честь именно человеку. Для человека — клепание в била, призывающее его ко святой службе, для человека — пение церковное, для него и образы, и кадило, к нему обращенное, и чтение Евангелия и житий святых².

Нечто подобное находим мы и у Илариона в его «Слове о Законе и Благодати».

В своем «Слове» Иларион обращается к умершему князю Владимиру с риторическим призывом встать из гроба и взглянуть на честь, которая ему оказана: «Отряси сон, взведи очи, да видиши какая ты чьсти Господь тамо сподобив, и на земли не безпамятна оставил сыном твоим». Перечисляя эту честь, Иларион указывает на потомство Владимира — его сыновей, на цветущее благоверие и на град Киев «величеством сияюшь», на «церкви цветущии».

Обращаясь к Владимиру, Иларион говорит: «Виждь град иконами святых освещаем». Иконы, изображения святых «освещают» град³.

Церковь Благовещения — это не только честь Богу и Владимиру, но и честь всем горожанам Киева. Восхваляя церковь Богородицы «дивну и славну всем округным странам, якоже не обрящется во всем полунощи земнем от востока до запада», Иларион сравнивает ее с архангелом Гавриилом, давшим целование Девине: «Да еже целование архангел даст Девине, будет и граду сему. К оной бо: радуйся обрадованная, Господь с тобою.

75

К граду же: радуйся, благоверный граде, Господь с тобою!»¹

Обращенность искусства к его создателям и ко всем людям в их честь стало идеологической доминантой в стилеформирующих тенденциях монументального искусства X—XIII вв. Отсюда импозантность, торжественность, церемониальность архитектурных форм. Отсюда же столь бережно охраняемая перешедшая к нам из Византии обращенность изображений к молящимся, «предстояние» изображений не только за людей, но перед людьми. Отсюда четырехфасадность церквей, обращенных на все стороны города. Отсюда же монументальный стиль литературы, ее торжественность и парадность, строгая этикетность в выборе ситуаций и словесного выражения.

«Слово о полку Игореве» родилось в эпоху, когда политическая ситуация в Древней Руси крайне осложнилась и не могла уже вселять оптимизм. Однако стиль монументального историзма к этому времени укрепил свои корни, и он еще долго будет оказывать влияние на русскую литературу и искусство.

«Слово о полку Игореве» принадлежит к тому же стилю, к которому принадлежат «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет» и все другие летописи, жития Бориса и Глеба, «Слово о погибели Русской земли» и вся вообще литература и искусство домонгольской Руси.

Относительно исторических представлений автора «Слова» существуют две солидные работы².

76

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» изумляет не только своей неувядаемой красотой, но и мудрой политической прозорливостью ее автора, мудрой оценкой им политических событий своего времени и независимостью его суждений. Вот почему законно поставить вопрос: откуда черпал автор «Слова» свои сведения, на какой почве выросли его суждения, в чем автор был связан с «общественным мнением» своего времени, своей среды и в чем преодолевал его ограниченность, определявшуюся особенностями исторического и политического мышления своей эпохи?

* * *

Была ли русская история исключительным достоянием письменности?

Многочисленные данные говорят о том, что хранителем исторических воспоминаний был сам народ. В 1147 г. киевляне напоминают своему князю на вече об освобождении Всеслава Полоцкого из поруба, случившемся за 80 лет перед тем, и требуют извлечь для себя урок из того события и не оставлять в живых Игоря Ольговича. В 1148 г. новгородцы на вече говорят Изяславу: «Ты наш князь, ты наш Володимир, ты наш Мстислав».

77

Под Владимиром новгородцы, очевидно, разумели Владимира I Святославича, бывшего одно время новгородским князем (до своего вокняжения в Киеве), а под Мстиславом — новгородского князя Мстислава Владимировича, сына Владимира Мономаха. Следовательно, память об этих князьях была жива в Новгороде, в широких слоях новгородского населения.

Иногда князьями предпринимались походы из-за «обид» более чем вековой давности. Так, например, в 1178 г. новгородский князь Мстислав «пойде на Полтськ на зятя своего на Всеслава: ходил бо бяше дед его на Новьгород и взял ерусалим церковный и сосуды служебные и погост один завел за Полтеск. Мстислав же все то хотя оправити Новгородскую волость и обиду...» (Ипат. лет., под 1178 г.). Поход Всеслава относился к 1066 г., но в летописи о том, что Всеслав «завел за Полтеск» один из новгородских погостов, ничего не было сказано: возможно, это помнили по преданию.

Несомненно, что народ помнил не только имена и не только самые события в общей форме. Исторические события больше, чем через столетие, могли вспоминаться с такими подробностями, которые свидетельствуют о том, что в памяти народа сохранялись не исторические перечни, а живые и конкретные картины прошлого. Так, например, перед Липицкой битвой 1216 г. новгородцы говорили Мстиславу Мстиславичу Удалому: «Къняже! Не хотим измерети на коних, нъ яко отчи наши билися на Кулачьской пеши» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1216 г.). Следовательно, в 1216 г. новгородские воины помнили, что в 1096 г., за 120 лет перед тем, предки их сражались с Мстиславом Владимировичем против Олега «Гориславича» пешими.

Многообразные виды исторической памяти народа могут отчасти быть восстановлены на основании «Повести временных лет». Воспоминания о прошлом извлечены здесь из пословиц и поговорок («беда аки в Родне», «погибоша аки обри», «пищанци волчьа хвоста бегают»), из легенд о происхождении городов, племен и княжеских династий (Киев, Переяславль; Рюрик, Радим, Вятко), из исторических рассказов, основанных на диалоге (рассказы о местах Ольги), из родовых преданий (Яна Вышатича) и из героических песен.

Поэтическое отношение к русской истории несомненно предшествовало летописному. Древнейшая летопись уже пользовалась историческими песнями. Это поэтическое

78

восприятие русской истории было одновременно и дофеодалным, тогда как летописное, несомненно, было порождено феодализмом, знаменовало собой новую, высшую ступень исторического сознания.

В XI и XII вв. патриархально-поэтическое представление о русской истории в различных социальных слоях доминировало над летописным, да и сам летописец еще в начале XII в. в значительной степени поэтизировал и героизировал русское прошлое в духе устной исторической поэзии.

В 1097 г. киевляне послали ко Владимиру Мономаху со словами: «Молимся, княже, тебе и братома твоима, не можете погубити Русьские земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и возмутъ землю нашу, иже беша стяжали отци и деди ваши трудом великим и храбрьствомъ, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хотите погубити землю Русьскую» (Лавр. лет). В этих словах киевлян ясно ощущается идеализация «отцов и дедов», их «труда» и их «храбрьства». Эта идеализация отнюдь не свидетельствует о какой-либо консервативности киевского населения, ее происхождение — поэтическое. Киевляне не раз напоминали своим князьям о героическом прошлом Руси и в других случаях. В этих представлениях широких масс киевского населения о русской истории чувствуется знакомство с нею на основании исторических песен в первую очередь. Не случайно в середине XI в. митрополит Иларион говорил, обращаясь к Ярославу, о его предках, «иже поминаются ныне и словут».

Едва ли эти поэтические представления о русском прошлом и самое знакомство с историческими песнями были распространены только среди трудовых слоев населения XI—XII вв. То же поэтическое представление о героическом прошлом русского народа находим мы и у Владимира Мономаха. В своем «Поучении к детям» он пишет: «... то бо были рати при умных дедех наших и при блаженных отцих наших» (Лавр. лет., под 1096 г.).

По-видимому, эти поэтические, героизирующие старых русских князей представления о русской истории были основаны на песнях, слагавшихся во славу того или иного деятеля русской истории. О песне, сложенной во славу Мстислава Удалого, прямо говорит, например, польский историк XV в. Ян Длугош — Русь сложила эту песнь в честь Мстислава тотчас же после его победы в 1209 г. над поляками и венграми под Галичем:

79

«О великий княже и победитель, Мстислав Мстиславич!
О храбрый сокол, устрашающий храбрых и сильных
и войска их, посланный богом!
Пусть перестанут гордиться те, кто мнили,
победив тебя, себе присвоить победу,
ибо все они посрамлены и разбиты тобою,
великолепным и славным господином нашим»¹.

Как уже говорилось раньше, пением «славы» встречали в своем городе князей, возвращавшихся из победоносного похода. В этих «славах» перечислялись их подвиги, они становились со временем историческими песнями, сохраняя полностью свой характер прославлений.

В известной мере и для летописца начало русской истории, воспроизводимое им на основании тех же исторических песен — прославлений, было наполнено героизмом. Хвала и прославление отчетливо дают себя чувствовать в изображении первых русских князей — Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Напротив того, обращаясь к князьям — своим современникам, летописец уже не воздает им хвалы — он противопоставляет им прежних князей. Тем самым героизирующее и поэтическое отношение к прошлому превращается в критическое и учительное отношение к современности. Это героическое и учительное одновременно значение русской истории

прямо подчеркнуто и в тех же выражениях, что и у киевлян в 1097 г., в предисловии к Начальному своду: «Вас молю, стадо Христово: с любовью приклоните ушеса ваша разумно! Како быша древнии князи и мужи их. И како отбараняху Руския земля и инья страны приимаху под ся: тии бо князи не сбирааху многа имения ни творимых вир, ни продажъ въскладааху на люди. Но оже будяше правая вира, а ту взимааше и дружине на оружие дая. А дружина его кормяхуся, воюючи инья страны, бьющеса: «Братие! Потягнем по своемъ князи и по Руской земли». Не жадаху: «Мало мне, княже, 200 гривен!» Не кладяху на свои жены золотых обручей, но хожааху жены их в серебре. И расплодили были землю Рускую...» (Соф. I лет.).

Так из устной, народной истории Русской земли летопись

80

заимствует не только факты, не только пользуется песнями как историческими источниками, но в некоторой степени заимствует из них освещение этих фактов, заимствует общее представление о русской истории, идеализируя времена далекого прошлого и ставя эти представления, эту идеализацию далекого прошлого на службу политическим задачам современности.

Дописьменные, дофеодальные представления о родной истории, отложившиеся в исторических песнях и преданиях IX—X вв., в эпоху феодальной раздробленности и развития письменности не отмирают. Они переходят в иную сферу сознания — становятся достоянием художественного творчества народа, при этом устного по преимуществу. Это поэтическое отношение к русской истории доживает и до нового времени в виде былин и исторических песен. И эти былины и исторические песни противостоят письменной истории уже не как донаучное отношение к историческим событиям — научному, а как собственно поэтическое — научному. В исторических песнях народа заключена была не только историческая, но и эстетическая ценность, которая делала их живучими и в XI, и в XII вв., и позднее. Дофеодальные представления об историческом прошлом родины переосмысляются в новой исторической обстановке XI—XII вв. как поэтические. Народное творчество XI—XII вв. сохраняет свою преемственность с IX—X вв. и вместе с тем продолжает развиваться, расти. Старые формы наполняются новым содержанием, становятся историческими по преимуществу. Песни в честь героев живых или недавно умерших, представлявшие собой славы, похвалы, теперь воспринимаются как песни о русской старине, противопоставляемой новому времени. В XI—XII вв. в народном творчестве появляется сильный элемент противопоставления старого, патриархально-дружинного времени новому, старых порядков — новым. Восхваление героя превращается в восхваление русской старины. Старые князья становятся знаменем ушедшего прошлого, символом утрачиваемого единства. Идеализировалось не все прошлое как таковое, а только некоторые его стороны — те, что сохраняли свою актуальность в XI—XII вв.

В самом деле, если мы возьмем все исторические предания, отложившиеся в начальной части «Повести временных лет», мы отчетливо увидим в них восхищение «мудростью и хитростью» старых князей: Олега, Игоря,

81

Ольги, Святослава. Восхищение военными подвигами Святослава еще может смешиваться в этих исторических преданиях с упреками ему же в недостаточном «блюдении» Русской земли. Позднее воспоминания об этих «старых» князьях неизменно сопровождаются настойчивой мыслью о них, как о создателях русского государства — единого и обширного. Из героев «мудрых и хитрых», ловко умевших обманывать врагов, из героев, установивших славу русского оружия по преимуществу, они становятся «умными дедами и отцами», защищавшими интересы не свои личные, но интересы родины, героями, создавшими русское государство.

То же новое качество фольклора в XII в. выступает не только в историческом эпосе. В самом деле, повышение поэтической, эстетической значимости фольклора ясно ощущается и в поэзии лирической, которой «Слово о полку Игореве» пользовалось в равной мере с поэзией эпической. В «Слове о полку Игореве» упоминаются языческие боги, говорится о природе, как о живом существе. Нельзя, однако, думать, что автор «Слова» верил в этих богов, что для него были действительны анимистические представления дохристианского периода, что он верил в конкретность языческих по своему происхождению образов. Автор «Слова» — христианин, старые же дохристианские верования приобрели для него новый поэтический смысл. Он одушевляет природу поэтически, а не религиозно.

Христианские представления для автора «Слова» лежат вне поэзии. В ряде случаев, как мы увидим в дальнейшем, он отвергает христианскую трактовку событий, но отвергает ее не потому, что он чужд христианства, а потому, что поэзия связана для него еще пока с языческими, дофеодальными корнями. Языческие представления для него обладают эстетической ценностью, тогда как христианство для него еще не связано с поэзией, хотя сам он — несомненный христианин (Игорю помогает бежать из плена бог, Игорь по возвращении едет к богородице Пирогощей и т. д.).

Мы можем предполагать, что имена языческих богов упоминались в народной поэзии XII в., как, отчасти, они упоминаются еще и в народной поэзии нового времени (XVIII—XIX вв.). Они были живы и в народной поэзии XII в., как об этом свидетельствует само «Слово о полку Игореве». Однако, конечно, в XII в. языческие боги не были уже предметами верования и поклонения, они были

82

символами определенных явлений природы, стихий, широкими обобщающими образами, и только.

Подобно тому как языческие боги в фольклоре становятся поэтическими образами, так и старые песни эпохи патриархально-общинного строя в честь героев, возможно, входившие в состав того или иного ритуала, становятся явлениями исторической поэзии по преимуществу. Фольклор в XII в. еще традиционно сохраняет свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмысляет и изменяет свое содержание в новых общественных условиях феодального общества, приобретает новое качество. В нем усиливаются элементы поэтические, ослабевают элементы религиозные. Исторические воззрения, отложившиеся в старых эпических песнях, славы героям, вступившие в противоречие с новым историческим сознанием эпохи феодализма, лучше всего отразившимся в летописи, становятся достоянием народной поэзии. И подобно тому как упоминание языческих богов в «Слове о полку Игореве» не противоречило христианским воззрениям автора, так и поэтическое восприятие русской истории, выросшее на почве дофеодального исторического эпоса, могло сосуществовать рядом с новым историческим сознанием эпохи феодализма. Фольклор в «Слове» — это фольклор, еще традиционно сохраняющий свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмысленный и изменивший свое содержание в новых исторических условиях феодального общества.

Итак, поэтическое восприятие мира автором «Слова о полку Игореве» было фольклорным. Так же точно и восприятие прошлого Руси, как мы увидим в дальнейшем, было у него поэтическим и фольклорным по преимуществу.

Несмотря на то, что отношение к русской истории было у автора «Слова» облечено в народно-поэтические формы, это не означает, что он во всех своих конкретных сведениях о русской истории пользовался только данными фольклора. Автор «Слова» не пассивно следовал за фольклором. Он творил свою историческую концепцию, но творил ее в рамках своего поэтического понимания. Источниками же его исторической осведомленности были и летопись, и исторический эпос. Автор «Слова» был знаком и с

тем, и с другим. Он, безусловно, был человеком грамотным и начитанным, но вместе с тем он был наслышан в фольклоре, был проникнут его поэтическим

83

отношением к прошлому. Автор «Слова о полку Игореве» пользуется историческими данными, почерпнутыми и из исторических песен, и из летописи. Его знакомство с русской историей не находится в зависимости только от какой-нибудь одной из этих форм исторической памяти.

Целый ряд признаков указывает на то, что автор «Слова» был знаком с «Повестью временных лет». Прежде всего отметим, что его исторические воспоминания все связаны с событиями, отмеченными в «Повести», и не выходят за ее пределы. Автор «Слова» упоминает события от Владимира «старого» до Владимира Мономаха. Мономах — последний из упоминаемых им князей прошлого. За ним, минуя всех русских князей первой половины XII в., автор «Слова» упоминает только князей — своих современников. Автор «Слова» как будто бы не знает киевской летописи XII в., он не упоминает ни одного события русской истории первой половины XII в., но зато хорошо осведомлен о событиях XI в., получивших свое отражение в «Повести».

Эта хронологическая ограниченность исторического кругозора автора «Слова» пределами «Повести» сама по себе уже как будто бы говорит о том, что автор «Слова» пользовался именно «Повестью временных лет». Однако о том же говорит целый ряд мелких соответствий — в выборе выражений, в выборе упоминаемых деталей исторических событий, в их освещении и т. п., в сумме составляющих картину несомненного знакомства автора с «Повестью». Автор «Слова» как бы видит исторические события XI в. в освещении «Повести». В ряде случаев автор «Слова» отстает от освещения событий, которое дает «Повесть», но автор «Слова» именно отстает, отстраняется, отталкивается от объяснений «Повести», то есть в конечном счете исходит из нее.

В начале произведения автор «Слова» определяет хронологические пределы своего рассказа: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимирера до нынѣшняго Игоря...» Такое определение в начале произведения хронологических пределов своего повествования типично для исторической литературы XI—XII вв. Его мы найдем в «Повести временных лет» под 852 г. и в предисловии к Начальному своду, сохранившемуся в новгородских летописях: «Мы же от начала Рускы земля до сего лета и все по ряду известно да скажем, от

84

Михаила цесаря до Александра и Исакья» (Новг. I лет., по Комиссион. сп., предисловие).

Итак, автор «Слова» обещает вести свой рассказ «отъ стараго Владимирера до нынѣшняго Игоря». Под «старым Владимиром» следует, несомненно, разуметь не Владимира Мономаха, как предполагали большинство исследователей, а Владимира I Святославича, так как именно этот последний только и может служить начальной историческою вехою повествования «Слова». В самом деле, автор обещает начать свою «повесть» от «старого Владимирера» и ведет свое повествование от Владимира Святославича, а не от Владимира Мономаха, делая перерыв в упоминаемых событиях как раз после Владимира Мономаха, которого однажды упоминает как «Владимира, сына Всеволожа»¹. Об этом «старом», «первом Владимире» сказано в «Слове» и в дальнейшем: «того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевськимъ». И здесь, несомненно, имеется в виду Владимир I Святославич с его многочисленными походами. Этим многочисленным походам Владимира на внешних врагов Русской земли противопоставлено несогласие войска Давида выступить вместе с войском Рюрика против половцев в 1185 г.: «сего бо нынѣ стаща стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нѣ розно ся имѣ хоботы пашуть».

Таким образом, автор «Слова» вспоминает «старого Владимира» только в связи с его далекими походами на врагов Русской земли. Это представление о Владимире соответствует основной идее автора, противопоставляющего и в других местах «Слова» единство Руси в отдаленном прошлом усобицам своего времени. Но это же представление о Владимире соответствует и летописному, и народному. Большинство лет княжения Владимира в «Повести временных лет» начинается с извещения о его походах.

«В лето 6489. Иде Володимер к ляхом и зая грады их, Перемышль, Червен и ины грады, иже суть и до сего дне под Русью. В сем же лете и вятичи победи, и възложи на ня дань от плуга, яко же и отець его имаше.

В лето 6490. Заратишася вятичи, и иде на ня Володимер, и победи я второе.

В лето 6491. Иде Володимер на ятвягы, и победи ятвягы, и взя землю их...

85

В лето 6492. Иде Володимер на радимичи...

В лето 6493. Иде Володимер на болгары с Добрынею с уем своим...

В лето 6496. Иде Володимер с вои на Корсунь...

В лето 6500. Иде Володимер на хорваты. Пришедшу бо ему с войны хорватъския, и се печенежи придоша по оной стороне от Сулы; Володимер же поиде противу им...» (Лавр. лет.).

Об этих далеких походах Владимира помнили и в XI, и в XII, и в XIII вв. Его походы были как бы мерилем дальности походов других русских князей. Под 1229 г. галицкий летописец записал о походе Даниила Романовича в Польшу: «Иный бо князь не входил бе в землю Лядьску толь глубоко, проче Володимера великаго, иже бе землю крестил» (Ипат. лет., под 1229 г.). Под 1254 г. галицкий летописец отметил о походе Даниила в Чехию: «Данилови же князю хотящу, ово короля ради, ово славы хотя, не бе бо в земле Русцей первее, иже бе воевал землю Чешьску, ни Святослав хоробры, ни Володимер святыи» (Ипат. лет., под 1254 г.).

Уже в XVI в. составитель Никоновской летописи, расширивший повествование о княжении Владимира за счет былинных источников, сообщил дополнительные сведения о походах Владимира.

Таким образом, представления автора «Слова о полку Игореве» о Владимире были распространенными народными представлениями, в равной мере характерными и для летописцев, и для «песнотворцев».

Следующий после Владимира князь, о котором упоминает автор «Слова», — Ярослав Мудрый. О «старом Ярославе» автор «Слова» не говорит ничего конкретного. Он упоминает его в связи с тем, что ему, Ярославу, пел свои песни Боян, и упоминает о Ярославовой славе Новгорода. Ярослав, следовательно, для автора «Слова» не только киевский князь, но и новгородский: с ним связывает он начало новгородской славы, как в Новгороде связывали с ним начало новгородской независимости. Это представление о Ярославе автор «Слова» не мог почерпнуть из «Повести временных лет», — оно взято им из народных представлений, при этом по преимуществу новгородских.

О Мстиславе Владимировиче Тмутороканском автор «Слова» говорит, как о князе, которому пел песню Боян: «пѣснь пояше... храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю

86

предь пѣлки касожьскими». Несомненно, что автор «Слова» знал об этих песнях Бояна из фольклорной традиции, однако некоторые совпадения с «Повестью временных лет», думается, также не случайны. Автор говорит «зареза», то есть употребляет то самое выражение, что и «Повесть» (ср. в «Повести» под 1022 г. рассказ о том, как Мстислав перед полками русских и касогов победил в поединке касожского князя Редедю, а затем «вынзе ножь и зареза Редедю»). Автор «Слова» говорит «предь пѣлки касожьскими» — и

тем самым снова обращает внимание своего читателя на ту же деталь, на которую обратил внимание и летописец (ср. в «Повести»: «и ставшема обѣма полкома противу собѣ»).

Похоже на то, что автор «Слова» говорит о песне Бояна словами «Повести временных лет» не случайно: он поясняет менее известное более известным — тему песни Бояна словами «Повести». Здесь, следовательно, возможно переплетение двух параллельных источников: устного (восходящего к песням Бояна) и летописного.

Упоминает автор «Слова» и о другом тмутороканском князе — Романе Святославиче, сыне Святослава Ярославича Тмутороканского, также со ссылкой на Бояна, певшего песни ему, «красному Романови Святъславличю». Этот эпитет — «красный» — «Повести временных лет» неизвестен. Он, очевидно, принадлежит устному источнику. Эпитет «красный» «Повесть временных лет» прилагает только к брату Романа Святославича — Глебу («бе же Глеб... взором красен»), о Романе же «Повесть» упоминает всего два раза. Нет ничего удивительного в том, что красотой отличались оба брата Святославича, но знать об этом автор «Слова» мог только из устного источника.

С полной очевидностью летописный источник выступает в двух упоминаниях «Слова»: о Борисе Вячеславиче — сыне князя Вячеслава Ярославича, и о Ростиславе Всеволодовиче, сыне Всеволода Ярославича.

О смерти Бориса Вячеславича «Слово» говорит: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла»... Летопись не говорит о том, когда произошла битва, в которой погиб Борис. Знал ли автор «Слова» из каких-то дополнительных источников, что битва произошла тогда, когда росла трава, послужившая ему «зеленой паполемой» (зеленым, а не черным, как обычно, погребальным покрывалом)? Я думаю, что

87

никаких точных сведений о времени битвы у автора «Слова» не было. Это чисто поэтический образ. Вырос этот образ на основе фольклорных представлений о телах убитых, лежащих «на земле пуге, на траве ковыле» («Повесть о разорении Рязани Батыем»), но, возможно, возбужденный ассоциацией под влиянием названия местности, где произошла битва, — на «Нежатиной Ниве» («Повесть временных лет», под 1078 г.).

Иное, историческое на этот раз, объяснение имеют слова «Слова о полку Игореве» о том, что Бориса Вячеславича «слава на судъ приведе».

Ту же трактовку смерти Бориса Вячеславича находим мы и в «Повести временных лет»: смерть Бориса Вячеславича поставлена в связь с его похвалой перед битвой на Нежатиной Ниве в 1078 г.; «Рече же Олег (Святославич. — Д. Л.) к Борисови: «Не ходиве противу, не можеве стати противу четьрем князем, но посливе с молбою к стрыема своима». И рече ему Борис: «Ты готова зри, аз им противен всем»; похвалился велми, не ведый яко бог гордым противитя, смиренным дасть благодать, да не хвалитя сильный силою своею... Первого убиша Бориса, сына Вячеславля, похвалившася велми». И так, и в летописи, и в «Слове» смерть Бориса Вячеславича рассматривается как возмездие за его похвальбу. Не может быть сомнения в том, что эта связь не случайна: автор «Слова» и здесь свои исторические сведения черпал из «Повести временных лет». Однако связь эта объяснена различно: в «Повести временных лет» ей придана религиозная трактовка: «не ведый, яко бог гордым противитя»; в «Слове» же эта религиозная трактовка снята: «слава на судъ приведе». Не бог, следовательно, приводит Бориса Вячеславича на суд, а сама «слава», персонифицированная с тою же художественною осторожностью, с какою персонифицированы в «Слове» «обида» («въстала обида... вступила дѣвою... въсплескала лебедиными крылы»), «беда» («уже бо бѣды его пасеть птицъ по дубию»), «тоска», «печаль» («тоска разлися... печаль жирна тече»), «лжа», «котора» («уже лжу убудиста которую, ту баше успиль отецъ ихъ Святъславъ...»), «веселие» («а веселие пониче»), «хула» и «хвала» («уже снесеса хула на хвалу»), «нужда» и «воля» («уже тресну нужда на

волю»), грозы («грозы твоя по землямъ текутъ»). Это переосмысление летописной трактовки смерти Бориса Вячеславича не случайно. Ниже мы увидим, что оно имеет и другие параллели: автор «Слова» постоянно отходит от религиозной,

88

христианской точки зрения на события русской истории.

С летописью связано и упоминание о смерти «уноши» Ростислава: «Не тако ти, рече (говорит Игорь Донцу. — *Д. Л.*), рѣка Стугна; худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ устью, уношу князю Ростиславу затвори. Днѣпръ темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ. Уныша цвѣты жалобою и древо с тугою къ земле прѣклонилося». Этот эпизод и в «Повести временных лет» изложен с поэтическим чувством: «И бысть брань люта; побеже и Володимер с Ростиславом и вои его. И прибегоша к реце Стугне, и вбрѣде Володимер с Ростиславом, и нача утапати Ростислав пред очима Володимерима. И хоте похватити брата своего и мало не утопе сам. И утопе Ростислав, сын Всеволожь. Володимер же пребред реку с малою дружиною... плакася по брате своем и по дружине своей; и иде Чернигову печален зело... Ростислава же искавше обретоша в реце; и вземше принесоша ѿ Киеву, и плакася по немъ мати его, и вси людье пожалиша си по немъ повелику, уности его ради. И собращася епископи и попове и черноризци, песни обычныя певше, положиша и у церкви святыя Софьи у отца своего» (Лавр. лет., под 1093 г.). Автор «Слова» поэтически переосмыслил этот текст «Повести». В его кратких словах не забыты такие лирические детали летописного текста, как плач матери и юность князя, безвременно утонувшего в Стугне, но добавлены и новые, поэтически досмысленные: мать плачет на темном берегу Днепра (ср. «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы»; «се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю»), цветы унывают жалобою, и дерево с тоскою к земле преклонилось. Этот образ унывающих цветов и преклоняющегося дерева принадлежит также, несомненно, автору, а не взят им из каких-либо устных источников: ср. выше; «ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилося», или «нѣ уже, княже Игорю, утрьпѣ солнцю свѣтъ» (ср. в описании плача матери по Ростиславе «темнѣ березѣ»), «а древо не бологомъ листвие срони». Здесь, следовательно, к летописной трактовке события добавлены народно-песенные детали, но детали эти принадлежат самому автору «Слова». Все эти поэтические добавления составлены в фольклорном духе, но они не свидетельствуют о существовании какой-то особой песни о гибели Ростислава, откуда они могли быть взяты: они принадлежат автору

89

«Слова» и типичны для его поэтической манеры. Замечательна здесь и еще одна черта, уже отмеченная нами выше в словах автора «Слова» о Борисе Вячеславиче: автор «Слова» как бы не заметил все то в летописи, что имеет религиозный смысл, — о Ростиславе плачет его ать, но церковные похороны в святой Софии с пением «обычных песен» не нашли поэтического отклика в «Слове».

Вместе с тем автор «Слова» не считается и с церковным историческим источником, из которого в XII в. он мог почерпнуть сведения о гибели Ростислава, — с протографом «Киево-Печерского патерика». В Печерском монастыре осталась худая слава о Ростиславе. Это видно из жития Григория, включенного в «Патерик». Там рассказывалось о том, что Ростислав велел бросить Григория в воду и за это сам через некоторое время утонул в Стугне. Не знал ли автор «Слова» этой киево-печерской версии, или сознательно ее отбросил, — и то, и другое для него характерно: автор «Слова» здесь, как и в других местах своего произведения, стоит вне церковной исторической традиции.

Нельзя не видеть, какие жемчужины поэзии отобраны автором «Слова» в «Повести временных лет»: поединок Мстислава Владимировича с касожским князем Редедюю, трагическая смерть Бориса Вячеславича, трагическая безвременная смерть «уноши»

Ростислава и оплакивание его матерью. Даже вне зависимости от умелого использования этих эпизодов в «Слове», от поэтической их доработки, самый выбор этих мест, в «Повести временных лет» мало заметных и эпизодических, но привлекательных по своему глубокому человеческому содержанию, говорит, что в лице автора «Слова» «Повесть временных лет» нашла внимательного и чуткого к ее жизненной красоте читателя.

Однако с наибольшей полнотой поэтическое понимание автором «Слова» текста «Повести временных лет» нашло себе выражение не в этих «случайных» упоминаниях, только «инкрустирующих» поэтический рассказ «Слова», а в образах двух зачинщиков феодальных смут, двух родоначальников самых беспокойных княжеских гнезд — Олега Гориславича и Всеслава Полоцкого.

Перед нами в «Слове» не только портреты двух этих князей, но в известной мере суммарные характеристики их непокорных и суетливых потомков — ольговичей и всеславичей. В самом деле, по мысли автора, князья и княжества всегда являются носителями славы их родоначальников,

90

предков, основоположников их независимости: черниговцы без щитов с одними засапожными ножами кликом полки побеждают, «звонячи въ прадѣдную славу». Изяслав Василькович позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, «притрепа славу дѣду своему Всеславу»; Ярославичи и все внуки Всеслава уже выскочили «изъ дѣдней славѣ»; Всеслав, захватив Новгород, «разшибе славу Ярославу» и т. д. Все это не пустые слова: с точки зрения автора «Слова», славу современных ему князей и княжеств устали «деды», следовательно, «деды» нынешних князей черниговских и полоцких — Олег Святославич и Всеслав Брячиславич — живы в деяниях своих потомков. Автор «Слова» не случайно дает характеристику именно этим князьям: он говорит о их злосчастной судьбе, чтобы призвать к миру и согласному действию против степи их беспокойных потомков. Представления о том, что сыновья и внуки продолжают политику отцов и дедов, были обычными в Древней Руси.

Характеристика Олега Гориславича предшествует сообщению о поражении Игоря. Поражение Игоря рассматривается как непосредственное следствие политики феодальных раздоров, начавшейся при Олеге. Рассказав об усобицах Олега, автор «Слова» переходит прямо к поражению Игоря: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!», то есть те все несчастья были от тех ратей и тех походов, но эта рать Игоря превзошла своими последствиями усобицы Олега. Рассказу о Всеславе в «Слове» непосредственно предшествует обращение к потомкам Всеслава и их противникам Ярославичам.

В самом деле, как понять следующее место «Слова»: «Ярославе и вси внуце Всеслави! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганья на землю Рускую, на жизнь Всеславию. Которою бо бѣша насилие отъ земли Половецкыи!».

О каком Ярославе здесь идет речь? Может быть, это Ярослав Всеволодович Черниговский, как думают одни комментаторы?¹ Или Ярослав Владимирович — внук Мстислава Владимировича, как думают другие?² Но эти

91

Ярославы не только не воевали с полоцкими князьями, но не были даже их соседями. Поэтому М. Максимович¹ предполагает, что здесь говорится о Ярославе Юрьевиче Пинском, который имел общие границы с полоцкими князьями и мог (!) вместе с ними воевать против половцев.

Однако из контекста «Слова» ясно, что речь идет не о войне Ярослава в союзе с полоцкими князьями против половцев, а о междоусобной войне. Автор «Слова» укоряет обе стороны за «которы». Войны против «поганых» автор «Слова» мог только

приветствовать. Автор «Слова» звал русских князей выступить против половцев и в равной мере против литовских племен, нападавших на Русь.

Но о междоусобной войне Ярослава Юрьевича с полоцкими князьями ничего не известно. Да если бы и было известно, — это было бы слишком мелким эпизодом для того исторического обобщения, которое дает автор «Слова». Ведь речь идет о «которых», а не о «каторе», о разорении «жизни Всеславля». Совсем неточно определяет Ярослава А. В. Соловьев в своей, в общем превосходной, работе «Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“». Он пишет: «Следующее обращение — «Ярославе и вси внуци Всеславли» — опять называет неизвестного нам князя, происхождение которого трудно установить. Многие комментаторы полагают, что это Ярослав Юрьевич Турово-Пинский, участник похода 1184 г. на половцев (правнук Святополка Изяславича); другие считают, что это опять упоминается Ярослав Всеволодич Черниговский. Но нам кажется, что по всему контексту («Ярославе и вси внуци Всеславли... уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ») здесь имеется в виду еще какой-то полоцкий князь, один из многих правнуков вещего Всеслава. Они своими крамолами (раздоры между Васильковичами, Глебовичами и Борисовичами) начали наводить поганых на землю Русскую, на жизнь Всеславлю, т. е. половцев на русское полоцкое княжество, на богатство и наследство Всеслава. Полагаем, что тут намек на события 1180 г., когда раздоры между линиями полоцких князей вызвали приход Игоря северского к Друцку вместе с ханами Кончаком и Кобяком, бывшими тогда его союзниками»². Однако по всему контексту ясно, что

92

здесь в «Слове» имеется в виду какое-то крупное историческое явление. Какое же?

Я предполагаю, что в слове «Ярославе» при его прочтении издателями вкралась ошибка. В этом слове издатели неправильно прочли выносное «л», которое можно читать и за выносной слог «ли». Читать следует не «Ярославе», а «Ярославли»: «Ярославли и вси внуце Всеславли!», или: «Ярославли вси внуце и Всеславли!» Примеров неумения первых издателей правильно читать выносные буквы и окончания слов, а также делить текст на слова можно было бы привести много. В том же месте, с которого мы начали обсуждение вопроса о «Ярославе», издатели прочли «вонзить» вместо «вонзите», «понизить» вместо «понизите».

Перед нами призыв прекратить вековые «которы» ярославичей и полоцких всеславичей.

Родовое гнездо полоцких князей противостоит в сознании людей XII в. потомству Ярослава Мудрого. Летопись противопоставляет полоцких князей другим русским князьям, называя последних ярославичами. Под 1128 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем рассказ о причинах вражды полоцких князей с ярославичами. Это известное повествование о Рогнеде и Владимире. Заключается рассказ Лаврентьевской летописи следующими словами: «И оттоле мечь взимають роговоложи внуци противу ярославлим внуком». Через 50 с лишним лет автор «Слова» имел право говорить не о «Рогволожих внуках», а о «внуках Всеславлих», но «Ярославли внуки» остались все те же.

В самом деле, полоцкие князья представляли собой особую линию русских князей, едва ли не первыми начавших процесс феодального дробления Руси. Особая жизнь Полоцкого княжества была утверждена еще при Владимире.

Владимир «воздвиг» отчину Рогнеде и сыну своему от Рогнеды — Изяславу в Полоцке. Рогнеда была дочерью полоцкого князя Рогволода. Полоцкие князья, чуждавшиеся потомства Владимира, сами себя считали Рогволодовыми внуками — по женской линии. И отчину свою вели не от пожалования Владимира, а по линии наследования от Рогволода. Автор «Слова» не называет полоцких князей «Рогволожими внуками», и это не случайно. От Изяслава Полоцкая земля досталась Брячиславу, а от последнего Всеславу, чтобы потом пойти в раздел сыновьям последнего. Все полоцкие князья были потомками

Всеслава. Их автор «Слова» и называет «Всеславлими внуками». Их он противопоставляет потомству Ярослава, но не потомству Владимира, так как и те, и другие были его потомством. Характерно, что полоцких князей автор «Слова» называет внуками Всеслава, а не внуками Рогволода, как летопись под 1125 г. Рогволодовичами называли полоцких князей в местных, областнических целях те, кто видел в них не потомков Владимира I Святославича, а обособленную линию князей, шедшую по женской линии от неродственного князя Рогволода. Автор «Слова» называет их Всеславичами, то есть признает их родственность всем русским князьям через Владимира I Святославича; он не признает особой, женской генеалогической линии полоцких князей через Рогнеду к Рогволоду. И в этом отношении он последователен в своем взгляде на полоцких князей, стоит не на местной полоцкой, а на общерусской точке зрения.

Итак, в этом месте «Слова» речь идет не о какой-то мелкой вражде одного из русских Ярославов 80-х годов XII в. с полоцкими князьями, вражде настолько мелкой, что она даже не была отмечена летописью и только предполагается комментаторами «Слова», а о большом длительном историческом явлении: о длительной вражде полоцких князей со всеми остальными русскими князьями. Автор «Слова» говорит о многих «каторах», о разорении жизни Всеславлей, о том, что эти «каторы» наводили «поганых» (литовцев) на землю Русскую и Полоцкую, и обращается ко всему потомству Всеслава.

И летопись, и «Слово о полку Игореве» точно отражают исторические события. Усобицы полоцких князей, стремившихся обособиться от Киева, с киевскими князьями, безуспешно пытавшимися восстановить зависимость Полоцка от Киева, действительно наполняют своим шумом и XI, и XII в. В этой междоусобной войне автор «Слова» считает побежденными обе стороны, победителями же оказываются «поганые» — половцы и литовцы. Эта мысль выражена автором с необыкновенным блеском: «Ярославли вси внуце и Всеславли! Уже понизите стязи свои (как символ поражения, — признайте себя побежденными. — *Д. Л.*), вонзите свои мечи вережени (в междоусобных войнах. — *Д. Л.*). Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ (междоусобицы вас обесславли. — *Д. Л.*). Вы бо своими крамолами начясте наводити поганья на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою бо бѣше насилие от земли Половецкыи!»

Вот почему автор «Слова», подобно летописцу, и обращается в дальнейшем, в большом отступлении, к истокам этой великой вражды, охватившей всех русских и всех полоцких князей, — к истории родоначальника нынешних Всеславичей — Всеслава Брячиславича Полоцкого.

Автор «Слова» — средневековый мыслитель. Он, как и летописцы, стремится доискаться первопричины, начала событий: «откуда есть пошла» вражда.

Интерес к тому, что мы сейчас назвали бы поводом событий, весьма характерен для средневековья.

Под 1375 г. в летописи Авраамки мы находим особую статью «О войне и о брани, иже бе под Тферью». В ней говорится о приезде в Тверь Некомата «с бессерманьскою лестью от Мамаю», как о причине последующих событий. Летописец заключает свой рассказ следующим замечанием: «Се же писах того ради, понеже огонь загореся от того». Аналогично этому и в Симеоновской летописи (как и в некоторых других) вслед за рассказом о том, как в 1433 г. на свадьбе Василия II Софья Витовтовна сняла пояс с Василия Косого, мы находим следующее заключение: «Се же пишем того ради, понеже много зла с того ся почало»¹. Городские волнения в Новгороде в 1418 г. описаны в Новгородской IV летописи как следствие простой уличной ссоры между «человеком неким Степанко» и боярином Данилом Ивановичем Божиным внуком. Характерно, что и городские власти Новгорода, занявшись расследованием этих социальных волнений, во время которых жители в воинских доспехах вступали в настоящее сражение, решили

прежде всего выяснить «вещи сиа начало», то есть обратились к расследованию той мелкой уличной ссоры, от которой, по их мнению, все и началось.

История Всеслава Полоцкого — это, конечно, не уличный эпизод. Но ее значение для автора «Слова» то же, что и история с поясом Софьи Витовтовны или приезда в Тверь Некомата, — это первопричина, это «вещи сиа начало».

Интерес к началу длительной истории вражды полоцких князей для автора «Слова» поддерживается еще характерной для XII в. «родовой» точкой зрения на события русской истории.

Каждый представитель того или иного княжеского

95

рода для XII в. является вместе с тем представителем и политических традиций этого рода, «славы» рода или родоначальника.

Принимая выводы относительно толкования этого места «Слова о полку Игореве», где, с моей точки зрения, говорится о вражде Ярославичей и Всеславичей, изложенные мною в «Комментарии историческом и географическом» к «Слову»¹, Б. А. Рыбаков дополняет их следующими соображениями: «В тексте первого издания 1800 г. стоит «Ярославе и всии внуце Всеслави» (первое изд., с. 34. — *Д. Л.*). И исследователи долго отыскивали того Ярослава, к которому могло быть отнесено это обращение. Предлагали и Ярослава Черниговского... и Ярослава Владимировича (адресата Даниила Заточника. — *Д. Л.*), и незначительного Ярослава Пинского, но это никак не могло объяснить главной мысли автора, стержня всей поэмы, заключенной в этом абзаце: «Распри позволяли половцам торжествовать над нами». Ведь длительные раздоры полоцких князей, происходившие где-то на краю земли, остальных русских княжеств не касались, а уж к половецким набегам и вторжениям вообще никакого отношения не имели. Если бы речь шла только о недружном гнезде полоцких князей и каком-то Ярославе, который почему-то всех их уравнивал своей персоной, то напоминание о половцах осталось бы без объяснений.

Следует обратить внимание на то, что данный абзац подводил итог своеобразному обзору всей Руси, от Карпат до Волги и от степи до Западной Двины; в обзоре говорилось обо всех князьях, и все они, кроме полоцких (у которых были свои враги-язычники — литовцы), призывались поэтом к войне с половцами. В этом смысле «земля Русская» уравнивалась с «жизнью Всеславию», но если оставить текст первого издания, то останутся и непримиримые смысловые противоречия.

Выход был найден Д. С. Лихачевым, предложившим в 1950 г. читать «Ярослави (внуки) и вси внуци Всеслави...» Аргументация Д. С. Лихачева настолько убедительна и новое чтение настолько логически связывает весь абзац в единое целое, что можно не только принять все это чтение, но и основывать на нем ряд выводов.

Итак, соединительное звено между обзором русских

96

княжеств 1185 г. и временами «дедней славы» содержит главную мысль поэмы: порицание обеим ветвям «Володимирова племени» — Ярославичам и Всеславичам — за крамолы и которы, позволяющие «поганым» нападать на Русь. Этим звеном читатель уже подготовлен к рассмотрению какой-то более ранней эпохи, которая, с одной стороны, была временем дедней славы, а с другой — временем первых усобиц, первоисточком княжских крамол¹. Напомню, что затем в «Слове» идет рассмотрение событий, связанных с «первыми князьями» в «первую годину» Руси.

В Олеге «Гориславиче» и во Всеславе Полоцком автором «Слова» обобщены два крупнейших исторических явления: усобицы Ольговичей и Мономаховичей и усобицы Всеславичей и Ярославичей. Вот почему характеристики этих князей занимают такое большое место в «Слове». Ограниченный в средствах художественного обобщения

законами художественного творчества средневековья, замкнутого в кругу исторических фактов весьма узкого ряда, автор «Слова» прибег к характеристикам родоначальников тех князей, обобщающую характеристику которых он собирался дать.

Таким образом, характеристики Олега и Всеслава занимают строго определенное и важное место в идейной композиции «Слова». Это не случайные вставки и не лирические «отступления». Они находятся в органической связи с историческими воззрениями автора «Слова» (к этому вопросу мы еще вернемся). Тем более интересно будет проследить исторические источники этих характеристик.

Обратимся прежде всего к характеристике Всеслава; она целиком согласуется с теми фактами, которые сообщает о нем «Повесть временных лет». Факты «Повести временных лет» осмыслены в «Слове» поэтически. Из них автор «Слова» строит не только поэтический образ Всеслава, но одновременно дает и историческую оценку его деятельности. Эта историческая оценка, умело согласованная со всей идейной структурой «Слова», поражает вместе с тем глубоким пониманием русской истории.

«На седьмомъ вѣцѣ Трояни врьже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу». В дальнейшем там, где я буду говорить

97

о периодизации русской истории автором «Слова», я подробно остановлюсь на вопросе о том, что означает выражение «на седьмомъ вѣцѣ Трояни». Здесь же, забегая несколько вперед, упомяну только, что оно находится в тесной связи с представлениями о Всеславе как о кудеснике и в общих чертах означает «напоследок языческих времен». Дальше говорится о кратковременном пребывании Всеслава на киевском столе, и это позволяет нам видеть, вслед за другими исследователями, в девице ему «любой» — Киев. Опершись на восставших в 1068 г. киевлян, чтобы взойти на киевский стол, Всеслав действительно играл своей судьбою — «кинул жребий». Он был в равной мере чужд восставшим горожанам и феодальной княжеской верхушке Руси. Он не имел реальной опоры ни в одном классе общества; оказавшись вознесенным из «поруба» на киевский стол, где он смог удержаться всего семь месяцев («дотчеся стружиемъ злата стола киевскаго»), он только воспользовался случаем — «скакнул» к киевскому столу.

«Повесть временных лет» не говорит об активном стремлении Всеслава стать киевским князем. Стремление это может быть предположено лишь по всей ситуации: для заключенного в поруб Всеслава его согласие возглавить восстание было единственным и при этом блестящим выходом из заключения.

Это-то стремление к киевскому столу и приписано Всеславу автором: «тѣй клюками подпрѣ ся о кони и скочи къ граду Киеву».

Этим выражением «скочи» подчеркнута, что Всеслав незаконно захватил киевский стол (ср.: «бе бо преже того пискуп Асаф во Угровьску, иже скочи на стол митрополичь, и за то свержен бысть стола своего»; Ипат. лет., под 1223 г.). Однако на каких коней оперся Всеслав, чтобы занять киевский стол? Это не могли быть кони его войска, его дружины или его собственные: Всеслав сидел в порубе, в заключении, и не имел ни коней, ни конного войска, ему не надо было и подступать к Киеву с конями — он был в Киеве. Ответ на этот вопрос дает «Повесть временных лет»: Всеслав пришел к киевскому княжению в результате восстания киевлян, потребовавших у Изяслава *коней* и оружия: «Дай... княже, оружие и кони». Этим-то требованием киевлян дать коней и воспользовался Всеслав. Благодаря ему он оказался на киевском столе.

Вот как излагает те же события Б. Д. Греков: «Вече

98

хотело создать новую армию из той части населения, которая не имела ни о р у ж и я , ни к о н е й , т. е. из массы городского и сельского простого люда. Изяслав отказался исполнить требование веча, и это послужило поводом к восстанию народных масс в

Киеве... Освобожденный Всеслав стал киевским князем по воле веча»¹. Несомненно, что Всеслав дал киевлянам и оружие, и коней. Они были в распоряжении Изяслава, иначе народ и не стал бы их требовать у князя, но Изяслав боялся выдать их киевской «чади», опасаясь восстания. Придя к власти, Всеслав не мог не удовлетворить этих требований киевлян. Следовательно, выражение «подпръ ся о кони» следует понимать так же, как «подперъ горы угорскыи своими желѣзными плъки» или «ты бо можеша Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!». Всеслав подперся конями так же, как Всеволод стреляет живыми шереширами и Изяслав Василькович «звонит» своими «острыми мечи», мечами своей дружины, о «шеломы литовьскыя». Отсюда ясно, что и «подперся клюками» означает «подперся хитростями», «коварством», «своею догадливостью» (кстати сказать, из всех предположенных комментаторами значений слова «клюка» только это — «хитрость» — и зарегистрировано памятниками древней русской письменности).

Нам нет смысла углубляться в детали и выяснять, почему вопрос о конях стоял так остро в 1068 г. Для нас важно лишь то, что Всеслав пришел к власти, дав киевлянам оружие и коней. Следовательно, Всеславу приписана в «Слове» активная роль в своем освобождении. В «Повести временных лет» освобождение Всеслава объясняется не «клюками» Всеслава, а его благочестием и силою креста: «Се же бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я ѿ [его]; тем же наведе бог поганья, сего же яве избави крест честный. В день бо Въздвигенья Всеслав, вздохнув, рече: «О кресте честный! понеже к тебе веровах, избави мя от рва сего». Бог же показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не преступаютъ честнаго креста, целовавше его; аще ли преступитъ кто, то и зде прииметь казнь и на придущемъ веце казнь вечную», и т. д. Автор «Слова» держится лишь фактической стороны «Повести», но не ее истолкований. Он снимает здесь, как и в других местах, религиозные истолкования «Повести». Следующая затем фраза «Слова»

99

также непонятна без текста «Повести временных лет»: «скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мѣлѣ». Прежде всего неясно, от кого — «отъ нихъ»? В предшествующей фразе речь шла о Киеве и о киевском столе¹, но не о людях. Однако о людях шла речь в «Повести временных лет»: «Поиде Изяслав с Болеславом на Всеслава; Всеслав же поиде противу. И приде Белугороду Всеслав, и бывши ноши, утаивься кыян бежа изъ Белугорода Полотъску». Следовательно, «они» — это «кияне» «Повести временных лет». Так же точно «синья мгла» — это мгла ночи, а не «синее облако», как предполагали некоторые комментаторы. «Слово» в своей фактической стороне совпадает здесь с «Повестью», но поэтически по-иному осмысляет исторические факты: Всеслав «лютым зверем» ночью бежит от киевлян из Белгорода, скрывшись от них в «синей мгле» — конечно, ночи.

Вторично сравнивает автор «Слова» бегство Всеслава с бегством зверя: «скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ».

Всеславу действительно пришлось бежать из Новгорода — «съ Дудутокъ» (согласно Н. М. Карамзину — монастырь под Новгородом), но о бегстве этом именно к Немиге нет сведений в «Повести временных лет». Нет в «Повести временных лет» и сведений о Дудутках: здесь, возможно, сказалось непосредственное, или «устное», знакомство автора «Слова» с топографией Новгорода.

Быстрота передвижения Всеслава, его «неприкаянность» — черты его реальной биографии. Вот что пишет о нем В. В. Мавродин: «Надо отметить, что Всеслав действительно колесил по всей Руси, с боем отстаивая свои права, отбиваясь от нападавших, стремясь захватить города и волости, отбить свою «отчину». Бегство, «порубы», кратковременный успех в Киеве, когда восстание выносит его на гребень волны, снова бегство, неудачи и т. п. — вот жизненный путь Всеслава, которого автор

«Слова о полку Игореве» сравнивает с не находящим себе места и покоя рыскающим волком. За образным выражением, мифической оболочкой скрывается реальное,

100

конкретное содержание, подлинная жизнь Всеслава¹. Есть и еще одно свидетельство реальной быстроты передвижений Всеслава. Мономах говорит в своем «Поучении», что он гнался за Всеславом (в 1078 г.) со своими черниговцами «о двою коню» (то есть с поводными конями), но тот оказался еще быстрее: Мономах его не нагнал.

На Немиге Всеслав потерпел поражение, и это поражение было действительно ужасным: «И совокупишася обои на Немизе, месяца марта в 3 день; и бяше снег велик, и поидоша противу собе. И бысть сеча зла, и мнози падоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежа».

Весь дальнейший текст «Слова» о Всеславе представляет собою размышление о его злосчастной судьбе. Всеслав изображен здесь и с осуждением, и с теплотой лирического чувства: неприкаянный князь, мечущийся как затравленный зверь, хитрый, «вещий», но несчастный неудачник: перед нами исключительно яркий образ князя-вотчинника, князя периода феодальной раздробленности Руси.

«Всеслав князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше (то есть властвовал над судьбой других людей, даже князей. — *Д. Л.*), а самъ въ ночь вълкомъ рыскаше (не зная пристанища; как в 1068 г., когда он ночью бежал из Белгорода. — *Д. Л.*): изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови вълкомъ путь прерыскаше. Тому (то есть для Всеслава. — *Д. Л.*) въ Полотьскѣ позвониша заутреню рано у святаго Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ (в заключении. — *Д. Л.*) звонъ слыша. Аще и вѣща душа въ дрѣзѣ тѣлѣ (хоть и «вещая» — колдовская душа была у него в храбром теле. — *Д. Л.*), нъ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

Во всей этой характеристике Всеслава только одна деталь заставляет искать какого-то иного источника, кроме «Повести временных лет»: это упоминание о пребывании Всеслава в Тмуторокани. «Повесть временных лет» молчит об этом, такие сведения могли быть как раз в песнях Бояна, воспевшего ряд тмутороканских князей: Мстислава Владимировича, Романа Святославича — сына Святослава Ярославича Тмутороканского.

101

Однако хотя в своей фактической основе сведения о Всеславе в целом совпадают с «Повестью временных лет», но общий, я бы сказал нравственный, смысл характеристики этого беспокойного князя в «Повести временных лет» отсутствует в «Слове». Религиозное объяснение освобождения Всеслава из «поруба» заменено в «Слове» другим, в котором Всеславу приписана активная роль.

Откуда все это взялось в «Слове»? Можно думать, что характеристика Всеслава и всей его деятельности подсказана автору «Слова» Бояном: она совпадает в своей общей оценке с той «припевкой», которую сказал Боян о Всеславе и которая тут же приведена в «Слове» как заключительная сентенция: «Тому вѣщей Боянъ и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

Итак, Всеслав — зачинатель усобиц Ярославичей и полоцких князей (согласно с летописью, именно по поводу Всеслава летописец помещает под 1068 г. большое нравоучение об усобицах), он скор на кровопролитие, это князь-кудесник (согласно с летописью — «носит язвено», «родился от волхвования», гиперболически быстро передвигается), он неудачник (постоянно спасается бегством, однажды бежит ночью).

Вся эта характеристика Всеслава сходна в «Слове о полку Игореве» и в «Повести временных лет».

Остается только один вопрос, что означает в «Слове» упоминание того, что этот князь-кудесник, князь-неудачник, действует «на седьмомъ вѣцѣ Трояни»?

Еще раз «века Трояна» упоминаются в «Слове» в контексте своеобразной периодизации русской истории, даваемой автором «Слова». Эта периодизация представляет собою только плод поэтического обобщения автора «Слова», в ней нет четких и логических, и хронологических рубежей, больше того — она брошена автором «Слова», весьма возможно, случайно, попутно, и оставлена им во всей ее поэтической незавершенности. Однако она отражает непосредственные и живые впечатления автора от русской истории. Ее ценность, может быть, как раз и состоит в той непосредственности, с которой она высказана. «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олгови, Ольга Святъславличя...» — эту фразу начинают в «Слове» размышления по поводу прошлого Руси, навеянные поражением Игоря. Поражение Игоря осмыслиется автором «Слова»

102

в исторической перспективе, как непосредственное продолжение и следствие времени «полков» (междоусобных походов) Олега Святославича, которым предшествовали два других периода: «вечи Трояни» и «лета Ярославля».

Под «летами Ярославлими», без сомнения, автор «Слова» имеет в виду годы княжения Ярослава Мудрого, а может быть, также и годы княжения его сыновей Ярославичей. Во всяком случае, в конце «Слова» автор называет Бояна (а может быть, и некоего «Ходына») песнотворцем «старого времени Ярославля» и «хотью» (любимцем) Олега Святославича, по всем же другим признакам Боян жил во времена сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Следовательно, «время Ярослава» захватывало и годы княжения его непосредственных потомков — продолжателей его дела.

Что же за период следует видеть в определении автора «Слова» «вѣчи (то есть века) Трояни» и кто такой этот Троян, чьим именем определяются какие-то века русской истории, предшествующие векам Ярослава Мудрого? Предположений о том, кто такой этот Троян, было в исследовательской литературе немало. Исследователи исходили при этом главным образом из попыток разгадать этимологически происхождение слова «Троян» и этим путем объясняли два-три места в «Слове», оставляя без удовлетворительного объяснения остальные. Между тем, чтобы разгадать, что такое этот «Троян» «Слова», необходимо учесть все те оттенки значения, какие имеет слово «Троян» во всех случаях его употребления в «Слове».

Слово «Троян» употреблено в «Слове о полку Игореве» четыре раза: первый раз там, где говорится о поэтическом вдохновении Бояна («рища въ тропу Трояню» наряду с «скача, славлю, по мыслену древу, летая умомъ подь облакы, свивая славы оба пола сего времени»); второй раз (в разбираемом нами случае) — для обозначения целого периода русской истории, предшествовавшего годам Ярослава («были вѣчи Трояни»); третий раз для обозначения всей русской земли в целом: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука (в русских войсках. — *Д. Л.*), вступила дѣвою на землю Трояню», четвертый раз опять-таки для обозначения какого-то периода времени, когда действовал князь-кудесник Всеслав «на седьмомъ (по-видимому, на последнем. — *Д. Л.*) вѣцѣ Трояни». Во всех этих значениях слово Троян может быть удовлетворительно объяснено только в том случае, если мы допустим,

103

что под Трояном следует разуметь какое-то русское языческое божество.

Троян, как древнерусский бог, в памятниках письменности XII в. зарегистрирован в «Хождении Богородицы по мукам» в списке XII в., изд. И. И. Срезневского: «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша» или: «И да быша разумели многии человеци, и в прельсть велику не внидутъ, мняще богы многы: Перуна, и Хорса, Дыя и Трояна»¹.

В самом деле, что означает в свете этого понимания Трояна выражение «Слова» «рища въ тропу Трояню»? Вряд ли эту «тропу» следует искать в каких-то конкретных, географически точно определяемых тропах, дорогах, валах или памятниках зодчества. Поэтическая манера Бояна последовательно описана в «Слове» абстрактными, отвлеченными чертами: Боян скачет по воображаемому дереву, летает умом под облаками (следовательно, не по реальным облакам), он растекается мыслию по дереву (следовательно — опять-таки по воображаемому дереву), серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Он рыщет, следовательно, не по каким-то конкретным путям, а по путям божественным: ведь Боян — внук бога Велеса, и не потому только, очевидно, что Велес — «покровитель поэзии», а потому, что сам Боян — «вещий», то есть кудесник, имеет отношение к богам.

Так же точно Русская земля могла быть названа землей Трояна только в том случае, если Троян был русским божеством. Именно в этом же смысле русский народ называется в «Слове» «Дажьбожим внуком».

Вот почему и несколько веков русской истории, предшествовавших времени Ярослава, веков языческих, дохристианских, названы веками Трояна — веками языческой Руси, а годы Всеслава Полоцкого — последнего «вещего» князя, князя-оборотня, названы «седьмым (то есть последним) веком Трояна». Князь-кудесник и неудачник действует «напоследок языческих времен», когда сила язычества иссякла. Он представитель доживающего язычества (значение «седьмого» как последнего определяется средневековыми представлениями о числе семь: семь дней творения, семь тысяч лет существования мира, семь дней недели, семь человеческих возрастов и т. д.).

104

Итак, расшифровать поэтическую периодизацию русской истории в «Слове» («были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля, были плѣци Ольговы») следует так: были языческие времена, времена бога Трояна; затем наступило Ярославово время (годы княжения Ярослава Мудрого и, возможно, его наследников, Ярославичей); наконец настали междоусобия Олега Святославича. Это периодизация не логическая, а поэтическая. Перед нами не четко отграниченные хронологические пределы, а поэтические образы целых периодов; времена Трояна вторгаются в годы Ярославовы; Всеслав Полоцкий действует напоследок языческих времен, следовательно, это даже не периоды, это обобщение крупных исторических явлений — древнерусского язычества, единства Руси в христианской державе Ярослава и княжеских усобиц, — но мыслимых в приблизительной хронологической последовательности. Вот почему не нашлось в этой поэтической периодизации места и для княжения Владимира «старого», принадлежащего двум периодам — дохристианскому и христианскому.

Почему же, однако, по представлениям автора «Слова», Всеслав Полоцкий действует «напоследок языческих времен»? Какая связь между Всеславом и древнерусским язычеством?

Здесь дело, конечно, не только в том, что Всеслав Полоцкий, согласно летописи, родился «от волхвования», всю жизнь носил на главе «язвено» и, согласно «Слову», рыскал волком, — иными словами, был причастен чародейству (С. М. Соловьев назвал его «князем-чародеем»). Одной личной причастности чародейству было бы, пожалуй, недостаточно, чтобы утверждать историческую связь Всеслава Полоцкого с эпохой язычества.

Дело в ином: Всеслав Полоцкий действует в обстановке восстаний смердов, поднявшихся в Киеве, в Новгороде, на Белоозере, — восстаний, сомкнувшихся с движением волхвов, с реакцией древнерусского язычества. Всеслав воспользовался этими восстаниями и этой реакцией язычества в своих целях. Восстания эти не следует рассматривать как крестьянские движения в чистом виде. Это были столкновения двух

укладов — дофеодального, пронизанного переживаниями родового строя, тесно сросшегося с древнерусским язычеством, и феодального.

Всеслав действовал «напоследок языческих времен», в обстановке реакции древнерусского язычества и старого, дофеодального уклада. Это определение, данное автором

105

«Слова», поражает нас своей исторической точностью.

Связь Всеслава Полоцкого с движением смердов и с реакцией язычества выявлена в работе Н. Н. Воронина «Восстание смердов в XI в.»¹. Напомним те из наблюдений этой работы, которые кажутся нам убедительными.

Полоцкая земля, по сравнению с Киевом, была более отсталой, с более прочно сохранившимся язычеством. Полоцкие князья («Рогволожи внуки») принадлежали к местной знати и дорожили своими местными связями². Сам Всеслав никогда не пытался противопоставить себя вечу, и в этом «преимущественно, кажется, и состояла особенная сила Всеслава, несмотря на многие неудачи и несчастья»³.

Его борьба против Новгорода имеет антицерковный характер. Он грабит в Новгороде Софию и опирается в борьбе против Новгорода на население его периферии — «вожан»⁴.

Восстание киевлян 1068 г., благодаря которому Всеслав захватил в Киеве власть, также было отчасти связано с активизацией язычества.

Еще А. А. Шахматов обратил внимание⁵ на то, что первый из собранных под 1071 г. рассказов о волхвах на самом деле относится к 1068 г. или к какому-то из лет перед тем (к 1064 г.). Волхв угрожал «преступанием земель». Об этом самом «преступании земель» говорило посольство киевского веча к Святославу и Всеволоду: «...мы же зло створили есмы, князя своего прогнавше, и се ведеть на ны землю Лядскую, а поидете в град отца своего. Аще ли не хочета, то нам неволя зажегши город свой и ступити в Грецискую землю».

Итак, Всеслав в самом деле действует «напоследок языческих времен». Здесь, как и во многих других местах, «Слово» поражает точностью своих исторических упоминаний.

106

Если характеристика Всеслава дана в «Слове» в свете несчастной судьбы его и его потомства «Всеславичей» («уже понизите стязи свои», то есть признайте себя побежденными в междоусобных битвах; «вонзите свои мечи верезени») и смягчена поэтому чувством жалости, то характеристика другого князя-крамольника — Олега «Гориславича» — дана по преимуществу в освещении последствий его усобиц для всего русского народа и поэтому вызывает меньше авторского сочувствия. Характеризуется даже не он сам как личность, а его деятельность и последствия этой деятельности. Его «усобицы» рассматриваются как целая эпоха в жизни русского народа: «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Ольговы, Ольга Святъславличя».

Олега автор «Слова о полку Игореве» вспоминает, однако, не только потому, что он был родоначальником черниговских Ольговичей. Именно он, Олег, положил начало сложному узлу усобиц, связанных с вотчинным правом Древней Руси.

Вместе с тем, половецкие симпатии Олега положили начало специфической половецкой политике Ольговичей¹.

Вся характеристика разрушительной деятельности Олега построена на противопоставлении ее созидательному труду земледельцев и ремесленников. Этот мотив присутствует и в характеристике Всеслава Полоцкого: там описание битвы на Немиге все основано на противопоставлении ее жатве: «На Немизѣ снопы стелють головами, молотять чепа харалужными, на тоцѣ животь кладуть, вѣють душу отъ тѣла». Тот же самый образ созидательного труда, противопоставленного бессмысленности и пагубности

усобиц, доминирует и в характеристике Олега: «Олеґь мечемь крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше», «тогда при Олзѣ Гориславичи сѣяшеться и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажьбожа внука», и, наконец, поразительный по своей художественной выразительности образ: «Тогда (то есть при Олеге «Гориславиче». — *Д. Л.*) по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче...» Именно этот образ мирно пашущего пахаря, заботе о котором должны быть посвящены усилия князей, ради которого они должны сражаться с половцами, применен

107

в «Повести временных лет» для аналогичного упрека корыстолюбивым князьям и при этом в аналогичной исторической обстановке. «Оже то начнетъ орати смерд, — говорил главный противник Олега Владимир Мономах в 1103 г., призывая к объединенному походу на половцев, — и приехав половчин ударить и (его) стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его, и дети его, и все его именье».

Автор «Слова о полку Игореве» считал дело Мономаха неудавшимся по вине Олега, что он и отметил, избрав для этого образ, примененный самим Мономахом, чем указал на то, что надежды Мономаха оберечь мирный труд ратая не сбылись.

Главным объектом для показа безрассудной деятельности Олега сделана битва на Нежатиной Ниве 1078 г. Эта битва сопоставлена с битвой Игоря («сѣ тоя же Каялы...»). Автор говорит о жертвах этой битвы: Борисе Вячеславиче и Изяславе Ярославиче. Впечатление от смерти этих князей усилено погребальными образами: Борису Вячеславичу «слава... зелену паполому (то есть зеленое погребальное покрывало — траву. — *Д. Л.*) постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Изяслава же Ярославича его сын Святополк приказывает отвезти к Софии Киевской «между угорьскими иноходьци».

Малозначительный князь Борис Вячеславич упомянут не потому, что он «защищал черниговские интересы», как думает А. В. Соловьев¹, а потому, что гибель его в битве на Нежатиной Ниве, наряду со смертью его противника Изяслава, ярко иллюстрировала мысль автора о бессмысленности междоусобных столкновений: обе стороны понесли жертвы в битве на Нежатиной Ниве; об обеих этих жертвах автор «Слова» говорит с одинаковым сожалением, не отдавая предпочтения ни черниговской, ни киевской стороне.

Здесь выражена та же мысль, о которой мы уже говорили выше, там, где разбирали рассказ «Слова» о борьбе Ярославичей и Всеславичей: в междоусобных битвах всегда терпят поражение обе стороны.

Наконец, нельзя не остановиться на одном месте «Слова»: «Се бо готьскыя красныя дѣвы...»

Мысль о мести за хана Шарукана могла еще жить в надеждах половцев в 1185 г. Это доказывается следующим

108

местом Ипатьевской летописи под 1185 г. После поражения Игоря Святославича хан Кончак говорит хану Гзе: «Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братиа наша и великый князь нашъ Боняк». Месть за Боняка, о которой говорит Кончак, это и есть месть за Шарукана, так как Боняк и Шарукан потерпели поражение в одной и той же битве 1106 г.: «том же лете прииде Боняк и Шарукань старый и ини князи мнози, и сташа около Лубна. Святополк же, и Володимер, и Олег, Святослав, Мьстислав, Вячьслав, Ярополк, идоша на половце к Лубьну; в 6 час дне бродишася черес Сулу и кликоша (в Лавр. лет. — «кликнуша». — *Д. Л.*) на не. Половци же вжасошася от страха, не възмогоша и стяга поставити, но побегоша хватаячи конии, а друзии пеши побегоша; наши же начаша сеци я, а другыя руками имати. И гнаша я до Хорола; убиша же Тааза Бонякова брата, а угре яша и братию его (в Лавр. лет. — «а Сугра яша и брата его». — *Д. Л.*), а Шарукань одва утече» (Ипат. лет., под 1106 г.).

Почему же, однако, готы, половцы (и их хан Кончак) лелеют мысль о мести именно за Шарукана? Ведь не один Шарукан терпел поражения от русских?

Мечь за Шарукана, которую лелеют «на брезѣ синему морю» готские красные девы, упомянута в «Слове» отнюдь не случайно. Шарукан был дедом хана Кончака. Мечь за деда, как и слава дедовская, была естественной в представлениях того времени. Шарукан потерпел жестокое поражение от Владимира Мономаха. Его сына Отрока Владимир Мономах загнал на Кавказ за Железные Ворота. Внук Шарукана и сын Отрока — хан Кончак — впервые смог отомстить за бесславие своего деда и своего отца.

Добиваясь мести за своего отца и деда, Кончак стремился действовать не против черниговских князей, а против Киева. После разгрома войск Игоря Святославича на Каяле, когда Гза (Кза) уговаривал Кончака идти на северские княжества (см. цитированное место Ипатьевской летописи), Кончак отказался, направляясь к Киеву и Переяславлю. Вот чем объясняется и выражение «Слова» о том, что готские девы «лелѣють мечь Шароканю». Поражение Игоря еще не было мечью за Шарукана. Это поражение только открывало ворота на Русскую землю, создавало возможность движения Кончака на Переяславль и Киев. Вот почему только после поражения Игоря хан начинает «лелеять» мечь за своего деда. Направление

109

усилий Кончака именно против Переяславля и Киева неоднократно выражалось и в прошлом. В 1184 г. Кончак Отрокович делает попытку заключить союз с Ярославом Всеволодовичем, чтобы идти на Киев. Этот союз не состоялся благодаря энергичному вмешательству Святослава. Таково же направление его походов 1174 и 1179 гг.

Знакомство русских с историческими воспоминаниями половцев подтверждается летописной статьей 1200 г. Ипатьевской летописи, где говорится на основании этих половецких песен и о хане Отроке — сыне этого самого Шарукана, и о сыне Отрока — хане Кончаке — противнике Игоря.

* * *

Итак, автор «Слова о полку Игореве» в своих исторических сведениях пользуется разнообразными источниками: он пользуется «Повестью временных лет» — в редакции, близкой новгородским летописям, он пользуется дошедшими до него песнями Бояна — певца второй половины XI в., любимца Олега Святославича, воспевавшего в своих песнях и своих современников (Романа Святославича, умершего в 1078, Всеслава Полоцкого, умершего в 1101 г.), и князей прошлого (Ярослава Мудрого и Мстислава Владимировича). Он пользуется, наконец, историческими воспоминаниями врагов Руси — половцев. Возможно, что автор «Слова» привлекал и еще какие-то устные источники. Но в использовании всех этих источников автор «Слова» проявил большую самостоятельность. В отличие от «Повести», он не констатирует событий, а осмысляет их, размышляет над ними, оценивает их и дает характеристики князьям, исходя при этом из своих политических и нравственных представлений. Он опускает религиозное осмысление событий (в объяснении смерти Бориса Вячеславича или освобождении из поруба Всеслава Полоцкого). Он делает выводы из своих характеристик — о бесплодности направленных на междоусобную борьбу усилий князей. События прошлого привлечены им для объяснения событий настоящего. Характеристика Олега дана им для характеристики современных ему Ольговичей; характеристика Всеслава — для характеристики Всеславичей. В этом сказались средневековые представления о родовой преемственности политики русских князей, а может быть, и реальные стремления русских

110

князей вести свою политику в пределах своей родовой линии, наследовать «путь» отцов и дедов.

Подытоживая характеристику обращения автора «Слова о полку Игореве» к историческому прошлому Руси, отметим прежде всего следующее. Автор «Слова о полку Игореве» не историк и не летописец, он не стремится хотя бы в какой-либо мере дать представление о русской истории в целом. Он предполагает знание русской истории в самом читателе. И вместе с тем его отношение к событиям современности в высшей степени исторично. События похода Игоря он воспринимает в глубокой исторической перспективе. Современная ему Русь не отделена от русской истории. Он не ищет причин усобиц в прошлом, но он воспринимает эти усобицы как непосредственное продолжение усобиц Всеслава и Олега. Ольговичи для него прежде всего потомки Олега «Гориславича». Всеслав Полоцкий для автора «Слова» связан с предшествующим языческим временем; он — родоначальник современных автору беспокойных Всеславичей, определивший их политику. Автор «Слова» поэтически выделяет в русской истории наиболее лирические эпизоды и поэтически же обобщает целые исторические периоды. Он настолько трезвый и проникновенный художник, что ясно представляет даже то, чему он не был свидетелем, и поэтому воображает, как восприняли современные ему события готы. Хотя поэт и преобладает в авторе «Слова» над историком, но его поэтическое миропонимание исторично. Его восприятие современных ему событий обрaмлено историей нескольких столетий.

Совпадает ли отношение автора «Слова о полку Игореве» к русской истории с отношением к ней в фольклоре? Ответу на этот вопрос мешает неопределенность самого термина «фольклор» для XI—XII вв. Но если принять за некую условную «мерку» фольклора упоминаемого в «Слове» песнотворца Бояна, то мы легко убедимся в том, что автор «Слова» стоит значительно выше Бояна в понимании исторического смысла событий русской истории.

Боян принадлежит к числу тех «витий»-песнотворцев, о которых говорит в своем «Слове на собор святых отец» Кирилл Туровский. Боян «воспевает» князей, он сочиняет им «славы» — «старому Ярославу, храброму Мстиславу... красному Романови Святъславличю». Струны его «сами (собой) княземъ славу рокотаху».

III

В воспроизведении автора «Слова» эти песни поражают своею бравурностью: «Не буря соколы занесе чресь поля широкая — галици стады бѣжати къ Дону великому»; «Комони ржутъ за Сулою — звенить слава в Киевѣ; трубы трубятъ въ Новѣградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ!»

Очевидно, Боян и не был подлинно народным поэтом. По-видимому, это был поэт придворный¹. В отличие от Бояна, автор «Слова» не только воздаёт хвалы князьям. Он взвешивает и расценивает их деятельность не с точки зрения их личных качеств (удаль, храбрость и т. д.), а с точки зрения оценки всей их деятельности для общенародного блага.

Замечательно, что, в отличие от слишком прямолинейного деления летописцем деятелей русской истории на добрых и злых, автор «Слова» воспринимает их с гораздо большею сложностью; он не только осуждает Всеслава Полоцкого, но и опечален его судьбой. Таково же отношение автора и к своим современникам — к Игорю Святославичу. Было ли отношение автора «Слова» к своим героям таким же, как и в фольклоре, сказать трудно. Во всяком случае, оно сложнее того отношения, которое представлено и Бояном, и летописью. Но вот что в авторе «Слова», во всяком случае, было выше, чем в историческом эпосе его времени: для него русская история обладает периодами, он сознательно делит ее на эпохи, перед ним ясная историческая перспектива. Его исторические представления об усобицах не могли сложиться на основе фольклора. Фольклор, исторический эпос, игнорирует усобицы. Эпос рисует героические картины борьбы с внешними врагами Руси: так он отразился и в «Повести временных лет», так он

дошел до нас и в современных нам былинах. Но ни тут, ни там нет изображения усобиц: в «Повести» усобицы никогда не описываются на основе фольклорных данных; в современном же эпосе полоса усобиц не отразилась. Эта особенность русского эпоса была четко отмечена Н. Г. Чернышевским: «...Сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями, если только были со времени Ярослава какие-нибудь провинциальные стремления... распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между

112

князьями... но не следствием стремления самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным распоряжениям князей»¹.

Какой художественный и идейный смысл имеют в «Слове» упоминания событий прошлого?

Рассматривая каждое явление современности в исторической перспективе, автор «Слова» тем самым обобщает его. Историзм — это одна из форм художественного обобщения в древней русской литературе. Каждое отдельное явление действительности представляет собою для автора «Слова» часть исторической действительности. Перед нами «обобщение жизни в отдельном ее явлении», но обобщение, типичное для XII в., а не для XX в.

Автора «Слова» интересует то, что выходит за пределы того или иного конкретного жизненного факта. Изображенные в «Слове» события перерастают те непосредственные факты, которые ему приходилось наблюдать эмпирически.

Упомянутые автором «Слова» события русской истории все полны ассоциаций с событиями, современными автору. Их автор вспоминает не случайно. Они составляют ту историческую атмосферу, в которой действуют современные автору князья, в которой рождаются энергичные сопоставления прошлого с настоящим, сильные исторические образы, которые сгущают атмосферу историчности, так сильно ощущаемую в «Слове».

В первые годы открытия и изучения «Слова» весь этот смысл исторических упоминаний «Слова» был неясен; только теперь, когда историческое прошлое получает все более и более ясное освещение, становятся понятными не только отдельные упоминания «Слова», но даже отдельные выражения. Каждое слово в «Слове о полку Игореве» весомо, полнозначно, имеет глубокий исторический смысл, каждое его упоминание, каждый факт приведен не в поэтической беспорядочности, а со строгим выбором и с большой лаконичностью. Исторический комментарий к «Слову», раскрытие его исторических параллелей, сопоставлений, исторического значения тех или иных выражений и мыслей автора «Слова» открывает

113

в «Слове» все большие и большие примеры поэтической точности и исторической содержательности. Точность его исторических и политических указаний — это одна из важных особенностей поэтики «Слова». Автор «Слова», воссоздавая прошлое или обращаясь к настоящему, не домысливает его, а воспроизводит путем отбора реальных деталей. Его поэтическое воображение всегда имеет реальную основу, опирается на конкретные детали. Он может гиперболизировать ту или иную черту в своем герое, но не придумать ее. Поэтическое видение его по-своему исторично. За его намеками и недомолвками по большей части кроются факты. Поэтому «Слово» представляет драгоценный материал как исторический источник, но еще больший материал дает «Слово» для изучения исторического мышления своей эпохи как памятник истории общественной мысли. В своих обобщениях автор «Слова» не создает новых фактов, не измышляет их — он лишь отбирает такие жизненные факты, по которым лучше всего, с его точки зрения, можно судить об исторических явлениях в целом.

Автор «Слова» не прибегает к вымыслу, как к сознательному приему творчества. Вымысел проникает в его творчество помимо его воли, из народных сказаний и верований. В этом отношении его творчество идет теми же путями, какими оно идет у всякого древнерусского книжника.

Выше мы видели разнообразные исторические источники, которыми пользовался автор «Слова о полку Игореве» в своем творческом осмыслении событий прошлого. Нам предстоит рассмотреть наиболее сложный вопрос исторического мировоззрения автора «Слова»: оценку им событий ему современных. Здесь также были своеобразные источники. Автор «Слова» не мог быть очевидцем всех описанных им фактов своей современности, и нам предстоит рассмотреть, в какой передаче мог он познакомиться с этими фактами.

Феодализм выработал своеобразный кодекс морали — понятия о дружинной и княжеской чести и славе. Война и отчасти охота служили той ареной, на которой происходило «искание славы и чести». «Показать мужество» свое и тем добыть себе славы, чести, хвалы было основной заботой князя и его дружины. Не уронить свою честь, не упустить своего, не уронить «отчей» и «дедней» славы, не потерять свою отчину и дедицу, ревниво оберегать свою дружинную репутацию — все это заслоняло

114

перед князьями в XII—XIII вв. большие государственные темы¹. Под влиянием этих забот выработался кодекс дружинной морали, дружинных правил поведения, перед которыми нередко тема родины отступала на задний план. Этот кодекс норм дружинного поведения выработал в эпоху феодализма свою терминологию: «Взять свою честь и славу» (ср.: «И ту ночь стоявшие князи поидоша разно... победивше сильнии полки и взявше свою честь и славу», — Новг. IV лет., под 1216 г.; «а возмем до конца свою славу и честь», — Лавр. лет., под 1186 г.); «не погубить честь» («не погубим чести князя своего», — Ипат. лет., под 1231 г.); «возложить честь» («Глеб же слышав рад бысть, аже на него честь воскладывают», — Ипат. лет., под 1175 г.); «положить честь» («той же прия с любовью и положи на немь честь велику», — Ипат. лет., под 1183 г.); «честить» («яко же и брат твой Изяслав честил Вячеслава», — Ипат. лет., под 1149 г.); «показать мужество свое» («Данил... млад сы показа мужество свое», — Ипат. лет., под 1213 г.; «яко от бога мужество ему показавшу», — Ипат. лет., под 1257 г.; «он же (Роман Брянский. — Д. Л.) бися с ними и победи я, сам же ранен бысть и не мало бо показа мужество свое», — Ипат. лет., под 1264 г.); «сотворить похвалу» («Мьстислав же великую похвалу створи Данилови, и дары ему дать велики и конь свой борзый сивый», — Ипат. лет., под 1213 г.); «дать похвалу» («и мужи отни похвалу ему даша велику зане мужьскы створи», — Лавр. лет., под 1149 г.), а с другой стороны: «погубить честь» («Василкови же молвящу ему: „Не погубим чести князя своего, яко рать си не можеть града сего прияти“); «бе бо мужь крепок и храбор», — Ипат. лет., под 1231 г.); «добыть сорома» («поеди, княже, прочь; аже ли добудем сорома?», — Ипат. лет., под 1149 г.); «взять сором» («а Кондрат поеха восвоися, возьмь себе сором велик», — Ипат. лет., под 1287 г.); «возложить сором» и «сложить с себя сором» («Болеслав же рече Володимерови: „Уведайся с нимь, велик бо сором возложил на тя; а сложи с себе сором свой“), — Ипат. лет., под 1279 г.); «мстить

115

своего сорома» («а яз пойду в половци, мьстив сорома своего», — Ипат. лет., под 1213 г.; ср. также: «приими всю власть его за сором свой», — Ипат. лет., под 1225 г.) и т. д. и т. п.

Можно смело сказать, что вся деятельность русских князей и русских воинов проходила в обстановке общественных и исторических откликов на нее современников и потомков. Князья постоянно считаются с тем, как на их деятельность взглянут современники и потомки, как будут оценены их поступки. Князья стремятся «поревновать» своим отцам и дедам, «добрые славы добыти», ищут себе «чести и славы».

Существенное значение при этом имеют самые представления о том, что считалось достойным этой «чести и славы». Ищут славы и достойны ее в глазах современников по преимуществу ратники, воины. Славы не ищут и не получают ее лица духовные, представители церкви, но наряду с князьями ее могут получить и рядовые ратники. Так, например, при осаде Судомира татарами волынский летописец отмечает подвиг простого воина («не боярин, ни доброго роду, но прост сый человек») и его подвиг называет достойным памяти: «створи дело памяти достойно» (Ипат. лет., под 1261 г.). Там же отмечен подвиг сына боярского Раха, и снова говорится: «створиста дело достойно памяти» (Ипат. лет., под 1282 г.). О смерти этого Раха и некоего прусина летописец замечает: «сии же умроста мужественем сердцемъ, оставлеша по собе славу последнему веку» (там же).

Молва о подвигах, слава (как известность) облекались в Древней Руси во вполне конкретную форму славы — хвалебной песни. В пении славы выражалось общественное признание. Вот почему киевляне, освободив Всеслава Полоцкого в 1068 г. из поруба и провозгласив его князем, привели на княжеский двор и «прославиша» (Лавр. лет.). В этом пении «славы» выражалось признание его заслуг — может быть, тем более необходимое, что Всеслав был освобожден из заключения и нуждался в гласной реабилитации. Славу поют князьям и по возвращении из победоносных походов. Тогда народ выходил навстречу князьям и пел славу им перед воротами города.

Дружинные представления о чести и славе отчетливо дают себя чувствовать в «Слове о полку Игореве». «Слово» буквально напоено этими понятиями.

Все русские князья, русские воины, города и княжества выступают в «Слове» в ореоле славы или хулы.

116

В ореоле славы «сведомых къметей» выступают куряне; их главная забота искать «себе чти, а князю славѣ». В ореоле славы выступают черниговцы: «тии бо бес щитовъ съ засапожники кликомъ плѣкы побѣждають, звонячи въ прадѣдную славу». Автор «Слова» передает о курянах, черниговцах и других не какой-либо конкретный факт, а как бы народную молву о них, народную славу.

Вот почему иногда автор «Слова» лишь напоминает ту или иную характеристику в форме вопроса, как всем известную: «Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкають аky тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?» — говорит автор «Слова» о дружине Рюрика и Давыда Ростиславичей. Мы бы сказали теперь, что это вопрос «риторический»: он лишь напоминает о той славе, которой пользовалась дружина Рюрика и Давыда.

В аспекте народной молвы оценивается и поражение Игоря: «уже снесся хула на хвалу...»

Давая характеристики русским князьям, автор «Слова» вспоминает прежде всего о их славе. Перед нами в «Слове» как бы проходит общественная молва о каждом из русских князей и о их дружинах.

Давая несколько гиперболические отзывы о русских князьях, автор «Слова» делает это, как бы пересказывая молву о них: «Великий княже Всеволоде!.. Ты бо можеша Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!»; «Галички Осмомыслѣ Ярославе!.. Грозы твоя по землямъ текуть, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салтъани за землями»; «Ярославлѣ вси внуце и Всеславлѣ! Уже понизите стяжи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ» и т. д.

В этих характеристиках русских князей отчетливо чувствуется и общерусская народная слава (ср.: «грозы твоя по землямъ текуть» или «уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ»).

Такой же славой обладают и отдельные города (Новгород славен «славою Ярослава») и земли (им передают свою славу местные дружины; например, Курскому княжеству — «куряне» — «свѣдоми къмети»; Черниговскому — «черниговские были, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы», побеждающие кликом без щитов с одними засапожниками своих врагов, «звонячи въ прадѣдную славу», и т. д.).

Автор «Слова» нередко оценивает события с точки

117

зрения той славы, которая распространяется по Руси об этих событиях. Подобно тому, как летописец, на основании той же народной молвы, оценивает исторические события с точки зрения их небывалости (ср. в Ипат. лет., под 1094 г.: «не бе сего слышано во днех первых в земле русской»; ср. в Лавр. лет., под 1203 г.: «взят бысть Кыев Рюриком и Олговичи и всею Половецкою землею и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенья над Киевом. Напасти были и взяты не якоже ныне зло се сстася»), — автор «Слова» пишет о поражении Игоря: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»

Поисками славы отчасти объясняет автор «Слова» и самый поход Игоря. Собираясь на половцев, Игорь и Всеволод сказали: «Мужаимѣ сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ». В ночь перед битвой русичи Игоря перегородили своими черлеными щитами великие поля, «ищучи себѣ чти, а князю славы». Именно так понимает побудительные причины к походу Игоря и Святослав Киевский: «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлвити, а себѣ славы искати». Поисками личной славы объясняют поход Игоря и Всеволода также и бояре Святослава Киевского: «Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомъ Дону».

Понятия чести и славы звучат в «Слове» и тогда, когда они прямо не упоминаются. Игорь говорит дружине: «Луце жь бы потяту быти, неже полонену быти» или «хощу бо, — рече, — копие приломити конец поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону». И здесь речь идет, следовательно, о добывании личной славы.

Неоднократно упоминается в «Слове» и дедняя слава — слава родовая, княжеская: Изяслав Василькович «притрепа славу дѣду своему Всеславу», Ярославичи и «все внуки Всеслава» уже «выскочисте изъ дѣдней славѣ»; Всеслав Полоцкий расшиб славу Ярослава — славу новгородскую.

Наконец, в «Слове о полку Игореве» неоднократно упоминается и о пении той самой славы — хвалебной песни, в которой конкретизировалось понятие славы абстрактной. Самый оборот, которым в «Слове» говорится о песнях Бояна («Боян бо вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити»), говорит о том, что песни эти были песнями хвалебными — славами («они же сами княземъ славу рокотаху»),

118

посвященными тому или иному герою и их подвигам («который дотечаше, та преди пѣснь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълки касожьскими, красному Романови Святъславличю»).

Здесь понятие славы как известности и славы как хвалебной песни поэтически слиты, но в «Слове» имеются и упоминания пения «слав», в реальности которых нет оснований сомневаться.

При возвращении Игоря из плена ему поют славу «девици» «на Дунаи». Сам автор «Слова» заключает свое произведение традиционной славой князьям и дружине: «Пѣвше

пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: «Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу». Здроби князи и дружина, побарая за христьяны на поганья плъки! Княземъ слава а дружинѣ! Аминь».

Одним словом, автор «Слова о полку Игореве» воспроизводит современные ему события, оценивает их и дает характеристики князьям — своим современникам — на основании народной молвы, славы.

Только ли на основании «молвы» и «славы» были известны автору «Слова» обстоятельства похода Игоря Святославича? Исследователи неоднократно отмечали близкое знакомство автора «Слова» с походом Игоря и обстоятельствами его бегства. Автор «Слова» как бы видит и слышит события, его зарисовки удивительно конкретны. Поэтому некоторые из исследователей (как, например, Н. В. Шарлемань) считали автора участником похода Игоря и предполагали даже, что он был с ним в плену, а другие (как, например, М. Д. Приселков) считали, что автор «Слова» был близок к Игорю, слышал его рассказы и на основании их создал свое повествование. С уверенностью ответить на вопрос о причинах точной осведомленности автора об обстоятельствах и деталях похода Игоря вряд ли удастся. Мы хотим, однако, обратить внимание на другое: не было ли в распоряжении автора «Слова» каких-то песенных источников о событиях ему современных? Наше предположение строится на следующем наблюдении. Между прозаическим рассказом Ипатьевской летописи о походе Игоря и поэтическим повествованием «Слова», несмотря на все их жанровое отличие, наблюдается много общего в деталях. Детали эти, однако, таковы, что нельзя думать, будто в «Слове» они заимствованы из летописи или в летописи

119

они заимствованы из «Слова». В основе обоих лежит, по-видимому, общий источник. Общность этих деталей не может быть, однако, объяснена и одинаковой осведомленностью в событиях. Сходство лежит в интерпретации явно поэтической. Эти элементы поэтической интерпретации событий похода Игоря присутствуют в прозаическом рассказе Ипатьевской летописи, будучи вкраплены в этот рассказ как инородные тела. И именно в этих поэтических элементах рассказа Ипатьевской летописи замечается близость к «Слову о полку Игореве».

Перечислим вкратце те элементы поэтической интерпретации событий рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря, которые находят себе соответствие в «Слове о полку Игореве».

И в летописи, и в «Слове» отмечено «золотое слово», сказанное Святославом Всеволодовичем Киевским после известия о поражении Игоря. Содержание «слова» Святослава Киевского передано, в общем, сходно. И тут, и там Святослав упрекает Игоря в безрассудстве юности. Очевидно, что «золотое слово» Святослава — не домысел летописца и не выдумка автора «Слова о полку Игореве», а реальный факт. Характерно, однако, другое, — в чем нетрудно заметить общность интерпретации «золотого слова» Святослава: и тут, и там отмечены слезы, которые пролил Святослав, произнося свое «слово». «Тогда великий Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено» («Слово о полку Игореве») — в летописи же Святослав «вельми воздохнув, утер слез своих и рече...»

Но особенно ярко совпадение «Слова» и Ипатьевской летописи в рассказе о разговоре между собой ханов Кончака и Гзы (Кзы — по летописи). Можно быть уверенным в том, что ни летописец, ни автор «Слова» не были свидетелями этого разговора. Разговор Гзы и Кончака — чисто литературный (или фольклорный) прием оживления действия. Вряд ли летописец или автор «Слова» могли знать о каком-то конкретном разговоре этих двух ханов. Для летописи такие измышления, «литературные» разговоры, вводимые для оживления действия, — чрезвычайная редкость; они обычно переносятся летописцем из фольклора (ср. разговоры Ольги с послами древлян в «Повести временных лет»). По-

видимому, диалог Кончака и Гзы также взят в Ипатьевской летописи из фольклора; как и в «Слове», оба хана спорят между собой: «и бысть у них котора, молвяшет бо Кончакъ: «Пойдем на

120

Киевскую сторону, где суть избита братья наша, и великий князь нашъ Бонякъ»; а Кза молвяшетъ: «Пойдемъ на Семь, где ся остале жены и дети, готов нам полон собран, емлем же города без опаса»; и тако разделишася надвое». Не было ли одним из общих источников «Слова» и летописи какое-то фольклорное произведение, где рассказывалось о Гзе и Кончаке и о их споре? Диалог Гзы с Кончаком не мог попасть в летопись из «Слова», ни в «Слово» из летописи: и тут, и там они трактуют разные темы, спор идет о разном, но по характеру своему он очень близок и не имеет ближайших аналогий в киевской летописи XII в.; один как бы является продолжением другого.

Если, действительно, диалог Гзы и Кончака в летописи и в «Слове» навеян каким-то фольклорным произведением, то это бы объяснило одну важную деталь в «Слове»: там говорится о мести за Шарукана. Откуда это стремление половцев отомстить за Шарукана стало известно автору «Слова»? А между тем об этой же мести за Шарукана говорит Кончак Гзе в летописи: «Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братья наша, и великий князь нашъ Бонякъ». Мы уже говорили выше (см. наст. изд., с. 108), что поражение, о котором говорит здесь Кончак, имело место в 1106 г. В этом 1106 г. потерпел поражение не только Боняк, но и Шарукан, мечь которого «лелеют» красные готские девы на берегу синего моря. В этих словах автора «Слова о полку Игореве» прямое указание на фольклор: готские девы не только «лелеют» мечь за Шарукана, но и «поют» время Бусово. Отражение половецких песен о Боняке (деде Кончака) и о хане Отроке (отце Кончака) отчетливо усматривается в летописи под 1097 г.¹, под 1151 г., под 1201 г. Нет ничего удивительного и в том, что особая половецкая песня была сложена и о их потомке — хане Кончаке, при этом тотчас же по совершении событий.

Нельзя не обратить внимания и на другие признаки близости рассказа летописи к рассказу «Слова». И «Слово», и летопись отмечают любовь Игоря к брату своему Всеволоду. И «Слово», и летопись отмечают грусть и смятение в городах после поражения Игоря, дают сходные характеристики Всеволоду. Все эти совпадения

121

отнюдь не случайны. Это совпадения в интерпретации событий, в выборе деталей. Любовь братьев не удивительна в жизни, но только один раз за весь киевский период она отмечена в летописи. Не удивительны и слезы сожаления, «оброненные» старшим киевским князем вместе со словами сожаления по поводу поражения одного из младших киевских князей, но и здесь только один раз они отмечены в летописи за все это, отнюдь не сентиментальное время.

Нет, однако, оснований видеть здесь какие-либо заимствования или влияния одного повествования на другое. Как мне кажется, здесь дело в другом: и летопись, и «Слово» — оба зависят от молвы о событиях, от славы о них. События «устраивались» в молве о них и через эту молву отразились и тут, и там. В этой молве отразились, возможно, и какие-то обрывки фольклора — половецкого или русского. Во всяком случае, сама «молва» была на грани фольклора, как на грани фольклора была и «слава» князей.

Каково, однако, отношение самого автора «Слова» к понятию «слава», «честь», к народной молве?

Отметим прежде всего, что автор «Слова» отнюдь не чуждается этих понятий, они находят сочувствие в его суждениях. Автор «Слова» постоянно апеллирует к славе того или иного князя. Однако это сочувствие автора «Слова» этим понятиям распространяется далеко не на все их стороны. В тех случаях, когда понятие «славы» ограничено узкими рамками феодального отношения к ней, автор «Слова» относится к ней резко отрицательно. Автор «Слова» безусловно отрицательно оценивает все случаи поисков

личной славы. Святослав Киевский, чье «золотое слово» совпадает с мыслями самого автора «Слова» до полной иногда неразличимости, упрекает Игоря и Всеволода именно за то, что они искали славы для себя. «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлвити, а себѣ славы искати». Эти поиски личной княжеской славы противоречат понятию «чести» Святослава и автора «Слова». Вслед за только что приведенными словами Святослав говорит: «Нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». С точки зрения феодальной морали, Игорь и Всеволод отнюдь не нарушили представления о «чести» князей. «Честь» свою они уронили в глазах Святослава и автора «Слова» только потому, что в поисках личной славы они предали интересы Русской земли.

122

Осуждает автор «Слова» и Бориса Вячеславича за поиски личной славы: «Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе». Это узкое феодальное «искание славы» глубоко чуждо автору «Слова». Однако во всех случаях, где речь идет о «славе» в более широком значении, автор «Слова» сочувственно говорит о ней. Понятия чести и славы перерастают в «Слове» свою феодальную ограниченность. Для автора эти понятия, с их ярко выраженным сословным оттенком значения, приобретают значение национальное. Честь и слава родины, русского оружия, князя как представителя русской земли волнуют автора «Слова» прежде всего.

Свое мнение автор «Слова» не противопоставляет общественному мнению. Напротив, он постоянно опирается на это общественное мнение. Но это общественное мнение для него выкристаллизовывается в его лучших представителях. Он выделяет в нем наиболее передовые идеи, вкладывает в узко феодальные понятия более широкое содержание. Он пользуется понятиями эпохи, но эти понятия видоизменяет, выделяя в них наиболее общее содержание. Так, например, понятие «обида» узко феодальное здесь, в «Слове», выходит за рамки своей сословной ограниченности. После поражения Игоря «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука». «Силы» — войска (ср. «нача приступати Володимерко с силою своею», Лавр. лет., под 1149 г.). Войска «Дажьбожа внука» — это, несомненно, все русское войско. «Обида» русского войска есть «обида» всей Русской земли. Этот термин употреблен автором вне его обычной сословной, феодальной ограниченности.

Князь Святослав (или автор «Слова») призывает Рюрика и Давыда Ростиславичей вступить в золотое стремя, то есть выступить в поход «за обиду сего времени» — не какого-либо из князей, а обиду общую, обиду этого (нашего) времени. Здесь также термин «обида» выходит за рамки сословной, феодальной ограниченности.

Так же точно не в обычном летописном, а в более широком значении употребляет автор «Слова о полку Игореве» и понятие «хвала»: «уже снесесе хула на хвалу; уже тресну нужда на волю».

Наконец, самое важное из политических понятий XII в. — понятие Русской земли — не ограничивается для автора «Слова» пределами Киевского княжества, как это было типичным для политических представлений периода

123

феодальной раздробленности¹. Он включает сюда Владимиро-Суздальское княжество и Владимиро-Волынское, Новгород Великий и Тмуторокань. Последнее особенно интересно: автор «Слова» включает в число русских земель и те, политическая самостоятельность которых была утрачена ко второй половине XII в. Так, например, река Дон, на которой находились кочевья половцев, но где имелись и многочисленные русские поселения, для автора «Слова» — русская река. Дон зовет князя Игоря «на победу». Донец помогает Игорю во время его бегства. Славу Игорю Святославичу по его возвращении в Киев поют девицы «на Дунаи», где действительно имелись русские поселения. Там же слышен и плач Ярославны.

Неясен только один вопрос: включает ли автор «Слова о полку Игореве» Полоцкое княжество в число русских земель. Слова автора из его обращения к Ярославичам и Всеславичам прекратить раздоры: «Вы бо своими крамолами начясте наводите поганья на землю Рускую, на жизнь Всеславию» могут быть поняты по-разному. Можно понимать «на землю Рускую, на жизнь Всеславию» и как грамматическое сочинение (в таком случае «жизнь Всеславию» не есть Русская земля), и как грамматическое подчинение (в таком случае «жизнь Всеславию» входит в состав Русской земли); по-видимому, следует здесь видеть последнее: автор «Слова» ведь противопоставляет полоцких князей не князьям русским, а только Ярославичам; кроме того, автор «Слова» обращается к полоцким князьям с призывом к защите Русской земли наряду со всеми русскими князьями, он обращается с призывом прекратить их «которые» с Ярославичами и т. д. Следовательно, Полоцкая земля для автора «Слова» — земля Русская.

То же представление о Русской земле как о едином большом целом отчетливо дает себя знать и в тех случаях, когда автор говорит об обороне ее границ. Южные враги Руси — половцы — для него главные враги, но не единственные. Защита русских границ воспринимается им как одно целое: он говорит о победах Всеволода Суздальского на Волге, то есть над волжскими болгарами, о войне полоцких князей против литовцев, о «воротах»

124

Галицкой земли на Дунае, против подвластных Византии дунайских стран.

Автор «Слова о полку Игореве» мыслит понятиями XII в., но вскрывает в этих понятиях наиболее передовое содержание.

Идея единства Русской земли слагается им из представлений, свойственных эпохе феодальной раздробленности. Автор «Слова» не отрицает, например, феодальных отношений, но в этих феодальных отношениях он постоянно настаивает на необходимости соблюдения подчиняющихся обязательств феодалов, а не на их правах самостоятельности. Он подчеркивает послушание Игоря и Всеволода по отношению к их «отцу» Святославу и осуждает их за это. Он призывает к феодальной верности киевскому князю Святославу, но не во имя соблюдения феодальных принципов, а во имя интересов всей Русской земли в целом.

Вопреки исторической действительности, слабого киевского князя Святослава Всеволодовича автор «Слова» рисует могущественным и «грозным». На самом деле Святослав «грозным» не был: он владел только Киевом, деля свою власть с Рюриком, обладавшим остальными киевскими городами. Святослав был одним из слабейших князей, когда-либо княживших в Киеве.

Не следует думать, что перед нами обычная придворная лесть. Автор «Слова» выдвигает киевского князя в первые ряды русских князей потому только, что Киев все еще мыслится им как центр Русской земли — если не реальный, то во всяком случае идеальный. Он не видит возможности нового центра Руси на северо-востоке. Киевский князь для автора «Слова» — по-прежнему глава всех русских князей. Автор «Слова» видит в строгом и безусловном выполнении феодальных обязательств по отношению к слабеющему золотому киевскому столу одно из противоядий против феодальных усобиц, одно из средств сохранения единства Руси. Он наделяет Святослава идеальными свойствами главы русских князей: он «грозный» и «великий». Слово «великий», часто употреблявшееся по отношению к главному из князей, как раз в это время перешло в титул князей владимирских: название «великого князя» присвоил себе Всеволод Большое Гнездо, претендуя на старейшинство среди всех русских князей. Слово же «грозный» и «гроза» очень часто сопутствовало до XVII в. официальному титулованию старейших русских князей, хотя само в титул и не перешло

125

(оно стало только прозвищем, при этом подчеркивающим положительные качества сильной власти, — Ивана III и Ивана IV). Слово «гроза» как синоним силы и могущества княжеской власти часто употреблялось в XIII в. («Демьян же одинако крепляшеся, грозы его (князя. — *Д. Л.*) не убоися», — Ипат. лет., под 1229 г.; князь Даниил Романович в Орде «живота не чаеть и грозы приходять», — Ипат. лет., под 1250 г.; «тобою есмь... грозен (силен. — *Д. Л.*) был», — Ипат. лет., под 1287 г.; «горожаном грозу подавая», — Ипат. лет., под 1291 г., и т. д.; ср. в самом «Слове о полку Игореве» о Ярославле Осмомысле: «грозы его по землямъ текуть»).

Итак, для автора «Слова» «грозный» киевский князь — представление идеальное, а не реальное. При этом, что особенно интересно, для автора «Слова» дороги все притязания русских князей на Киев. Нет сомнений в том, что он считает Святослава, силу которого он гиперболизирует, законным киевским князем. И вместе с тем, игнорируя вотчинное право на Киев Святослава Всеволодовича, он пишет, обращаясь к Всеволоду Большое Гнездо — князю, принадлежавшему ко враждебной Ольговичу Святославу Мономахской линии русских князей: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?.. Аже бы ты былъ (в Киеве! — *Д. Л.*), то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резантѣ». В этом обращении к Всеволоду все неприемлемо для Святослава, и все обличает в авторе «Слова» человека, занимающего свою независимую, а отнюдь не «придворную» позицию: 1) титулование Всеволода «великим князем», 2) признание киевского стола «отним» столом Всеволода и 3) призыв прийти на юг. Каким образом может это совместиться с позицией автора как сторонника Ольговичей? Суть здесь, очевидно, в том, что новая политика Всеволода — отчуждения от южно-русских дел — казалась автору опаснее, чем его вмешательство в борьбу за киевский стол. Всеволод, в отличие от своего отца Юрия Долгорукого, стремился утвердиться на северо-востоке, заменить гегемонию Киева гегемонией Владимира Залесского, отказался от притязаний на Киев, пытаясь из своего Владимира руководить делами Руси. Автору «Слова» эта позиция Всеволода казалась не общерусской, — местной, замкнутой, а потому и опасной.

Аналогичным образом автору «Слова» казалась опасной слишком местная политика Ярослава Галицкого, и он подчеркивает его могущество, его власть над самим

126

Киевом: «отворяеши Киеву врата», — говорит он о Ярославе Галицком. Слова, казалось бы, несовместимые с представлениями о могуществе Святослава Киевского, слова невозможные в устах «придворного поэта» Ольговичей, но простые и понятные для человека, страдающего за Киев как за центр Русской земли, стремящегося привлечь к нему внимание замкнувшихся в местных интересах князей.

Знание глубочайших исторических явлений, происходивших в Галицкой земле и Владимиро-Суздальской, при этом поразительно. От автора «Слова» не ускользнуло то, что стало ясным для позднейших историков. Он усмотрел опасность для единства Руси именно в том, что и владимирские, и галицкие князья перестали интересоваться Киевом как центром Руси.

Однако автор «Слова» не мог еще оторваться от представлений о Киеве как о единственном центре Руси. Он страстный сторонник идеи единства Руси, но единство это он еще понимает в устоявшихся представлениях XII в. Он уже видит значение сильной княжеской власти, но права первого князя на Руси еще обосновывает необходимостью строгого выполнения права феодального, подчеркивая в нем подчиняющие линии, права сюзерена, а не вассала. Он уже видит и признает силу владимиросуздальского князя, но предпочитает его видеть на юге — в Киеве.

Из привычных представлений своего времени автор «Слова» берет те, которые нужны ему как стороннику идеи единства Руси. Выработка совершенно новых политических представлений была делом будущего. Автор «Слова о полку Игореве» мыслит

представлениями XII в., вкладывая в эти представления передовое для своего времени содержание.

Те же представления о Киеве как о центре Русской земли пронизывают собою все изложение «Слова». Поразительна, например, точность выбора выражений в характеристике последствий поражения Игоря: «а вьстона бо, братие, Киевъ туюю, а Черниговъ напастыи». Черниговская земля действительно подверглась «напастям», реальным несчастьям, Киев же и Киевщина непосредственному разорению не подверглись; «туга» — тоска, печаль — за всю Русскую землю распространялись здесь как в центре Руси; Киев страдает, следовательно, не собственными несчастьями, а несчастьями всей Русской земли.

127

Роль Киева как центра Русской земли особенно отчетливо выступает в заключительной части «Слова о полку Игореве». Согласно летописи, Игорь по возвращении из плена в Новгород Северский едет в Чернигов, а затем уже из Чернигова отправляется в Киев к Святославу Всеволодовичу. Но «Слово о полку Игореве» не упоминает ни о его пребывании в Новгороде Северском, ни о его пребывании в Чернигове. Игорь — русский князь прежде всего, важно его возвращение в Киев, а не в Новгород Северский. Славу ему поют не в Новгороде или Путивле, а на Дунае — в отдаленных русских поселениях, отрезанных от остальной Руси половцами, ибо радость по поводу его возвращения общерусская, а не какая-либо местная. Возвращение Игоря встречает отклик во всех русских селениях, даже и тех, которые были заброшены на крайний юго-запад. При этом пение девиц на Дунае достигает именно Киева.

Итак, единство Русской земли мыслится автором «Слова» с центром в Киеве. Это единство возглавляется киевским князем, рисуемым ему в чертах сильного и «грозного» князя.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор «Слова» в разных князьях рисует собирательный образ сильного, могущественного князя — сильного войском («многовоего»), сильного судом («суды ряда до Дуная»), вселяющего страх пограничным с Русью странам («ты бо можещи Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти»; «подперъ горы угорскыи своими желъзными плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота»), распространяющего свою власть на громадную территорию с центром в Киеве («аще бы ты былъ...» на юге. — *Д. Л.*), а не только в своем уделе, славного в других странах («ту нѣмци и венецици, ту греци и морава поють славу Святъславлю»).

Перед нами образ князя, воплощающего собой идею сильной княжеской власти. Эта идея сильной княжеской власти, с помощью которой должно осуществиться единство Русской земли, только еще рождалась в XII в.

Впоследствии этот же самый образ «грозного» великого князя создает «Слово о погибели Русской земли». Он отразится в «Житии Александра Невского», в «Молении Даниила Заточника» и в других произведениях XIII в. Не будет только стоять за этим образом «грозного» великого князя — Киева как центра Руси. Перемещение

128

центра Руси на северо-восток и падение значения киевского стола станет слишком явным.

Однако автор «Слова» сумел налюбить идею сильной княжеской власти в ее жизненном осуществлении на том самом северо-востоке Руси, чьих притязаний стать новым центром Русской земли он еще не хотел признавать.

Сильная княжеская власть едва только начинала возникать, ей еще предстояло развиваться в будущем, однако автор «Слова» уже установил ее характерность, уловил в ней зерна будущего.

Конечно, идея сильной княжеской власти не слилась у автора «Слова» с идеей единовластия. Для этого еще не было реальной исторической почвы. Автор «Слова» видит своего сильного и могущественного русского великого князя действующим совместно со всеми остальными князьями, но в подчеркивании подчиняющихся линий феодальной власти нельзя не видеть некоторых намеков на идею единовластия киевского князя.

Таким образом, единство Руси мыслится автором «Слова» не в виде прекрасного идеала союзных отношений всех русских князей на основе их доброй воли и не в виде летописной идеи необходимости соблюдения добрых родственных отношений (все князья — «братья», — «единого деда внуки»), и не в виде будущих идей единовластия, а в виде союза русских князей, на основе строгого выполнения феодальных обязательств по отношению к сильному и «грозному» киевскому князю.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор «Слова» исходит из их реальных возможностей, оценивает те их качества, которые позволяют им быть действительно полезными в обороне Руси. И в данном случае автор «Слова» выступает как реальный политик. По существу, в «Слове» предложен целый очерк современного автору политического состояния Руси.

Обратимся к этому очерку и посмотрим, как оценены в «Слове» политические перспективы каждого из упомянутых в нем русских князей.

По существу, самая низкая оценка политических возможностей выпала в «Слове о полку Игореве» на долю его героя — Игоря Святославича Новгород-Северского.

В образе Игоря Святославича подчеркнуто, что исторические события сильнее, чем его характер. Его поступки обусловлены в большей мере заблуждениями эпохи,

129

чем его личными свойствами. Сам по себе Игорь Святославич не плох и не хорош: скорее даже хорош, чем плох, но его деяния плохи, и это потому, что над ним господствуют предрассудки и заблуждения эпохи. Тем самым на первый план в «Слове» выступает общее и историческое над индивидуальным и временным. Игорь Святославич — сын эпохи. Это князь своего времени: храбрый, мужественный, в известной мере любящий родину, но безрассудный и недалновидный, заботящийся о своей чести больше, чем о чести родины.

На примере похода Игоря и его неудачи автор показывает несчастные последствия отсутствия единения. Игорь терпит поражение только потому, что пошел в поход один. Он действует по формуле «мы себе, а ты себе». Слова Святослава Киевского, обращенные к Игорю Святославичу, характеризуют в известной мере и отношение к нему автора «Слова». Святослав говорит, обращаясь к Игорю и Всеволоду: «О моя сыновья, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ?.. Нѣ рекосте: «мужаимѣся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ!» А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколь въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнѣзда своего въ обиду. Нѣ се зло — княже ми неспособность: наниче ся години обратиша».

По существу, весь рассказ в «Слове» о походе Игоря выдержан в этих чертах его характеристики Святославом: безрассудный Игорь идет в поход, несмотря на то, что поход этот с самого начала обречен на неуспех. Он идет, несмотря на все неблагоприятные «знамения». Главной, хотя и не единственной движущей силой его при этом является стремление к личной славе. Игорь говорит: «Братие и дружино! луце жь бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои бръзья комони, да позримъ синего Дону», и еще: «Хощу бо, рече, копие приломити конецъ поля Половецкаго; съ

вами, русици, хошу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону»¹. Желание личной славы «заступает

130

ему знамение». Ничто не останавливает Игоря на его роковом пути.

Осуждение Игоря явно чувствуется еще в одном месте «Слова о полку Игореве», по другому поводу. Сравнивая битву Игорева войска и половцев с пиром, автор «Слова» говорит: «... ту кроваваго вина не доста: ту пирь докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». Автор «Слова» неизменно точен в выборе выражений. Слово «сваты» употреблено им в отношении половцев далеко не случайно¹. Предводитель половецких сил хан Кончак был действительно «сватом» Игоря. Сын Игоря был помолвлен с дочерью Кончака еще раньше. Свадьба состоялась в плену. Владимир вернулся из плена с «дитятею» и уже по возвращении из плена был венчан по церковному обряду.

Однако половцы были «сватами» русских князей далеко не в одном случае. Олег «Гориславич» был женат на дочери хана Асалупа. Святополк Изяславич Киевский был женат на дочери Тугорхана. Юрий Долгорукий был женат на дочери хана Аепы, внучке хана Осеня. Сын Мономаха Андрей Добрый был женат на дочери Тугорхана; Рюрик Ростиславич — на дочери хана Беглюка. Внучка хана Кончака была выдана замуж за Ярослава Всеволодовича.

Как видим, обращаясь с призывом к русским князьям, направляя им в первую очередь свой призыв встать на защиту Руси, автор «Слова о полку Игореве» имел право назвать с горьким чувством врагов Руси — половцев — «сватами».

Осуждение женитьб на половчанках проглядывает еще в одном месте «Слова»: в числе жертв похода 1185 г. киевские бояре называют Святославу Всеволодовичу только «два солнца» — Игоря и Всеволода — «и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ». Олег — это сын Игоря, родившийся в 1175 г., Святослав — его племянник, князь Рыльский. Не назван Владимир — старший сын Игоря, несомненный участник похода Игоря (он назван в летописи). А. В. Соловьев, впервые внимательно изучивший все упоминания князей в «Слове», заподозрил в этом пропуске ошибку переписчика². Однако двойственное число («съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ») устраняют возможность механического

131

пропуска переписчика. Перед нами, по-видимому, сознательный пропуск, объясняемый тем, что в Киеве знали о женитьбе Владимира на Кончаковне в плену и, следовательно, не могли рассматривать его как жертву похода. Вряд ли было бы уместно говорить о Владимире как о померкшем месяце в то самое время, когда в ставке Кончака ему пелась свадебная слава. Однако, несмотря ни на что, возвращение Владимира в Киев радует автора «Слова» так же, как и возвращение Игоря: «Слово» заключается славой Игорю, Всеволоду и Владимиру.

Итак, на всем протяжении «Слова о полку Игореве» автор относится к Игорю с неизменным сочувствием. Но, сочувствуя Игорю, он осуждает его поступок, и это осуждение, как мы видели, прямо влагается им в уста Святослава Киевского и подчеркивается всеми историческими параллелями, которые он приводит в «Слове». Его позиция — во всяком случае, не позиция придворного Игоря Святославича, как и не придворного Святослава Всеволодовича. И в этом случае он независим в своих суждениях.

Никаких конкретных указаний на какие-либо особенности новгород-северского княжения «Слово» не дает. Перед нами только сама яркая личность новгород-северского князя. Все остальные русские князья охарактеризованы в «Слове» в конкретных чертах их княжений. В каждом из них подчеркнуты черты, типичные для их княжений в целом.

Так, например, в своих присущих только черниговско-северским княжениям чертах выступает курский князь Всеволод и черниговский Ярослав.

В «Слове» отмечена такая деталь, как наличие в Северной земле сильного «земского боярства» — местной родовой знати и мелких феодалов. Автор «Слова» говорит о курских «кметях»¹ и о черниговских «былях» —

132

«ревугах», «ольберах», «топчаках», «шельбирах», «татранах»¹. Судя по этим названиям, это знать тюркского происхождения, что было также характерно для Чернигова². С этой местной знатью, как пишет В. В. Мавродин, вынуждены считаться северские князья, в связи с чем и было весьма уместным упоминание в «Слове» этих «былей» и «кметей» рядом с князьями курским и черниговским.

Одно из центральных мест в «Слове» занимает «золотое слово» Святослава Киевского, продолженное обращением самого автора «Слова» к русским князьям. Здесь важно то, что автор «Слова» обращается ко всем русским князьям. Если он и не перечисляет их всех, то, во всяком случае, он обращается к князьям, сидевшим и на востоке, и на западе: к князьям владимиристо-суздальским, полоцким, галицким и т. д. Всех их автор «Слова» считает причастными общему русскому делу — защите южных границ Руси.

Последовательность, в которой автор «Слова» обращается к русским князьям, едва ли случайна. В ней нет ни местничества, ни родовой точки зрения. Он не учитывает родственных отношений или степени важности княжеств. Ему ничего не стоит обратиться сперва к племяннику, а потом к дяде (к Владимиру Глебовичу, а потом к Всеволоду Суздальскому), к Ольговичам вперемешку с Мономаховичами, к смоленским князьям (Рюрику и Давыду Ростиславичам) прежде, чем к Ярославу Осмомыслу.

Вряд ли возможно установить здесь какую-либо последовательность. Скорее всего, последовательность здесь живая, непосредственная, лишенная особых расчетов и этикета. Он обращается прежде всего к тем князьям, чьего участия в будущем походе он больше всего добивается, от кого прежде всего ждет отклика. При всем величии своего патриотического воодушевления автор «Слова» прежде всего реалист в политике.

Автор «Слова» по-разному оценивает политические перспективы русских княжеств. Он не рассматривает их ни под пессимистическим, ни под оптимистическим углом зрения. Отмечая растущую силу Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской земель, он одновременно с горькой иронией дает совет полоцким князьям: «понизите

133

стязи свои, вонзите мечи свои вережени». Действительно, «Западной Руси готовилась судьба пойти материалом на строение нового политического здания — великого княжества Литовского, войти в состав «земли Литовской» в тесном смысле слова»¹.

Прежде всего автор «Слова» обращается к Всеволоду Юрьевичу Суздальскому. Он отмечает, что Всеволод замкнулся в политических интересах только своего княжества: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?» — и этим верно отмечен поворот в политике владимирских князей, наступивший во второй половине XII в. В отличие от Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский порывает с Киевом, за обладание которым боролся его отец, и уходит к себе на север. Здесь на севере Андрей делает ряд попыток обосновать новый центр Руси. Политику Андрея решительно продолжил его брат Всеволод. «Ты бо можеша Волгу веслы раскропити» — в этих словах автора «Слова» подчеркнута и многочисленность войска Всеволода, и его успешная борьба с волжскими болгарами (1183 и 1186 гг.).

Наконец, полны исторического значения и заключительные слова обращения к Всеволоду: «Ты бо можеша посуху живыми шерешеры стрѣляти, удалыми сыны Глѣбовы», под которыми, очевидно, подразумеваются сыновья Глеба Ростиславича Рязанского, которых Всеволод держал в своей власти.

Обращаясь к Рюрику и Давыду Ростиславичам, автор отмечает лишь одну их характерную особенность — их храбрую дружину, закаленную в боях. Так оно, очевидно, и было. Рюрик и Давыд провели беспокойную жизнь. Рюрик неоднократно появлялся на киевском столе, захватывая его военной силой. Не раз ходил Рюрик и на половцев, только недавно, в 1183 г. и в 1184 г., нанеся половцам жестокие поражения: в 1183 г. на реке Хирии, а в 1184 г. на Хороле вместе со Святославом Киевским. Ходил Рюрик на половцев и в 1185 г. Эти войны с половцами, очевидно, и имеет в виду автор «Слова», когда пишет: «Не ваю ли храбрая дружина рыкають акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?»

Обращаясь к Ярославу Осмыслу Галицкому, автор «Слова» верно отмечает его силу: наряду с княжеством

134

Владими́ро-Суздальским, Галицкое княжество было явно на подъеме своего могущества. Ослабление Киева и Чернигова в XII в. шло параллельно росту могущества княжеств Владимиро-Суздальского и Галицкого.

Автор «Слова» называет престол, на котором сидит Ярослав Осмомысл, «златокованным», и это не случайно. Здесь, как и во многих других случаях, поражает исключительная точность и многозначность подбираемых им выражений. Термины «злаченный» или «златокованный» всегда употребляются в точном смысле. Так, например, шлемы дружины Рюрика и Давыда Ростиславичей названы «злаченными». Шлемы никогда не делались из сплошного золота — слишком мягкого и слишком тяжелого для шлема материала. Термин «золотой» может в равной степени означать и «золоченый», и сделанный из сплошного золота. Княжеский стол в Киеве назван «золотым». Он золотой прежде всего по своему значению, а может быть, и потому, что реальный стол в Киеве был золотым или золоченым. Зато стол Галицкий назван «златокованным», сделанным из сплошного золота, и этим подчеркивается только одна материальная сторона: богатство престола, а следовательно, и богатство Галича. Действительно, из всех княжеств Руси XII в. Галицкое было самым богатым вследствие выгодного для Галича перемещения в XII в. соединявших север и юг Европы торговых путей из Поднепровья, где их прервали половцы, на запад — в безопасные районы Галицкого княжества. Усиление в XII в. галицких городов было вызвано их увеличившимся торговым значением. Еще отец Ярослава Осмомысла Владимирко широко действовал подкупом, вызывая этим раздражение киевлян (Ипат. лет., под 1144 г.).

Не случайно и другое выражение автора «Слова», употребленное им в отношении Ярослава Осмомысла Галицкого: «высоко съдиши на ...столѣ». Действительно кремль Галича, где находилась и резиденция Ярослава Осмомысла, был расположен на высоком холме¹.

«Слово» отмечает также подчиненность ему всех русских земель до самого Дуная: «суды рядя до Дуная». «Рядить суды», или «ряды править», — одно из главных княжеских дел. Ср. в Лаврентьевской летописи под

135

1206 г.: Константин Всеволодович въехал в Новгород на княжение, сел на столе в Софии («короновался»), оттуда пришел в свою обитель (то есть в свой дворец), отпустил новгородцев с честью «и потомъ поча ряды правити», то есть после этого стал управлять Новгородом. В 1151 г. престарелый киевский князь Вячеслав, желая разделить княжение с Изяславом Мстиславичем, послал ему сказать: «...яз есмь стар, а всих рядов не могу уже рядити, но будеве оба Киеве...» (Ипат. лет., под 1151 г.). В 1154 г. тот же престарелый Вячеслав говорит приехавшему в Киев Ростиславу: «Сыну! Се уже в старости есмь, а рядов всих не могу рядити; а, сыну, даю тебе, якоже брат твой держал и рядил, тако же и тебе даю... а се полк мой и дружина моя, ты ряди». Из этих примеров ясно, что слова «суды рядя до Дуная» в широком смысле означают «управляя землями до самого Дуная».

Заслуживает внимания и другое. В «Слове» подчеркнуто, что Ярослав совершает все свои деяния, не ходя в походы, сидя на своем престоле. Он «подперь горы угорский», затворяет «Дунаю ворота», с престола мечет «бремены чрезь облакы», отворяет «Киеву врата», стреляет «съ отня злата стола салтъани за землями». Объяснение этой характеристики Ярослава Осмомысла, совершающего все свои богатырские деяния, сидя на отнем златокованом престоле, счастливо сохранила нам летопись: в некрологической статье, посвященной Ярославу Осмомыслу под 1187 г., сказано: «бе же князь мудр и речен языком, и богобоин, и честен в землях и славен полкы: где бо бяшетъ ему обида, *сам не ходяшетъ полкы своими*, но посылашетъ я с воеводами; бе бо рстроил землю свою» (Ипат. лет., под 1187 г.).

Следующий затем призыв обращен к «буй-Роману и Мстиславу». Буй-Роман — Роман Мстиславич. Это ясно из перечисления его побед над литвой, ятвягами, деремелой и половцами. Из Романов, современников автора, только Роман Мстиславич Галицкий ходил на все эти народы. Именно для его войска было характерно и латинское вооружение: «суть бо у ваю желѣзными паробци (или «паворози» — завязки. — *Д. Л.*) подь шелома латиньскими». Но кто такой Мстислав, по всему судя близкий к Роману, деливший его победы? Это мог быть Мстислав Ярославич Пересопницкий и Мстислав Всеволодович Городенский.

136

Затем автор «Слова» обращается к Инъгварю и Всеволоду и ко «всем трем Мстиславичам». Инъгварь и Всеволод — это сыновья Ярослава Изяславича Луцкого; но кто такие «и вси три Мстиславичи»? По-видимому, это какая-то другая группа князей. Нельзя считать, как это делают обычно, что это тот же Инъгварь, Всеволод и их неназванный брат Мстислав. Против такого понимания говорит само грамматическое построение этой фразы, в которой автор «Слова» обращается к ним: «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи». Кроме того, Инъгварь и Всеволод имели не одного, а еще двух братьев (кроме Мстислава — еще и Изяслава, умершего в 1196 г.). Следовательно, их не трое, а четверо и о них нельзя было сказать «вси три». Кроме того, они не Мстиславичи, а Ярославичи (дети Ярослава Изяславича Луцкого). Мстиславичами они вряд ли могли быть названы по прадеду — Мстиславу Владимировичу.

Здесь, несомненно, имеются в виду единственные в ту пору на Руси три брата — сыновья Мстислава Изяславича — Роман, Святослав и Всеволод¹. Все эти три Мстиславича, как и Инъгварь и Всеволод, были князьями волынскими — вот почему они объединены в едином обращении к ним. Они не названы по имени, так как автор «Слова» уже назвал только что выше одного из них — Романа. В этом месте он повторяет свое обращение к Роману, объединяя его со всеми его волынскими братьями. Он говорит «и вси три Мстиславичи», подчеркивая этим, что речь перед тем шла только об одном Мстиславиче, а теперь идет о всех. Повторение это вполне естественно: автор «Слова» обращается к волынским князьям Инъгварю и Всеволоду и объединяет свое обращение к ним с обращением ко всем другим волынским князьям: «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи» — здесь перечислены все волынские князья.

Мстиславичи эти были по матери полуполяками — внуками польского короля Болеслава Кривоустого. Вот

137

почему в обращении к ним автор «Слова» говорит: «... кое ваши златыи шелома и сулицы и щиты?»

Конечно, это и не простой намек на полупольское происхождение Мстиславичей. Гораздо вероятнее, что автор «Слова», имея в виду полупольское происхождение Мстиславичей, имеет здесь в виду и ту военную помощь, которую получали волынские князья из Польши. Ведь именно это было важно подчеркнуть автору «Слова о полку Игореве», взывая к их военной мощи. «Польские силы не раз помогают волынским

князьям в их борьбе против киевских или галицких князей, — пишет А. Е. Пресняков. — Еще в 80-х годах XI в. Владислав-Герман поддерживает Ярополка Изяславича против Всеволода Ярославича Киевского, а в 90-х годах Болеслав Кривоустый подымается на помощь Ярославу Святополчичу против Мономаха. Изяслав Мстиславич в борьбе с Юрием Долгоруким и Владимирком Галицким ищет союза польских князей, женив сына на сестре Казимира Справедливого и выдав дочь за его брата Мешка Старого. И этот волыньско-польский союз держится в течение трех поколений, продолжаясь при Мстиславе Изяславиче и Романе Мстиславиче. Мстислав в неудачные годы уходит «в ляхи», во время борьбы за Киев «снимается (совещается. — Д. Л.) с ляхи». Часто обращается к ним за помощью и Роман как в борьбе за Киев, так и в первых же покушениях своих на Галицкое княжество»¹.

Отношения Волыни с Польшей были сложнее, чем простая помощь Польши волыньским князьям. В их основе в конечном счете лежали притязания польских королей на Волынь, но для нас важно, что польско-волыньские отношения не прошли мимо наблюдательного глаза автора «Слова». Пока его интересует только военная помощь волыньских князей и их польских союзников против половцев.

Дойдя в своем обращении ко всем русским князьям до князей полоцких, автор «Слова» ограничивается в отношении их лишь призывом прекратить раздоры с остальными русскими князьями. Он отмечает слабость полоцких князей в обороне их собственных границ от литовцев и поэтому, может быть, не рискует их отвлечь от своих собственных дел делами половецкими. Положение на границах Полоцкой земли с литовцами автор «Слова»

138

сравнивает с положением южных границ Руси с половцами: «Уже бо Сула (пограничная река на юге. — Д. Л.) не течет сребренными струями къ граду Переяславлю, и Двина (пограничная река на западе. — Д. Л.) болотомъ течет онымъ грознымъ полочаномъ подь кликомъ поганыхъ (литовцев. — Д. Л.)». С горечью отмечает автор «Слова», что только один Изяслав Василькович (князь по летописям неизвестный) оказал сопротивление литовцам, но при этом сам потерпел поражение, «притрепав» тем самым военную славу своего прародителя Всеслава Полоцкого: «Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовския, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подь чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскими мечи...»

Обращает на себя внимание отсутствие призыва к Новгороду Великому. На первый взгляд это кажется странным, но на самом деле это показывает в авторе «Слова» реального политика. Это не означает, что автор «Слова» считал Новгород вне пределов Русской земли. Выражение «расшибе славу Ярославу» показывает, что автор «Слова» вводил Новгород в круг русских исторических традиций и, следовательно, не исключал его из числа русских городов. Автор «Слова» потому не обращается с призывом к Новгороду, что там не к кому было обращаться. Во главе Новгорода стоял не князь, который худо ли хорошо ли, но все же мог быть в XII в. представителем общерусских интересов, а боярская олигархия, которая была связана только со своей землей и для которой общерусские интересы были чужды. Обращаться к ней было бесполезно, и автор «Слова» не сделал этого. Ни разу еще новгородские войска не участвовали в XII в. в общерусских походах. Узкоместные интересы преобладали в среде новгородского боярства и купечества. Отсюда можно заключить, что обращения автора «Слова» не были только литературной формой, за которой скрывалась ни к кому конкретно не обращаемая пропаганда единства Руси. Автор «Слова» обращался к конкретным князьям с призывом к конкретному походу и конкретному союзу против степи.

Однако литература не только исходила из действительности — в ряде случаев (а в «Слове о полку Игореве» особенно) она возвышалась над этой действительностью.

Единство Руси в период ее феодальной раздробленности в известной мере продолжало существовать. Раздробленность

139

не была тотальной, полной. В осуществлении единства литература, как и другие формы идеологического воздействия, играла вполне реальную активную роль. Дело в том, что, несмотря на раздробленность и несмотря на узкоместную политику отдельных князей, ни один из этих последних не решался объявлять раздробление Руси принципом своей политики. Каждый из русских князей в провозглашаемых им (пусть даже лицемерно) официально мотивах своих действий стоял за единство Русской земли. Если понятие Руси в летописях XII в. (но не в других жанрах) в устах князей и летописцев и могло иногда относиться только к княжествам Южной Руси, то все же одновременно существовало и более широкое понятие Руси, охватывавшее все русские области, не исключая и Новгорода. Автор «Слова о полку Игореве», обращаясь ко всем русским князьям, рассчитывал именно на это общерусское идейное единство, так как на него опирались в своей политике многие киевские князья, начиная с Владимира Мономаха и кончая Святославом, отнюдь не радовавшимся по поводу поражения Игоря, а оплакивавшим его, согласно рассказу Ипатьевской летописи и «Слову о полку Игореве» (в летописи Святослав «утер слез своих и рече...». В «Слове» Святослав «изрони злато слово слезами смѣшено»).

А. Н. Робинсон придерживается прямо противоположной точки зрения: он считает, что обращение автора «Слова» к русским князьям было только литературной формой, за которой не скрывалось ничего реального. Иначе говоря, реальный политический смысл этого обращения отсутствовал. Доказывает это А. Н. Робинсон тонким анализом политической обстановки в каждом княжестве: нигде не было смысла выступать в поход за Русскую землю, а некоторым из князей поражение Игоря было даже выгодно (в частности, Святославу Киевскому). А. Н. Робинсон так подытоживает свой анализ исторической обстановки: «Призыв «Слова» к князьям не имел и не мог иметь никаких политических последствий...» и далее: «Всякие попытки рассматривать содержание «Слова» без учета этих исторических обстоятельств были бы антиисторическими»¹. Однако нельзя

140

рассчитывать, что все русские князья знали точно свои выгоды. Нельзя также думать, что князья во всем поступали только согласно своим выгодам. Невозможно считать, наконец, что, обращаясь к русским князьям, автор «Слова» так же точно, как и современный исследователь политической обстановки 80-х годов XII в., рассматривал эту обстановку. Автор «Слова» мог рассчитывать на некоторый идеализм, или, вернее, патриотизм, русских князей. Ведь весь смысл «Слова» — в призыве к князьям отказаться от своих эгоистических расчетов, пожертвовать ими, встав на защиту родины.

Очень интересно употребление в «Слове» политической терминологии именно конца XII — начала XIII вв.: слово «господин» по отношению к князю. «Слово» называет «господами» Рюрика и Давыда Ростиславичей и Ярослава Осмомысла Галицкого: «Вступита, господина, въ злата стремянь за обиду сего времени...», «Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея...»

Обращение к князю «господин» впервые стало употребляться на северо-востоке Руси, там, где складывалась новая сильная княжеская власть, начиная с середины 70-х годов XII в. (то есть за десять лет до написания «Слова»). Оно начинает употребляться сперва только в среде горожан и сельского населения. До того этот термин «господин» применялся лишь в области владельческих отношений: так называли владельца холопов, хозяина закупов (в «Русской Правде»). В политической жизни в отношении князя термин «господин» впервые встречается в речах жителей владими́ро-суздальских городов, обращенных к владими́рскому князю. Так называют Михаила Юрьевича суздальцы и

ростовцы (горожане) в 1176 и 1177 г.; так называют Всеволода Юрьевича владимирцы (опять-таки горожане) в 1177 г.; так называют его же и в других случаях. В 1180 г., по-видимому впервые, этот термин переходит в уста князей-вассалов, в их обращении к своему главе, и опять-таки во Владимиро-Суздальском княжестве. Так называли Всеволода Юрьевича владимиро-суздальского, своего феодального главу, рязанские князья Всеволод и Владимир Глебовичи: «Ты господин, ты отец, — говорили через послов Всеволоду рязанские князья, — брат наю (наш. — *Д. Л.*) старейший Роман уимае волости у наю (нас. — *Д. Л.*), слушая тестя своего Святослава, а к тебе крест целовал и переступил» (Ипат. лет.). По-видимому, новые отношения безусловного подчинения, сложившиеся на северо-востоке между

141

владимиро-суздальским князем и подручными ему рязанскими князьями, потребовали для своего определения и нового термина, в котором уже отменено всякое «родственное смягчение» политических понятий, столь характерное для старой традиционной феодальной терминологии — «отец», «сын», «брат». Поэтому-то слово «господин» и стало употребляться вместо слова «отец» или рядом с ним в пору усиления княжеской власти.

Этот новый политический термин — «господин» (вместо «отец»), — отразивший на северо-востоке рост феодальной главы над стоящими ниже его на лестнице феодального подчинения князьями, начинает употребляться не только одними рязанскими князьями по отношению к Всеволоду Юрьевичу, но и в другом центре борьбы за сильную княжескую власть — в Галичине. Всего десять лет спустя, в 1190 г., сын Ярослава Осмомысла — Владимир Галицкий в своей просьбе ко Всеволоду Суздальскому прибег к аналогичному обращению: «Отце господине! Удержи Галич подо мной, а яз божий и твой есмь со всим Галичем, а в твоей воле есмь всегда» (Ипат. лет.). Энергия этого нового политического термина поддержана в этой просьбе необычною степенью покорности, на которую соглашается Владимир: «аз божий и твой».

Употребление слова «господин» по отношению к князю имеет совершенно точную хронологию. Оно употребляется с 70-х годов XII в. и в течение XIII в. (оно типично для «Моления Даниила Заточника»). Впоследствии, в XIV—XV вв., оно вытесняется словом «государь»: князю станут говорить «государь», но не «господин». Это слово встретится только в «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище», но как заимствование из «Слова о полку Игореве» (в первом произведении — прямо, а во втором — через первое).

Принимая новый термин «господин», автор «Слова», очевидно, принимал и новое отношение к княжеской власти. Не случайно он так преувеличивает могущество князей, называет некоторых из них «великими» и «грозными» (Святослава Всеволодовича), говорит о «грозе» Святослава и Ярослава Осмомысла.

* * *

Подведем итоги. Автор «Слова» — человек широкой исторической осведомленности. Он внимательный читатель «Повести временных лет» и вместе с тем наслышан

142

в народной исторической поэзии. Он имеет свои отчетливые представления о русской истории, хотя эти представления и являются представлениями поэта, а не историка, при этом поэта XII столетия. Его суждения о русской истории — плод поэтического восприятия этой истории, но поэтического восприятия, проникнутого историзмом в пределах, доступных его эпохе. Русская история имеет для него ясно представляемые черты своего собственного бытия. По крайней мере три периода, три сменяющих друг друга образа исторических эпох намечаются в его поэтическом сознании: время Трояна, время Ярослава и время Олега Гориславича.

Современность имеет для автора «Слова» свои корни в историческом прошлом. Для автора она — естественное продолжение эпохи усабиц Олега Гориславича. Он ищет корни политики современных ему князей-крамольников в походах Олега.

В своих исторических воззрениях автор «Слова» зависит от летописи, фольклора и народной молвы, но его исторические воззрения выше и летописных, и фольклорных, и тех, что были представлены молвой. От летописцев автора «Слова» отделяет огромная сила исторического обобщения. Он обобщает историю в конкретных поэтических образах. От «песнотворцев» его отделяет критическая оценка прошлого и настоящего. Однако он берет свои сведения и из летописи, и из фольклора, и из устной народной памяти. Он развивает отдельные мысли летописца и проникается духом народного поэтического творчества.

Свои суждения автор «Слова» не отделяет от общественного мнения. На это общественное мнение он постоянно опирается в своих оценках происходящего. Выразителем общественного мнения он себя и признает, стремясь передать свою оценку событий как оценку общенародную. Но при этом общественное мнение, которое он выражает, является общественным мнением лучших русских людей его времени.

Автор «Слова» в нормах феодального поведения, в кодексе дружинной морали, в идеологии верхов феодального общества находит лучшие стороны и стремится переосмыслить феодальные понятия. Он наполняет своим, патриотическим содержанием понятия «чести», «славы», «хвалы» и «хулы».

Автор «Слова» — сторонник сильной княжеской власти во имя обуздания произвола мелких князей, во имя

143

единства Русской земли. Все «Слово» проникнуто единым патриотическим настроением и единой патриотической идеей — идеей единства Русской земли. Призывом к этому единству и к твердой обороне Руси от «поганых», по существу, оно и является. Автор «Слова» и в этом явился человеком своего времени, глашатаем мнения лучших своих современников. Он творит идеи, потребность в которых живо ощущалась в его время. Он — око и ум народа. Он высказывает то, что должно быть высказано. Вот почему автор «Слова» неразрывен и со своей эпохой, его породившей.

Его подлинным героем является русский народ и Русская земля. Образ Русской земли центральный в «Слове». Автор представляет ее себе в широкой исторической перспективе, в образах ратных подвигов и мирного созидательного труда. Его произведение своими призывами к единению устремлено к будущему, полному для него светлых надежд, оно рисует картины печального настоящего и ищет корни этого настоящего в прошлом. Оно полно веры в будущее, скорби о настоящем, гордости прошлым и мудрого раздумья и над прошлым, и над настоящим, и над будущим, слитыми для него в едином образе Русской земли.

Кем был автор «Слова о полку Игореве»? Он мог быть приближенным Игоря Святославича: он ему сочувствует. Он мог быть и приближенным Святослава Киевского: он сочувствует также и ему. Он мог быть черниговцем и киевлянином. Он мог быть дружинником: дружинными понятиями он пользуется постоянно. Однако в своих политических воззрениях он не был ни «придворным», ни защитником местных тенденций, ни дружинником. Он занимал свою независимую патриотическую позицию. Его произведение — горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского населения.

* * *

Достиг ли призыв автора «Слова» тех, кому он предназначался? Можно предполагать, что в известной мере — да. Игорь Святославич отказывается от своих одиночных действий против половцев. В 1191 г. он организует целую коалицию против половцев. В походе, кроме Игоря Святославича, участвовали: Всеволод Святославич,

144

Мстислав и Владимир Святославичи, сыновья Святослава Всеволодовича Киевского, Ростислав Ярославич, сын Ярослава Всеволодовича, и сын Олега Святославича — Давид. Поход этот был неудачен, но самая организация его в таких масштабах, думается, не случайна.

Однако подлинный смысл призыва автора «Слова», может быть, заключался не в попытке организовать тот или иной поход, а в более широкой и смелой задаче — объединить общественное мнение против феодальных раздоров князей, заклеить в общественном мнении вредные феодальные представления, мобилизовать общественное мнение против поисков князьями личной славы, личной чести и мщения или личных обид. Задачей «Слова» было не только военное, но и идейное сплочение русских людей вокруг мысли о единстве Русской земли. Вот почему автор «Слова» так часто и так настойчиво к этому общественному мнению апеллирует. Эта задача была рассчитана не на год и не на два. В отличие от призыва к организации военного похода против половцев, она могла охватить своим мобилизующим влиянием целый период русской истории — вплоть до татаро-монгольского нашествия. «Суть поэмы, — писал К. Маркс в письме к Энгельсу, — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ»¹.

145

ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА И «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

История Ипатьевской летописи — важнейшей для изучения летописания XII в. — почти не исследована. Этому мешала и необычная сложность состава этого летописного свода конца XIII в., и отсутствие параллельных текстов. В общих чертах состав Ипатьевской летописи указан А. А. Шахматовым и несколько уточнен М. Д. Приселковым. В первой своей части это Киевский свод 1199 г. Рюрика Ростиславича, на который наложен Владимирско-Суздальский свод 30-х гг. XIII в. и Галицко-Волынская летопись конца XIII в. В Киевском своде 1199 г. отчетливо выделяется Черниговская летопись — как предполагает М. Д. Приселков, Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве», ставшего черниговским князем после смерти Ярослава Всеволодовича в 1198 г. «Указанными четырьмя летописными памятниками — Киевским сводом, доведенным до 1198 г., Черниговским, Галицко-Волынским, доведенным до конца XIII в. и Владимирским полихроном начала XIV в. исчерпывается, как кажется, число источников Ипатьевской летописи»¹.

В сложном по своему составу своде 1199 г. особый интерес представляют для нас семейные и личные княжеские

146

летописцы, обнаруженные в нем внимательным наблюдением М. Д. Приселкова¹. В скудных записях этих летописцев отмечены главным образом события семейной и личной жизни князей: рождение детей, браки, смерти, монашеские постриги, перемены княжения и изредка походы. Насколько предшествующее летописание общерусское было обширным по теме и исполнению, настолько это княжеское летописание оказалось узким по содержанию и несложным по выполнению. Однако в летописании княжеском —

личном и семейном — имеется и положительная сторона: это интенсивность исторического самосознания, сознание исторической ценности личной деятельности, стремление сохранить для потомства частности собственной биографии. Нас поражает сейчас распространенность этой заботы об историческом отображении собственной деятельности. И это новое явление, снижая общую тему летописания как летописания всей страны, было тем не менее закономерно и в известной мере целесообразно связано с общей децентрализацией русской жизни XII в., с углублением процесса феодализации.

Из семейных и родовых княжеских летописцев в Ипатьевской летописи мы должны прежде всего отметить семейную хронику Ростиславичей — братьев киевского князя Рюрика Ростиславича, заботливо включенную в Киевский свод Рюрика Ростиславича 1199 г. его составителем — игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем. Здесь были отмечены описания смерти и некрологи следующих князей: Святослава Ростиславича (под 1172 г.), Мстислава Ростиславича (под 1178 г.), Романа Ростиславича (под 1180 г.) и Давыда Ростиславича (под 1198 г.). «Некрологи ничего не сообщают о фактической стороне биографии умершего князя, о местных делах и отношениях, — пишет М. Д. Приселков, — а главным образом рисуют похвальные (всегда шаблонные) черты этих князей, как и полагается в некрологах»².

Значительно больше упорства в собирании сведений и в ведении записей ощущается в родовом летописце Игоря Святославича. Подробности семейных дел Игоря Святославича отмечены в Ипатьевской летописи последовательно и без пропусков.

147

Под 1151 г. отмечено рождение Игоря Святославича. Под 1173 г. отмечено рождение у Игоря сына Владимира; под 1176 г. — рождение сына Олега, под 1177 г. — рождение сына Святослава. Под 1188 и 1190 гг. отмечены браки детей Игоря и т. д. К 1198 г. относится последнее известие этого летописца — о смерти Ярослава Всеволодовича Черниговского и о вокняжении в Чернигове «благоверного князя Игоря Святославича».

Из родственников Игоря Святославича особо отмечены в его летописце события жизни его брата Всеволода, идеализированного «Словом о полку Игореве» («буй-тур»). Проникновение сведений о нем в Ипатьевскую летопись именно из летописца Игоря доказывается тем, что дважды летописец поясняет его как «Игорева брата». Так пояснен он под 1180 г. и под 1196 г., где отмечена смерть «брата Игоря» Всеволода Святославича и дан краткий некролог его: «во Олговичех всих удалее рожаемь, и воспитаемь, и возрастом, и всею добротою, и мужьственною доблестью, и любовь имеяше ко всем»¹. Некролог совпадает в общих чертах с общеизвестной характеристикой его в «Слове о полку Игореве». Отмечена в летописце Игоря и судьба Владимира Галицкого — сына Ярослава Осмомысла. Этого Владимира Ипатьевская летопись дважды отмечает как «шюрина» Игоря. Владимир, рассорившись с отцом, нигде не находил себе приюта, пока его не удержал у себя Игорь и не помирил с отцом.

Летописец Игоря Святославича включил в себя как составную часть летописец отца Игоря — Святослава Ольговича и летописец брата Игоря — Олега Святославича. Летописец Святослава Ольговича резко отличается от летописца Игоря Святославича своею большею подробностью, что может быть отчасти объяснено тем, что Святослав Ольгович был одно время великим князем Киевским. Сторонник Святослава Ольговича явно чувствуется в летописной статье 1146 г. Изяслав Давыдович идет на Святослава походом «похвалився». Сам Святослав отправляется против него «възря на Бога [и] на святую Богородицу, изииде в сретение ему в день четверток, месяца генваря в 16 день, бе же в ть день положение веригам святаго апостола Петра; и тако Бог и сила животворящаго хреста погна я». Интересно, что в сообщении

148

этом точно указано время; в другой записи 1146 г. передаются мысли Святослава Ольговича: «Святославу же бы из головы, любов иже [любо же] дати жену и дети и дружину на полон, любо голову свою сложити».

Личный летописец Святослава виден и в сообщении 1147 г. о смерти дядьки Святослава — Петра Ильича: «И бысть к велику дни на вербеницу, и ту преставися добрый старець Петр Ильичь, иже бе отца его мужь, уже бо от старости не можаше ни на конь всести, бе ему лет 90».

Под следующим, 1148 г., находится чисто семейная дата: «В то же время Ростислав Смоленский проси дчери у Святослава у Ольговича за Романа, сына своего, Смоленську; и ведена бысть из Новагорода, в неделю по водохрещях, месяца геньваря в 9 день». Под 1149 г. снова отмечено семейное событие Святослава Ольговича: «И ту к нему [к Юрию Долгорукому] приеха Святослав Ольговичь, на Спасошь [Спасов] день; и ту Святослав позва и к себе на обед, и ту обедавшие разъехашася. Въ утри же днь в неделю рано, въсходящю слнцю, родися у Святослава Ольговича дчи, нарекоша в крещение имя еи Марья».

Под 1149 г. отмечен перенос тела брата Святослава Игоря в усыпальницу черниговских князей — собор Спаса.

Семейные сведения Святослава Ольговича даны и под 1165 г., и под 1166 г. (дважды).

Все эти и иные известия летописца Святослава Ольговича были включены в летописец его сына Игоря Святославича, что видно из того, что они подверглись соответствующей обработке. Так, например, к известию летописца Святослава Ольговича о княжеском съезде 1159 г. в Лутаве было добавлено и имя Игоря: «И сняшася в Лутаве Изяслав и Святослав Ольговичь и сын его Олег, *Игорь*, и Всеволодимиричь Святослав и бысть любовь велика». Ясно, что в данном случае мы имеем дело с позднейшим добавлением, а не с реальным фактом, так как Игорю в год съезда было всего лишь 8 лет и принимать в нем участие он не мог. В состав летописца Игоря Святославича входил, кроме летописца его отца Святослава Ольговича, и летописец его брата Олега Святославича. Наличие особого летописца Олега Святославича доказывается тем, что в ряде его известий Игорь Святославич определен как брат Олега (1170 г. — «Олег Святославичь,

149

Игорь брат его»; 1179 г. — «потом же Игорь [брат] его седе в Новегороде Северьскомь» и т. д.) и рядом сведений личного характера: о рождении у Олега сына Святослава (1167), о смерти его жены (1167 г.) и о победе его над Боняком (1167 г.).

Таким образом, в составе Ипатьевской летописи явственно различается обширный родовой летописец Игоря Святославича, включивший в свой состав семейные летописцы его родственников. Летописец этот — самый обширный из всех личных, семейных и родовых летописцев, сохранившихся в составе русских летописей XII—XV вв.

* * *

Отрицая существование отдельной и систематической Черниговской летописи, М. Д. Приселков¹ обращает внимание на то, что «Летописец Святослава Ольговича, может быть, в пору его княжения в Чернигове, делал попытки выходить из рамок личного Летописца этого князя, превращаться в Черниговское летописание»². Доказательством этого стремления «Летописца Святослава Ольговича» стать «Летописцем» Чернигова М. Д. Приселков считает включение в его состав «Повести об убиении» брата Святослава — Игоря Ольговича. И действительно, «Повесть об убиении Игоря Ольговича» явственно обнаруживает в своей основе три отдельных рассказа, один из которых, выдержанный в житийных тонах, был тесно связан своим возникновением с Святославом Ольговичем, выдвинувшим убийство Игоря как главное обвинение против своих противников —

Мономаховичей. Для целей этой борьбы Святослав делает попытку канонизации Игоря, торжественно переносит его тело (в летописи «мощи») в Чернигов в церковь Спаса и заказывает его житие, внешне подражающее житию Бориса и Глеба. Кажется бесспорным, что оно было включено в его летопись.

Однако «Летописец Святослава Ольговича» включил в свой состав не только родовые известия Ольговичей: «...начиная с 1120 г. (1120, 1123, 1140, 1142, 1143 и др.) встречаем ряд известий, касающихся черниговских князей

150

и епископов, упоминания о которых не могли входить в задачу Летописца Святослава Ольговича как семейного или личного Летописца этого князя. Тогда нельзя не принять в соображение, что эти черниговские известия, выходящие за рамки Летописца Святослава Ольговича, кратки и приведены без точных дат, как позднейшие припоминания, т. е. подтверждают наше предположение о том, что Летописец Святослава Ольговича во время княжения его в Чернигове пытался до известной меры превратиться в черниговское летописание»¹.

Однако если уже «Летописец Святослава Ольговича» делал попытки включения в свой состав летописания Чернигова, пытался выйти из пределов летописания только семейного, то можем ли мы предположить, что «Летописец» его сына Игоря Святославича, включивший и «летописец» отца Игоря, и «летописец» брата Олега, оставался в узких пределах родового княжеского летописца? В самом деле, уже самая форма больших воинских повестей, входивших в состав «Летописца» Игоря (таких, как рассказ Ипатьевской летописи о походе 1185 г.), исключает предположение о том, что «летописец» Игоря строго держался рамок родовых известий.

Внимательное наблюдение за текстом Ипатьевской летописи показывает, что именно «Летописец» Игоря, а не свод 1199 г., как думает М. Д. Приселков, включил в свой состав летописание Переяславля Русского. В самом деле, сличение текстов обоих летописных рассказов о походе Игоря Святославича 1185 г. на половцев обнаруживает, что в основе рассказа Ипатьевской летописи, то есть в конечном счете летописца Игоря Святославича, лежит изложение Переяславской летописи².

Кроме того, сличение записей, вошедших в состав Ипатьевской летописи из Переяславского летописца с соответствующими известиями Лаврентьевской летописи, включенными туда из того же Переяславского летописца, ясно говорят, что переяславские записи подвергались основательной переработке еще в летописании Ольговичей, упразднившим наиболее неблагоприятные для Ольговичей моменты.

151

Переяславль Русский, или Южный, входил как часть в наследство Всеволода Ярославича и прочно удерживался во владениях этой отрасли княжеского рода. Несколько раз Переяславль Русский переходил от Мономаховичей к Мстиславичам и обратно, пока не достался сыну Юрия Долгорукого — Глебу. В 1169 г. там сел двенадцатилетний сын Глеба — Владимир. Владимирско-суздальские князья прочно удерживали Переяславль Русский в сфере своего влияния как оплот их политики на юге Руси. Сами князья пограничного со степью Переяславля вели упорную и многолетнюю войну со степными кочевниками и были заинтересованы в прекращении губительных междоусобных войн Мономаховичей и Ольговичей, хотя по большей части становились на сторону первых, осуждая недостаток военных талантов Ольговичей черниговских и их обычное пользование половецкою помощью.

Резкая критика Ольговичей была снята в Ипатьевской летописи, свидетельствуя тем самым, что «Летописец» Переяславля Русского, доведенный до 1187 г. — года смерти переяславского князя Владимира Глебовича, был затем использован не в своде Рюрика Ростиславича, а в предшествующем ему летописании Ольговичей — в Летописце Игоря Святославича.

Рассмотрим этот материал, доказывающий использование «Летописца» Переяславля Русского именно в летописании Ольговичей.

Под 1136 г. в Ипатьевской летописи заметно смягчение враждебного отношения к Ольговичам «Летописца» Переяславля Русского; пропущен ряд неблагоприятных известий об Ольговичах, сохранившихся в Лаврентьевской: «В то же лето почаша с Олговичи рать имети... и многы пакости створиша», и дальше: «И паки крамола бысть в них немала: шедши бо ти же Олговичи с Половци...»

Под 1138 г. пропущено в Ипатьевской летописи сохранившееся в Лаврентьевской из «Летописца» Переяславля Русского другое известие о крамолах Ольговичей: «Того же лета послаша Олговичи по Половци... и всхоте (Андрей Боголюбский. — *Д. Л.*) лишиться Переяславля и тако бысть пагуба посулцем ово от Половецъ, ово же от своих посадник, и тако уведевше Олговичи, яко Андрееви не бысть помощи от братье и лестными словесы, акы бес печали и створиша...» Отсутствует под 1138 г. определение количества половцев — «множество»,

152

поведенных Олговичами, и упоминание об их намерении идти к Киеву.

Под тем же 1138 г. в перечислении войск, собранных против Ольговичей Ярополком, отсутствуют «кыяне».

Под 1139 г. частично пропущен, частично переработан текст, резко направленный против Ольговичей в изображении начала княжения Всеволода Ольговича.

Под 1140 г. пропущен текст «Летописца» Переяславля Русского, враждебный Всеволоду Ольговичу: «Седе Олговичъ в Кыеве и нача замышляти на Володимериче и на Мстиславиче, надеяся силе своей, и хоте сам всю землю держати с своею братиею, искаше под Ростиславом Смолинъска, и под Изяславом Володимеря» (Лавр. лет., под 1139 г.).

Под 1141 г. пропущено заявление новгородцев, отказавшихся принять Ольговичей: «а мы Олговича не хочем» (Лавр. лет., под 1141 г.).

Под 1142 г. пропущена порочная мотивировка действий Игоря Ольговича, которого Ольговичи стремились изобразить святым: «враг же роду хрестьянску дьявол ражже сердце Игореву Олговичю» (Лавр. лет., под 1142 г.).

Под 1146 г. внесена фактическая поправка в известие о Святославе Ольговиче — отце Игоря Святославича. По «Летописцу» Переяславля Русского Святослав вбегает с остатками дружины в *Новгород Северский* (Лавр. лет., под 1146 г.); в Ипатьевской же летописи Святослав вбегает в *Чернигов* «с малом дружины». Затем Святослав посылает «по своим братьям», ведет переговоры с Владимиром и Изяславом и только после этого: «а сам еха Курьску уставливать людей, и оттуда Новугороду приде» (Ипат. лет.).

Также переработано в Ипатьевской летописи и сообщение «Летописца» Переяславля Русского о приходе сына Юрия Долгорукого Ростислава Гюргевича, рассорившегося с отцом, к Изяславу. В «Летописце» Переяславля Русского главной причиной прихода Ростислава выставляется нежелание его соединиться с Ольговичами: «В то же лето поиде Ростислав Гюргевичъ и — Суждала с дружиною своею в помочь Олговичем на Изяслава Мстиславича, послан от отца своего. И здумав Ростислав с дружиною своею река: «любо си ся на мя отцю гневати. Не иду с ворогом своим: то суть были ворози и деду моему и строем моим, но поидем, дружино моя, к Изяславу, то ми есть сердце свое, ти ти дасть ны волость»

153

(Лавр. лет., под 1148 г.). В Ипатьевской летописи всякое упоминание вражды Ростислава и Ольговичей снято, оставлены лишь корыстные расчеты самого Ростислава. Ростислав говорит: «отець мя переобидил и волости ми не дал; и пришел есмь нарек Бога и тебе, зане ты еси старей нас в Володимирих внуцех, а за Рускую землю хочу страдати, и подле тебе ездити».

Ряд исправлений и вставок в «Летописец» Переяславля Русского имеется в Ипатьевской летописи под 1151 г.

Так, например, при перечислении погибших в битве на Руту добавлено: «и ту убиша Володимира князя Давыдовича Черниговского, доброго и кроткого...». Явно разбивает текст вставка в «Летописец» Переяславля Русского из «Летописца Святослава Ольговича» (отца Игоря Святославича) к словам Переяславского летописца: «Дюрдий же остави сына своего Глеба в Городци, а сам иде Суждалю» (Лавр. лет.) прибавлено: «из Городка. Гюрги же туда иде на Новгород на Северский к Святославу Олговичю, он же прият и с честью великою, и повозы да ему» (Ипат. лет.). Только после этого вновь повторено в виде разъяснения: «и поиде Гюрги Суждалю». Немного ниже вновь вставка текста из «Летописца Святослава Ольговича»: «Том же лете яша Поло(т)чане Рагъволода Борисовича князя своего, и послаша Меньску, и ту и держаша у велице нужи, а Глебовича к себе уведоша; и прислашася Полотъчане к Святославу Олговичю *с любовью, яко имети (его. — Д. Л.) отцемъ себе и ходити в послушаньи его, и на том целоваша хрест...*» (Ипат. лет.).

Внимательному пересмотру подверглись в Ипатьевской летописи все сведения «Летописца» Переяславля Русского о внешних сношениях Святослава Ольговича. Так, например, в сообщении о совещании Изяслава с Святославом Ольговичем 1154 г. добавлено: «яко же бы Изяславу у Киеве седети, а Святославу у Чернигове» (Ипат. лет.). Основательно пересмотрены и отношения Святослава Ольговича к Юрию Долгорукому. Ср. вставку под следующим, 1155 г.: «Тогда же Дюрги иде на снем с Изяславом Давыдовичем и с Святославом с Олговичем; и ту сняшася в Лутавы. Тогда же Гюрги вѣда Изяславу Корческ, а Святославу Олговичю Мозырь, и ту уладивъся с нима иде...» (там же).

Под 1159 г. в Ипатьевской пропущен неудобный в летописании Ольговичей рассказ о том, как черниговский епископ Антоний выбросил на съедение псам тело умершего

154

в Чернигове киевского митрополита Константина — противника Климента Смолятича, на чьей стороне находились черниговские Ольговичи и черниговская епископия.

Дальнейшее изложение летописания Ольговичей в меньшей мере пользуется «Летописцем» Переяславля Русского, заменяя его своим изложением, в котором последовательно проводится точка зрения гражданского мира между представителями различных княжеских родов. Так, например, под 1161 г. с точки зрения Святослава Ольговича подробно изложена история его ссоры с сыном Олегом, ложный донос, речи доносчиков и вынужденная измена Святослава князю Ростиславу: «И тако нужею поведеса Святослав от Ростиславли любви к Изяславу». Затем в описании союзного похода Изяслава на Ростислава отмечено: «а Святослав не иде и-Щернигова» (Ипат. лет.). Немного ниже снова подчеркнута миролюбивая политика Святослава: «Святослав же слаше и-Щернигова к Изяславу, веля ему мир взяти» (там же). Ссора Андрея Боголюбского с епископом Леоном (1162 г.) относительно соблюдения постных дней описана с сочувствием к Леону. Леон бежит в Чернигов к Святославу Ольговичю: «Святослав же утешив добре пусти к Киеву к Ростиславу».

Число примеров тенденциозной переработки «Летописца» Переяславля Русского в Ипатьевской летописи и тенденциозного, в пользу Ольговичей изложения, легко могло бы быть увеличено. Приведенный материал ясно доказывает, что «Летописец» Переяславля Русского был включен первоначально в состав летописания Ольговичей, а не в летописный свод Ростиславичей 1200 г.

«Летописец» Переяславля Русского кончается некрологом Переяславскому князю Владимиру Глебовичу под 1187 г. Следовательно, включение его в состав летописи Ольговичей могло произойти не ранее этого времени, но не могло произойти и значительно позднее, так как обработка повести о походе Игоря Святославича в 1185 г.

хранит следы свежей памяти о несчастных событиях Игоря поражения. Время включения «Летописца» Переяславля Русского в летописание Ольговичей определяется последней записью в нем, касающейся вокняжения Игоря Святославича в Чернигове в 1198 г. Таким образом, «Летописец» Переяславля Русского был включен в состав летописания Ольговичей между 1187 и 1198 гг.

155

Предполагаем, что вокняжение Игоря Святославича в Чернигове побудило его озаботиться составлением не личного княжеского летописца, а обширного общерусского летописного свода, куда вошли «Летописцы» Святослава Ольговича (отца Игоря), Олега Святославича (брата Игоря), Святослава Всеволодовича Киевского, житие Игоря Ольговича, повесть о походе Игоря Святославича 1185 г. и, главное, — «Летопись» Переяславля Русского (Летописец Владимира Глебовича). Тем самым опровергается мнение М. Д. Приселкова о том, что «Летописец княжеский Переяславля Русского был взят в качестве одного из дополнительных источников при составлении того Киевского свода, который теперь составляет первую часть Ипатьевской Летописи»¹.

Если таков состав летописного свода Игоря Святославича, тогда нам станут ясными основные, ведущие идеи его, разительным образом совпадающие с общей политической практикой Игоря Святославича и Святослава Всеволодовича Киевского, клонившейся, в противоположность предшествующей политике Ольговичей, к активному наступлению против половцев и к примирению княжеской вражды. Какова же была политическая позиция Игоря Святославича?

* * *

В 1173—1180 гг. на Киевском столе попеременно, прогоняя друг друга, сидят: Рюрик Ростиславич, Ярослав Изяславич Луцкий, Святослав Всеволодович Черниговский, Роман Ростиславич, Святослав Всеволодович, Рюрик Ростиславич. С 70-х же гг. начинается новая волна половецких набегов — «рять без перерыва». Натиск половцев разбивается об ответные наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий» («живой») огонь, колоссальные передвигавшиеся «на возу высоком» луки-«самострелы», тетиву которых натягивало более 50-ти человек.

156

Под влиянием усилившихся в 70-е и 80-е гг. XII в. набегов половцев идея необходимости объединения Руси вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства.

В 80-х гг. XII в. возникает мираж объединения перед окончательным распадом Руси на ряд отдельных земель-княжеств, связь которых в единое целое фактически не могла уже осуществиться. На юге Руси состоялось соглашение Ростиславичей и Ольговичей. Святослав Всеволодович получает «старейшинство и Киев» и 13 лет сидит на Киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха»¹.

Новое соотношение сил принесло прежде всего перелом в политике Ольговичей, постоянно пользовавшихся половецкой помощью в своих походах на соседние русские княжества² и теперь ставших искать союза с Ростиславичами и Мономаховичами. В этом переломе политики Ольговичей значительную роль сыграл Игорь Святославич. В самом деле, еще в 1180 г. половцы деятельно помогали Игорю Святославичу Новгород-Северскому. Во время военного розмирья Святослава Всеволодовича Черниговского со

Всеволодом Суздальским Игорь и брат его Ярослав оставались в Чернигове беречь его от Ростиславичей. Не видя ниоткуда нападения, Игорь и Ярослав сами решили напасть на смоленских князей и направились к Друцку, «поемше с собою Половце», на союзника Ростиславичей Глеба Рогволодовича. На помощь Игорю выступили Всеслав Василькович Полоцкий, Брючислав Витебский и др. «с толпами Ливов и Литвы». Так, вследствие союза полоцких князей с черниговскими, в одном стане очутились половцы вместе с Ливами и Литвою, варвары черноморские с варварами прибалтийскими³. Однако на помощь Глебу явился Давид Смоленский со всеми полками, и обе стороны не

157

решались напасть друг на друга. Только приход Святослава Всеволодовича позволил Ольговичам предпринять активные действия против своих врагов.

Вместе с тем и Рюрик двинулся из Киева в Белгород и отправил войско против Игоря Святославича, который со своими деятельными союзниками — половцами, ханами Кончаком и Кобяком — залег у Долобска. Половцы лежали, не сторожась, надеясь на свою силу и на Игорев полк. Результатом этого небрежения явилось их страшное поражение. Много половцев утонуло в Чарторые, другие были перебиты и пленены. В этой битве убили половецкого князя Козла Сотановича, Елтута, Кончакова брата, захватили в плен двух кончаковичей, и Тотура, и Бякобу, и Кунячюка богатого, и Чюгая.

Игорь, видя поражение своих половцев, вскочил самдруг с ханом Кончаком в ладью и успел уплыть на Городец к Чернигову. Поражение Игоря Святославича летописец рассматривает как поражение половцев: «И тако поможет Бог Руси, и возвратишася во свояси, и приемше от Бога на поганья победу, и приехаша к Рюрикови с победою» (Ипат. лет., под 1180 г.)¹.

Одержав победу над союзными Ольговичам половцами во главе с их «вождем» Игорем Святославичем, Рюрик своеобразно воспользовался ее плодами. Он не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы удержать в своей власти Киев. Он оставил на великом княжении Киевском — Ольговича, Святослава Всеволодовича, а себе взял остальные города киевской области.

Киев был уступлен Рюриком Святославу на условиях, о которых мы можем лишь догадываться: Святослав целовал крест Рюрику о военном союзе против половцев — извечных союзников Ольговичей. «Рюрик же, — говорит летописец, — аче победу возма, нь ничто же горда учини, но возлюби мира паче рати, ибо жити хотя в братолюбьи, паче же и хрестьян доля пленяемых по вся дни от поганых

158

и пролетья крови их не хотя видити» (Ипат. лет., под 1180 г.).

Начиная с этого времени Святослав и Рюрик совместно организуют ряд степных походов на половцев. Резко меняет свои дружественные отношения к половцам на враждебные и Игорь Святославич. Святославу и Рюрику удается широко организовать союзные отношения русских князей в отпор усилившемуся нажиму степи. Вслед за союзом Святослава и Рюрика был заключен мир и со Всеволодом Большое Гнездо. Антиполовецкая политика Святослава и Рюрика примирила княжеские раздоры. Всеволод возвратил Святославу его сына Глеба, которого держал в заключении. Мир Мономаховичей и Ольговичей был закреплен брачными союзами: «Князь Киевский Святослав Всеволодичь ожени 2 сына, за Глеба поя Рюриковну, а за Мьстислава Ясыню из Володимеря Суждальского, Всеволожоу свесть; бысть же брак велик» (Ипат. лет., под 1182 г.).

Таким образом, одно из условий, на котором Святослав Всеволодович получил великое княжение киевское, было обязательство активной политики против степных кочевников. Сам Святослав Всеволодович мог держаться в обессиленном и обедневшем Киеве, только примиряя интересы враждующих княжеств, и он деятельно служит общерусской оборонительной политике. Сразу же по своем вокняжении — в 1182 г. — он

помогает Всеволоду Суздальскому идти на волжских болгар, говоря: «Дай Бог, брате и сыну, во дни нашемь нам створити брань на поганья» (Ипат. лет., под 1182 г.).

Сам Игорь Святославич обращает всю свою неукротимую энергию против половцев, он рвет со своей прежней политикой, раскаивается в ней, объявляет себя врагом своих прежних союзников — хана Кобяка и хана Кончака. Вот почему ни один половец не заслужил в летописном своде Игоря Святославича таких отрицательных отзывов, как бывший союзник Игоря — хан Кончак, с которым он когда-то спасся в лодке.

Летописец Игоря Святославича говорит о нем в таких выражениях: «Того же лета, месяца августа, придоша иноплеменьници на Рускую землю, безбожнии Измалтяне, оканьнии Агаряне, нечисти ищадыя делом и нравом сотониным, именемь Кончак, злу началник правоверным крестьянъм, паче же всим церквам, идеже имя божие славиться, сими же погаными хулиться, то не реку единемь крестьяном, но и самому богу врази: то аще кто

159

любить врагы божия, то сами что примуть от бога? Сий же богостудный Кончак, со единомысленными своими приехавше к Переяславлю, за грехы наша, много зла створи крестьяном, оних плениша, а иныи избйша, множайшия же избйша младенецъ» (Ипат. лет., под 1179).

Вторично отрицательная характеристика Кончаку дана в «Летописце Игоря Святославича» под 1184 г., когда «оканьный и безбожный и треклятый Кончак» отправляется походом на Русь.

Вот почему и сам Игорь Святославич, знаменуя перелом в своей политике, каялся — и предавал свое покаяние обнародованию в своем «Летописце». В описании похода Игоря Святославича 1185 г. автор вкладывает в уста Игоря покаянный счет своих княжеских преступлений, поражающий нас своею необычайною смелостью: «помянух аз грехы своя пред господемь богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьянстей, яко же бо аз не пощадех хрестьян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подьяша безвиньнии хрестьяни, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своя, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшую, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнемь от жизни сея искушение приемши... и та вся сотворив аз, рече Игорьь...» и т. д. (Ипат. лет., под 1185 г.).

Вторично кается Игорь, находясь в плену у хана Кончака: «аз по достоянью моему восприях победу от повеленья твоего, владыко Господи, а не поганьская дерзость обломи силу раб твоих; не жаль ми есть за свою злобу прияти нужная вся, их же есть приял аз» (Ипат. лет., под 1185 г.). Вернувшись из половецкого плена, Игорь не мог занять позицию безупречного героя. Он полностью признает свою вину. Настроение покаяния, раскаяния — по существу политического, но облеченного в приличествующие религиозные формы, выдвижение новых, надындивидуальных политических идей — было естественным следствием того неловкого положения, в которое попал Игорь по возвращении из плена. Эта позиция Игоря целиком отвечала интересам Святослава Киевского, пытавшегося неоднократно сколотить коалицию русских князей для отпора половцам. Именно это же могло быть

160

причиной «разрешения» со стороны Игоря на написание «Слова о полку Игореве» и летописной повести о своем несчастном походе.

Отсюда понятны также и многие особенности летописного свода Игоря Святославича. Понятно, почему он привлек летописца Владимира Глебовича, внимательно описавшего взаимоотношения русских и половцев, степные походы русских. Понятен и тот повышенный интерес, который выказывает летописец Игоря к военным операциям против

степи и пересматривает всю политику Ольговичей, удаляя из предшествующего летописания Ольговичей следы дружественного отношения к половцам и подчеркивая миролюбие Ольговичей в междукняжеских спорах.

Вся русская история рассматривалась в «Летописце Игоря Святославича» как борьба с безбожными «агарянами» — половцами. Вот почему под 1187 г. летописец Игоря дает описание взятия «агарянами» Иерусалима, связывая его с общей борьбой европейских народов со степными народами-язычниками.

Так же, как и поражению Игоря, взятию Иерусалима предшествовало затмение: «тма бысть по всей земле, якоже дивитися всим человеком, солнце бо погибе, а небо погоре облакы огнезарными. Таковая бо знамения не на добро бывають, в той бо день месяца взят бысть Ерусалим безбожными Срацины» (Ипат. лет., под 1187 г.). Летописец говорит дальше о том, что предвестие несчастья касается только той земли, где затмение видно. Затмение 1187 г. было видно в Галиче, но не было видно в Киевской стороне. И сразу же после рассуждений о затмении летописец сообщает о смерти галицкого князя Ярослава (Осмомысла «Слова о полку Игореве»). Это рассуждение летописца невольно наводит на сопоставление с рассказом «Слова о полку Игореве» о затмении перед походом Игоря: солнце тьмою заслоняет от Игоря воинов его, грозя гибелью им, а не Игорю.

Но пленение Иерусалима, вызывая летописца на мировые сопоставления, подчеркивая всеобщность наступления язычников на тесный мир христиан, не обезнадеживает его. Как «исповедають» книги Царств, бог в свое время возвратил из плена скрижали Завета и «Богоотець Давыд веселия исполнися, скакаше играя». Вот почему и нам, «укореным сущим» и принимающим позор от беззаконных тех Агарян, следует чаять «божия благодати

161

и лика преславна». Это рассуждение летописца Игоря опять-таки намекает на поражение русских 1185 г., на пленение Игоря и на счастливое возвращение его из плена, когда ему ярко светило солнце.

Итак, в центре внимания «Летописца Игоря Святославича» стояла общерусская борьба с половцами. Именно поэтому «Летописец» Игоря включил в свой состав Летопись Переяславля Русского, внимательно следившую за всей историей русско-половецких отношений. Поход Игоря Святославича 1185 г., в котором участвовали войска Владимира Глебовича Переяславского¹, исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения его летописца к летописанию Игоря Святославича. Это Летописание Переяславля Русского было переработано, как мы видели выше, «Летописцем Игоря Святославича» в духе примирения Ольговичей и Мономаховичей. Идейное обоснование необходимости этого примирения составляет замечательную особенность «Летописца» Игоря. Именно ради этого в «Летописце» Игоря к черниговской «повести об убиении» Игоря была, по-видимому, присоединена переяславская версия повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича, чья кровь, павшая на Киевского князя, мешала примирению двух основных враждующих княжеских группировок: Мономаховичей и черниговских Ольговичей. Эта переяславская «Повесть об убиении» Игоря Ольговича, составленная при дворе переяславского епископа Ефимия, заинтересованного в примирении Изяслава Мстиславича и Святослава Ольговича, стремилась изобразить убийство Игоря Ольговича как несчастный случай, как дело рук киевской толпы, совершившей его вразрез с желаниями Изяслава. Как рассказывает повествователь, брат Изяслава — Владимир

162

собственным телом прикрыв Игоря Ольговича, принимая на себя удары убийц. Сам Изяслав безутешно плачет «по Игоре»; дружина утешает его и свидетельствует его очевидную непричастность к преступлению.

Таким образом, создание Игорем Святославичем общерусского свода идет под знаком примирения враждующих князей Ольговичей, Ростиславичей, Мономаховичей и

активизации борьбы на внешних границах Руси. Узкое летописание Ольговичей прерывает свой тип родового, личного, семейного летописания и пытается вернуться на широкую дорогу общерусского летописания.

* * *

Объединительные тенденции отразились не только в летописании Игоря Святославича. Именно в 80-х гг. XII в. летописание Владимира Залесского привлекает в свой состав известия летописей Переяславля Русского, стремясь расширить его и превратить его в летописание общерусское¹. Именно в 70—80-х гг. новгородское летописание использует какую-то киевскую летопись, стремясь охватить и события южной Руси².

Тенденции черниговского летописания Игоря Святославича совпадают, кроме того, с идейным содержанием составленного во второй половине XII в. в Чернигове «Слова похвального на перенесение мощей Бориса и Глеба»³. Культ князей братьев Бориса и Глеба всегда был национальным общерусским культом, связанным с объединительными тенденциями русской жизни. В нем находили себе опору выступления против междоусобных распрей князей и печалования церкви о целостности Русской Земли. Активизация этого культа в Чернигове во второй половине XII в., думается нам, находится в неразрывной связи с новым направлением политики Ольговичей. На примере святых братьев черниговский епископ, автор «Слова похвального», избличает междоусобия князей — своих современников.

Составитель «Слова похвального» скорбит о братоубийственных

163

войнах современных ему князей, обличает их за призыв к себе на помощь половцев, возмущается нарушениями крестных целований. Автор — черниговец — ссылается в своем «Слове» на пример черниговского князя Давыда Святославича, который держал свое слово и переносил обиды, желая избежать междоусобиц. Именно поэтому прожил он долго — до 90 лет — и умер как святой: «бог послал ангела в виде голубя за его душой».

Обращаясь к современным князьям, автор «Слова похвального» говорит им: «Вы же бо слова брату стерпети не можете и за малу обиду¹ вражду смертоносную въздвижете, помощь приемлете от поганых на свою братью»². Приведя в пример княжеское братолюбие Бориса и Глеба, автор обращается к своим современникам: «Сима поревнуите, сею образ имейте, сима накажетесь»³.

«Слово похвальное на перенесение мощей Бориса и Глеба» исключительно по резкости обличения и, конечно, не могло бы быть произнесено в Чернигове, если бы общие тенденции его не совпадали с идейными устремлениями Ольговичей черниговских.

Предшествующее изложение, думается нам, убедительно показывает, что автор «Слова о полку Игореве» выразил наиболее прогрессивные стороны идейного движения своего времени. Автор «Слова» находится не вне своей эпохи — он тесными идейными узами связан с передовыми устремлениями тогдашней политической мысли.

Замечательно, что ближе всего идеи «Слова о полку Игореве» подходят к той политической концепции, которая легла в основу летописного свода Игоря Святославича.

Из двух летописных версий о походе Игоря Святославича 1185 г. — Ипатьевской и Лаврентьевской — «Слово о полку Игореве» отражает ту версию, которая заключена в Ипатьевской летописи и через нее восходит к своду Игоря Святославича. Прежде всего и «Слово о полку Игореве», и Ипатьевская летопись одинаково ведут счет

164

дням, дают общую хронологическую схему похода, резко отличную от версии Лаврентьевской летописи, основанную на рассказе летописца Владимира Глебовича и, по-видимому, более близкую к истине.

Анализируя хронологическую схему версии Лаврентьевской летописи, М. Д. Приселков пишет: «версия, изложенная в летописце Владимира Глебовича, правильна: 1-го мая днем перешли Донец, 2-го мая Игорь подошел к Осколу; 3 и 4 мая ждал Всеволода; 5 мая — победа Игоря; 6, 7, 8 мая — стояние на вежах; 8 мая войско Игоря было окружено; 9, 10 и 11-го шла перестрелка, а 12-го мая в воскресенье — поражение и гибель»¹.

Иное в Ипатьевской летописи: «По летописцу Игоря, прежде всего выходит, что никаких шести дней промедления (три дня веселия и три дня перестрелки), давших половцам время скопить силы для сокрушающего удара, не было, так как вся операция (и победа и гибель) закончилась в три дня»². Отсюда в Ипатьевской летописи путаница и неясность датировки событий. Соединившись в пятницу, Игорь и Всеволод пошли к реке Сальнице, где узнали о близости половецких сил, и «через ночь» на следующее утро, но снова в пятницу, встретились с половецкими полками.

Рядом остроумных соображений М. Д. Приселков доказывает, что датировки Лаврентьевской летописи ближе к истине. Ипатьевская летопись тенденциозно (добавим от себя — в пользу Ольговичей) искажала не только ход событий, но и расстановку половецких сил³.

Не было бы ничего удивительного, если бы «Слово о полку Игореве» совпадало с правильной версией похода Игоря, но совпадение хронологической схемы «Слова о полку Игореве» с неправильной и тенденциозной схемой Игоря «Летописца» неопровержимо доказывает, что автор «Слова о полку Игореве» вынужден был считаться с официальной черниговской версией несчастных событий похода 1185 г. «...Изложение автора «Слова», — пишет М. Д. Приселков, — находится в явной связи с изложением обстоятельств этого похода в летописце Игоря, т. е. оба эти произведения защищают уже известную

165

нам версию похода, исходившую от княжеского двора Игоря»¹.

Можно предположить, что автор «Слова о полку Игореве» был хорошо знаком с летописью своего князя — Игоря Святославича. Он оперирует на основании этой летописи сведениями об Олеге Гореславиче. Как указывает М. Д. Приселков², автор «Слова» знал «Повесть временных лет» в значительном сокращении, что можно объяснить только тем, что в его руках находилась Черниговская летопись, где объем сведений, почерпнутых из «Повести временных лет», был далеко не полон. Отсюда, указывает М. Д. Приселков, такие неточные исторические сведения, как, например, известные слова автора «Слова о полку Игореве» о смерти Изяслава: «С тоя же Каялы Святоплькь полелея отца своего между угорьскими иноходьцы ко святей Софии к Киеву»³. М. Д. Приселков предполагает ошибочным обычное натянутое толкование «отца своего» в смысле «своего тестя» и считает вероятным, что автор «Слова» знал рассказ о сражении 1078 г., в котором погиб Изяслав, как и всю «Повесть временных лет» в сокращении, где подробности погребения Изяслава, например, были опущены и изложены в «Слове» автором в своем собственном толковании на черниговский лад: всех князей Чернигова хоронили в главной церкви Чернигова, и отца хоронил старший сын; поэтому он заставляет Святополка погребать Изяслава в Софии, главной церкви Киева, не зная, что в Киеве не всех князей хоронили в главной церкви⁴.

Предполагая, что «Летописец Игоря Святославича» придерживался какой-то своей черниговской версии, М. Д. Приселков был недалек от истины, и здесь мы должны перейти к одной из самых важных частей нашей работы о «Летописном своде» Игоря Святославича. Дело в том, что ни М. Д. Приселков, ни его предшественники, обратившие

внимание на несоответствие этого места «Слова о полку Игореве» обычному тексту «Повести временных лет», как он читается в Лаврентьевской

166

и Ипатьевской летописи, — М. Максимович¹, А. С. Орлов², Н. К. Гудзий³, В. Ф. Ржига и С. К. Шамбинаго⁴, Г. Шторм⁵, А. К. Югов⁶ и др. — не обратили внимание на новгородскую версию похорон Изяслава именно в храме Софии в Киеве. На эту новгородскую версию обратил мое внимание в частном письме артист Московского Художественного театра Иван Михайлович Кудрявцев. Это наблюдение Ив. М. Кудрявцева показалось мне настолько важным, что я опубликовал письмо в виде отдельной заметки в 1949 г.⁷

В Софийской I летописи читается: «Того же лета убиен бысть Изяслав Ярославичь с Борисом Вячеславичем у града Чернигова ту же и воевода его побиша: привели бо бяше половцев на Русьскую Землю. И положиша Изяслава в святей Софии в Киеве, и бысть княжения его 24 лета». Сходный текст читается под тем же годом и в Новгородской V летописи. Ясно: текст «Слова о полку Игореве» в данном случае менять не следует, тем более что Изяслав погиб в той же битве, что и Борис Вячеславич, о котором говорится в «Слове» — он погиб в одной битве с Борисом Вячеславичем, и, как выясняется по летописям Новгорода, обвинен был ими в том, что он навел на Русьскую Землю половцев (это и объясняет то, почему смерть Бориса Вячеславича в «Слове» считается «судом Божиим» над ним).

В «Слове о полку Игореве» есть и еще одно место, которое, очевидно, может быть объяснено только исходя из того, что история XI в. была известна автору «Слова» по новгородскому летописному источнику. Коснемся этого места подробно.

Выше мы уже видели, что, по «Слову», Всеслав Полоцкий бежит из Белгорода, скрывшись от киевлян в «синей мгле», что совпадает со сведениями «Повести временных

167

лет», где он также бежит «утаився» от киевлян «бывши ночи». Следующая затем фраза «Слова» не может быть объяснена из обычного «киевского» текста «Повести временных лет»: «утрѣже вазнистри кусы» (по Екатерининской копии и сходно в первом издании). Общепринятое в настоящее время понимание «утрѣ же вазни с три кусы» (то есть схватил, добыл удачу с трех попыток) в связи с последующим «отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу» находится в противоречии с текстом «Повести временных лет»: Всеслав, согласно киевскому тексту «Повести временных лет», бежал из Белгорода в Полоцк, в Новгороде же появился за полтора-два года перед тем.

Разгадка этого странного для автора «Слова» анахронизма заключается в том же самом тексте Софийской I летописи (и сходных с нею), в котором Ив. М. Кудрявцев нашел текст, оправдавший рассказ о похоронах Изяслава у святой Софии в Киеве.

В Софийской I, в Новгородской I младшего извода в результате дублирования известий, получившегося от соединения новгородских летописей и киевской «Повести временных лет» с различной хронологической сетью, Всеслав трижды появляется в Новгороде и один раз (последний), именно в 1069 г., *после* бегства его из Киева. Это означает, что сведения о бегстве Всеслава к Новгороду были получены автором «Слова» из летописи с новгородской традицией.

Не может быть сомнений в том, что в основе летописи отца Игоря Святославича черниговского князя Святослава Ольговича лежало новгородское летописание, а следовательно, и текст XI в., близкий к Начальному летописному своду, которым, как основательно было предположено А. А. Шахматовым, начинались новгородские летописи.

В самом деле, отец Игоря князь Святослав Ольгович был дважды новгородским князем и был женат на новгородке. Вот эти новгородские летописные тексты о княжении отца Игоря в Новгороде: «В то же лето (1136) приде Новугороду князь Святослав

Ольговиць и-Щернигова, от брата Всеволодка, месяца июля в 19, преже 14 каланда августа, в неделю (в воскресенье. — *Д. Л.*), на сбор (собор. — *Д. Л.*) святые Еуфимие, в 3 час дне, а луне небесней в 19 день. Том же лете, наставъшу индикта 15, убиша Гюргя Жирославица и с моста съвергоша, месяца сентября. В то же лето святиша церковь святого Николы

168

великим священием в 5 декабря. В то же лето оженися Святослав Ольговиць Новгороде, и венъсяя своими попы у святого Николы; а Нифонт (архиепископ Новгорода. — *Д. Л.*) его не венъця, ни попом на сватбу, ни церенцем дасть, глаголя: «не достоить ея пояти». В то же лето стрелиша князя милостници Всеволожи, нъ жив бысть»¹.

Обратим внимание на два обстоятельства в этом известии. Во-первых, вокняжение в Новгороде Святослава Ольговича отмечено в летописи с неслыханной точностью², указывающей на то, что этому вокняжению летописец придавал особое значение. Возникает вопрос — не тут ли уже, в Новгороде, началось княжеское летописание Святослава. А во-вторых, в летописи указано, что Святослав женился на новгородке и, очевидно, простой по своему происхождению, раз архиепископ Нифонт отказался ее признать и объявил, что Святослав «не достоить ея пояти». Отсюда следует, что мать Игоря Святославича была новгородкой и при этом простого происхождения (не княжеского, во всяком случае).

Следующий год правления Святослава Ольговича в Новгороде ознаменовался бурными событиями. Партия изгнанного из Новгорода князя Всеволода, покровительствуемого епископом Нифонтом, восстала против Святослава Ольговича. Святославу удалось подавить восстание и даже собрать войско против вокняжившегося в Новгороде противника своего Всеволода, но, несмотря на помощь половцев, выгнать Всеволода из Пскова, где этот последний был впоследствии объявлен святым, ему не удалось, а вскоре, в 1138 г., Святослав был изгнан из Новгорода: «В то же лето выгнаша Святослава, сына Ольгова, из Новагорода, месяца априля 17 в неделю 3 по пасце, седевъше 2 лета бес трии месяцъ».

Изгнанного из Новгорода Святослава Ольговича тотчас же ждали новые неприятности. Его разлучили с женой новгородкой: «И Святославлюю (жену. — *Д. Л.*) прияше Новгороде с лучшими мужи, а самого Святослава яша по пути смоляне и стрежахуть его на Смядыне

169

в монастыри, якоже и жену его Новгороде у святое Варвары в монастыри, жидуше оправы Яропълку с Всеволодкомъ». В следующем году новгородцы снова послали за Святославом Ольговичем и даже присягали ему — «заходивъше роте»: «и бе мятежь Новгороде, а Святослав дълго не бяше. В то же лето вниде князь Святослав Ольговиць Новугороду и седе на столе месяца декабря в 25». Святославу Ольговичу пришлось бежать «отай в ночь», захватив с собой Якуна, но Якуна схватили, сбросили с моста в Волхов, а затем, взяв с него 100 гривен «заточиша в Чюдь» (Чюдь страна чуди — предков эстонцев. — *Д. Л.*) с братом его, заковав его в цепи.

В Комиссионном списке Новгородской I летописи есть сведения о том, что после первого двухгодичного сидения Святослава Ольговича в Новгороде он через полтора года снова был призван в Новгород: «и введоша Святослава, сына Ольгова, опять. И ть седив год и бежа из города».

Как видим, правления Святослава в Новгороде были бурными и недолгими. Однако Святослав был тесно связан с Новгородом через жену — мать Игоря Святославича, имел в Новгороде отношение к летописанию, и летописный свод Святослава, легший в основание свода его сына Игоря, и имел, очевидно, в начале своем летописание XI в. в новгородской версии, где говорилось о похоронах Изяслава именно в киевском храме Софии, а не в Десятинной церкви, как в киевской «Повести временных лет».

В связи с этим особую важность приобретают и другие новгородские черты в «Слове о полку Игореве». К новгородской летописи близка, в частности, формулировка полноты поражения по дешевизне рабов-пленников. Так, в «Сказании о знамении святей Богородици» о поражении суздальцев у стен Новгорода в 1169 г. для изображения тяжести этого поражения суздальцев сказано: «и продаваху суздальца по две ногате». Именно это определение имеется в «Слове» в отношении Всеволода Суздальского: если бы ты был на юге и поблюл бы отень злат стол киевский, «то была бы чага по ногатъ, а кощей по резанъ». Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в этом сюжете применяется новгородская денежная система: ногата и резана.

Другая новгородская денежная единица в «Слове о полку Игореве», исчезнувшая на юге Руси в XII в., — «бела», и она дана в «Слове» в составе летописной формулы,

170

зарегистрированной в «Повести временных лет» под 859 г.: «емляху дань по бѣлѣ отъ двора». О новгородских денежных единицах В. Л. Янин пишет: «в новгородских письменных источниках термин «резана» доживает до рубежа XIII—XIV вв.»¹ И в другом месте: «к числу новгородских денежных единиц, возникновение которых связано с перестройкой системы на основе счета на 7, несомненно принадлежит бела, хорошо известная в актах и нарративных источниках с начала XI в. В одних только новгородских пергаменных актах XIV—XV вв. она встречается не менее 50 раз». В. Л. Янин предполагает, что упоминание «белы» в «Слове о полку Игореве» — результат заимствования из поздней редакции «Повести временных лет»². Проще предположить, что это просто новгородская черта в «Слове».

Далее. В «Слове» есть одно загадочное название народности — «готы» — в его производном «готьскыя дѣвы». Обычно считается, что это «готы тетракситы», населявшие северный берег Черного моря³. В русских источниках древнейшего периода эти готы ни разу не упоминаются. Но говорится под 862 г. в «Повести временных лет» в перечислении северных народов: «Русь, Свеи, Урмане, Аглыне и Гѣти». Постоянно поминаются северные готы и в новгородских и смоленских договорах XII—XIII вв. О северных готах и жителях острова Готланда, ведших торговлю с Новгородом, говорится и в других новгородских источниках. В самом же Новгороде был даже Готский двор с церковью святого Олафа⁴. Готы вели обширную торговлю с Новгородом и с Русью в целом. Если в «Слове о полку Игореве» имеются в виду готские девы северные, тогда понятно, что они «звонят русским золотом», ибо готы северные вели обширнейшую торговлю и упоминание золота было бы вполне уместно. Но с готами были не только торговые отношения, но и разногласия. Об одном из таких разногласий говорится под 1188 г. в Новгородской I летописи в той части Синодального списка, которая относится к XIII в.: «Въ то же лето рубоша новгородьце Варязи на Гѣтѣхъ,

171

Немыце в Хоружьку и въ Новотържьце; а на весну не пустиша из Новагорода своихъ ни единого мужа за море, ни съла въдаша Варягомъ, нъ пустиша я без мира»¹. Смысл этого известия до конца не ясен², но не подлежит сомнению, что под 1188 г. здесь отмечено какое-то серьезное размирие с готами и разрыв в торговых отношениях. Если перед известием о готских девах, «лелеющих мечь» против Руси, отмечены и немцы, под которыми могли пониматься только северные народы — германцы и шведы, которые «кают» князя Игоря и опять в какой-то неясной для нас, но, очевидно, понятной для современников связи с русским золотом («ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поют славу Святъславлю, каютъ князя Игоря, иже погрузи жир во дне Каялы — рѣкы половецкыя, — рускаго злата насыпаша»), то толкование готских дев как дев Готланда, готов северных, учитывая к тому же размах, который придан автором «Слова» всесветному отклику на поражение Игоря, становится вполне вероятным. В беседе со

мною М. А. Саламина предположила, что в «Слове» под «временем бусовым» подразумевается время особого рода кораблей — «бусов». Бусы действительно упоминаются в новгородских и псковских летописях — по И. Срезневскому, от др.-сев. *bussa*, др.-англ. *buss*, дат. *boise*, нидерл. *buisse*³. Это судно морское и, по-видимому, такое, на котором ходили в Новгород иностранные купцы⁴.

Шарукан был разбит русскими князьями (среди них и новгородским князем Мстиславом Владимировичем) в битве 1106 г. Шарукан был дедом хана Кончака. Почему же готские девы «делѣють мечь Шароканю»? В «Слове» поражению русских радуются разные народы в разных концах света, как и славу Руси поют разные народы во всем мире (Святославу поют «нѣмци и венецици»,

172

«греци и морава»). Не удивительно, что к радости врагов Руси присоединяются и жители Готского берега (Готланда).

Если речь идет о Готском берегу и его размолвке с Новгородом 1188 г., то почему все же упоминаются именно «девы»? Ответ на этот вопрос состоит, очевидно, в том, что в Древней Руси в хоровом пении участвовали только женщины и девицы по преимуществу. Оплакивают пением, поют славу в «Слове о полку Игореве» только девы и девицы. В миниатюрах Радзивилловской летописи в хорах, поющих славу князьям, участвуют также только женщины (л. 201, 207, 215, 220).

Предложенные соображения о новгородских чертах в «Слове о полку Игореве» не должны вести к каким-либо категорическим выводам об авторе и происхождении «Слова». Важно, что новгородские источники должны быть приняты во внимание при изучении «Слова». Следует также принять во внимание при изучении «Слова» и соображения о том, кто такие готские красные девы, особенно в свете того, что в древнейших русских источниках никаких готов на Черном море не упоминается. Если верно, что готские девы, поющие на бреге синего моря, — девы Готского берега и их враждебность к русским объясняется размолвкой Новгорода с Готским берегом 1188 г., то создание «Слова» не может быть отнесено ко времени ранее 1188 г., но не должно и слишком отступать от этой даты, так как вряд ли, кроме новгородских письменных источников, это сравнительно незначительное историческое событие могло на длительный срок запечатлеться в памяти.

Обратим внимание и на следующее: Новгород как город славы Ярослава также воспринимался лишь на севере. В южных источниках Новгород не воспринимался как город Ярославовой славы¹. Поэтому известие в «Слове» о том, что Всеслав, «отворив врата Новуграду» тем самым «разшибе славу Ярославу», также, очевидно, новгородское.

Таким образом, «Слово о полку Игореве» так же выражает политическую позицию черниговских Ольговичей, как и летописный свод Игоря. Отсюда понятно, почему «Слово о полку Игореве» подчеркивает, что поход Игоря

173

1185 г. — это поход Ольговичей («дремлет в поле Олегово храброе гнездо»), и замалчивает участие в походе войск Переяславля Русского. Отсюда понятно, почему «Слово о полку Игореве» обращается с упреком главным образом к Всеволоду Суздальскому. Отсюда понятна и роль в «Слове о полку Игореве» «золотого слова» самого Святослава Киевского как главного выразителя политики Ольговичей, стремившихся к созданию коалиции русских князей против половцев. Вот почему Святослав в своем «золотом слове» предлагает Всеволоду Большое Гнездо расстрелять особенно ненавидимого летописателем Игоря Кончака: «стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича». Вот почему, продолжая политическую программу Игоря «покаяния», автор «Слова» вспоминает события 1180 г., когда Игорь и Всеволод выступили во главе половцев против коалиции

русских князей: «Тии бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодь, уже лжу убудиста которую; ту бяше успил отець ихъ Святъславъ грозный великий киевский грозою». Вот почему, возможно, Игорь, по приезде в Киев, прежде всего едет к Пирогощей¹, заложенной в 1130 г. Мстиславом Владимировичем, но освященной в 1136 г. Ярополком, приурочившим это событие к своему примирению с Ольговичами и положительно отмеченному в летописном своде Игоря. Вот почему версия похода Игоря Святославича, изложенная в Ипатьевской летописи и в «Слове о полку Игореве», совпадает в отдельных фактах, что отнюдь, однако, не должно свидетельствовать о том, что «Слово о полку Игореве» находилось под влиянием летописного рассказа о походе 1185 г.² Вот почему между «Словом о полку Игореве» и повествованием Ипатьевской летописи существует такое количество отдельных стилистических совпадений, что говорит опять-таки не о заимствовании и влиянии, а о существовании в Чернигове особой литературной школы, особой литературной манеры³. Вот почему, наконец, и летописец, и автор «Слова» в одинаковой мере могли пользоваться рассказами своего князя Игоря Святославича, отразить в своем

174

изложении и личные переживания Игоря, и детали его пребывания в плену¹.

Преобладает мнение, высказанное энергичнее всего Ждановым, что «Слово о полку Игореве» составлено киевлянином. Мнение это основывается главным образом на том, что «Слово» чаще всего говорит о Киеве, о Святославе Киевском и разделяет политические убеждения последнего.

Учитывая связи и Игоря Святославича, и его отца Святослава Ольговича с Новгородом, можно понять и отдельные новгородские черты в «Слове», расхождение последнего с киевской версией событий XI в. (похороны Изяслава) и по-новому истолковать упоминаемых в «Слове» готов, их радость по поводу поражения Игоря. Наконец, становится понятным и упоминание новгородских денежных единиц.

Однако Святослав киевский был признанным вождем Ольговичей черниговских. Политику его целиком разделял Игорь Святославич, для которого Киев был символом политического единения Руси, «золотым столом» русских князей².

Сопоставление официальной точки зрения летописного свода Игоря Святославича и идейной стороны «Слова о полку Игореве» делает ясным, что «Слово о полку Игореве» — не случайное произведение, вызванное к жизни исключительно личным проникновенным патриотизмом ее автора, и не агитационное произведение, продиктованное извне³, а гениальное воплощение наиболее передовых тенденций русской жизни, отразившихся в реальной политике Святослава и Игоря Святославича, в договорах Святослава киевского и Рюрика Ростиславича, в совместных походах Святослава и Рюрика на степь, в летописании Игоря Святославича и наконец, в

175

поразительной по смелости политической программе Игоря Святославича, нашедшего в себе мужество осудить свое прошлое, поместившего в своей официальной летописи декларацию-раскаяние и пересмотревшего русскую историю с точки зрения общерусского единства.

Существование «Летописца Игоря Святославича», вошедшего в состав Ипатьевской летописи, объясняет нам, почему рассказ Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича так обстоятелен, почему переданы в нем подробно слова Игоря к дружине, к конюшему, переговоры с половцем Лавором, почему в этом рассказе передаются мысли и сомнения Игоря, почему вошла в рассказ покаянная речь Игоря, которая могла быть известна только человеку, близкому к Игорю, которому Игорь рассказывал о ней (это был, очевидно, внутренний монолог).

Фактическая большая близость рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря к «Слову о полку Игореве» сравнительно с кратким рассказом Лаврентьевской летописи,

отнюдь не сочувствующей Игорю, может объясняться тем, что автор летописи Игоря Святославича и автор «Слова о полку Игореве» — одно лицо. Это тот же самый «хоть» — любимый певец Игоря, который сочинил и «Слово». Но о типе княжеских певцов — одновременно их оруженосцев и близких к князьям лиц — в следующей главе этой книги.

Конечно, между рассказом «Летописца» Игоря Святославича и «Словом о полку Игореве» большое различие в стиле, но различие это — в жанре, а мы знаем, что в Древней Руси индивидуальный стиль автора перекрывался особенностями жанровых различий: Владимир Мономах мог соединить в одном произведении — в своем «Поучении» — произведения трех разных стилей: стиля поучений, стиля краткого летописца и стиля эпистолярного (его письмо к Олегу Святославичу). Все три стиля произведений, принадлежащих, несомненно, одному автору, глубоко различны.

176

К ВОПРОСУ О «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» КАК ИСТОРИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКЕ

Вопрос о «Слове» как историческом источнике решается иногда совершенно неудовлетворительно. Вопрос этот ставится так: можно ли использовать «Слово» как источник сведений по истории XII и предшествующих веков? Если в «Слове» имеется вымысел, художественная фантазия, то «Слово» объявляется неудовлетворительным историческим источником.

Но в таком представлении об историческом источнике сказывается элементарное непонимание того, что такое «исторический источник».

Ни одно произведение прежних веков не может быть объявлено «плохим историческим источником». Нет плохих исторических источников, есть только плохие источниковеды...

Суть дела в следующем. Каждое произведение прошлого является историческим источником в одном из двух отношений. Произведение (документ, историческое сочинение — летопись, например, художественное произведение и т. д.) прошлого есть: 1) источник сведений о прошлом (летопись сообщает, дает сведения о событиях) и 2) есть само произведение этого прошлого, есть

177

«осколок» прошлого и в качестве такового является свидетельством ошибочных или недостаточных представлений, существовавших о прошлом, памятником общественной мысли прошлого, свидетельством об эстетическом уровне прошлого и т. д., и т. п.

Ни в том, ни в другом отношении ни один памятник прошлого не может быть использован непосредственно, без проверки. Даже документ (вкладная, купчая и пр.) требует источниковедческого анализа, в процессе которого выясняется степень его точности, которая *никогда* не является безусловной. Всегда и в любом источнике сказывается в какой-то степени его историческая ограниченность, односторонность или даже то или иное искажение исторической действительности.

Не дает достоверных сведений, разумеется, ни один повествовательный источник. Как установлено исследованиями А. А. Шахматова (это, впрочем, ясно было историкам и до него), летопись не является объективным собранием сведений по русской истории. В той или иной степени она тенденциозна (хотя бы тем, что тенденциозно подбирает факты).

Утверждение поэтому, что художественное произведение в силу вторжения в его ткань вымысла не может быть историческим источником, в корне неправильно.

Что же дает нам «Слово» как исторический источник?

Конечно, из двух аспектов, в которых следует рассматривать «Слово» (памятник как свидетельство о прошлом и памятник как остаток этого прошлого), в «Слове» как историческом источнике наиболее ценен второй аспект, но и первый не должен сбрасываться со счетов.

В первом аспекте в «Слове» мы найдем сведения, которые при соответствующей проверке могут оказаться исключительно ценными. Дело в том, что летопись (основной источник для XII в.) отбирает в исторической действительности только определенный контингент фактов (события государственного значения: перемены на княжеском столе, походы, сведения о победах или поражениях, об общественных бедствиях стихийного характера и некоторые другие). «Слово» как памятник не летописного, а художественного характера может дать нам сведения, которые в летопись обычно не заносятся: о церемониалах, оружии, княжеском быте, и — по событиям

178

— о деталях бегства Игоря, о бытовой обстановке степного похода (птицы, сопровождающие войско, ночевка войска в степи, захват половецких веж и пр., и пр.). То, о чем летопись сообщает абстрактно, в «Слове» мы почти видим. Художественное произведение обладает особой «наглядностью». Оно дает нам сведения о природе степи XII в. (это хорошо показал в своих статьях киевский природовед Н. В. Шарлемань). Оно дает любопытные сведения об оружии (об окраске щитов, например), о представлениях о воинской чести, о верованиях («Слово» — первоклассный исторический источник, единственный в своем роде, по древнерусскому язычеству XII в.) и пр. Наконец, сведения «Слова» о некоторых князьях, о которых нет сведений в летописях, также не могут быть сброшены со счетов. Отсутствие сведений о них в летописях еще не означает, что их не было или что сведения о них в будущем не найдутся в каких-либо особых источниках (венгерских или польских, например). Проверка сведений «Слова» летописью не всегда правомерна, ибо летопись сама может содержать, как уже указывалось мною, тенденциозное освещение событий, тенденциозную их подборку. Нет вообще исторического источника без какой-либо «тенденции», без отражения в нем односторонних или ограниченных представлений своего времени.

Но, разумеется, совершенно исключительно значение «Слова», как я уже указывал, во втором аспекте: «Слово» как *остаток* XII в. Как «остаток» «Слово» — свидетельство о культуре своего времени, о литературной изысканности, литературных приемах, об эстетических представлениях своего времени, о характере литературной фантазии, о фольклоре XII в. (при этом о разных его жанрах — исторических песнях, славах, плачах, поговорках, возможно даже о сказках, легендах и пр.). В частности, следует указать, что в «Слове» могли сохраниться какие-то предания или песни, восходящие к событиям даже IV в. Ведь сохраняются же в былинах XX в. имена киевского князя X в. Владимира, сохраняются же воспоминания о татарских набегах или в исторических песнях — события взятия Казани в XVI в. Поэтому присутствие в «Слове» имени антского князя Боза — факт возможный и любопытный. Любой остаток XII в. является историческим источником — и историческим источником первоклассного значения, поскольку от XII в. «остатков» чрезвычайно мало. Если «Слово» — «сплошное

179

вранье», то и это, как ни парадоксально это звучит, представляет собой источник чрезвычайного значения: «вранье» — свидетельство психологии своего времени, свидетельство даже общественной мысли своего времени (ибо в каждом обмане есть своя тенденция: общественная или просто эстетическая).

Совершенно исключительно значение «Слова» как источника по истории общественной мысли XII в. В этом плане «Слово» совпадает со многими произведениями XII в. (и с некоторыми летописными источниками, а главным образом — со «Словом о

князях»). Оно подтверждается ими, но оно гораздо глубже, шире и разностороннее свидетельствует об истории общественной мысли XII в. Есть в «Слове» частности, которые, однако, чрезвычайно важны, — например, о начавшемся в XII в. титуловании князей во Владимиро-Суздальской земле «господин». Это свидетельство о перемене отношения к княжеской власти (когда-то я об этом писал в «Трудах Отдела древнерусской литературы»).

Одно дело комментирование «Слова» в плане проверки точности сообщаемых им исторических сведений. Эта проверка может показать, что «Слово» не во всем «совпадает» с летописью. Но совсем другое дело — исследование «Слова» как исторического источника. Как исторический источник «Слово» — документ поразительного значения, и значения подкрепляемого, а не опровергаемого его художественностью.

Это только в XVIII в. могли думать, что если в источнике есть художественный вымысел, то с ним не стоит считаться. И вымысел, и все, что в памятнике необычно, что не может быть использовано чисто «потребительски», но что свидетельствует о сложности переработки фактов действительности, представляет исключительный исторический интерес.

В художественном произведении есть *прибавочная ценность*, которая выявляется путем скрупулезного научного, источниковедческого анализа. Есть два рода сведений: сведения, которые могут быть получены в памятнике «из рук в руки» — из рук автора документа в руки историка (таких сведений, как показывает источниковедение, очень мало и с развитием источниковедения как науки становится все меньше), и есть сведения, которые добываются в памятнике путем изучения способов и приемов преломления в нем исторической действительности. В последнем плане любой памятник как *остаток* прошлого

180

неисчерпаем. С совершенствованием методов источниковедения, с совершенствованием «смежных» источниковедению дисциплин, но которыми источниковедение «питается» и с помощью которых обогащается — таких, как литературоведение, искусствоведение, история культуры, история религии и пр., и пр., — «Слово» будет все ярче и ярче раскрываться как источник наших представлений о XII в. Так оно, в сущности, уже происходило и происходит, но будет происходить и в будущем. Мы не видим и не можем увидеть конца этого процесса, ибо никогда не можем поставить заключительную точку в нашей науке.

Как исторический источник «Слово» в силу своей необычности, нестандартности, в силу своей художественности, «фантастичности», в силу своего богатства, «наглядности» и многих, многих других сторон — один из самых (если не самый) интересных исторических источников XII в. и, во всяком случае, самых многообещающих.

В своей статье 1950 г. «Исторический и политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“» я пытался приподнять завесу над одной только стороной «Слова» как исторического источника: пытался показать, что дает «Слово» для изучения исторических представлений своего времени. В частности, я указал на одно важное обстоятельство: «Слово» пользуется для своих сведений по XI в. не только письменными источниками (несомненно, что автору «Слова» была знакома «Повесть временных лет»), но и устными — молвой, слухами, пользуется «репутациями» того или иного князя прошлого или князя-современника, пользуется фольклором — историческими песнями. Для меня в той статье 1950 г. до сих пор остается наиболее важным определенное мной обстоятельство, что народ в XII в. знал русскую историю, интересовался ею и, следовательно, жил не бездумно и не бездумно участвовал в политических событиях. Если бы на эту тему (тему «исторического и политического кругозора» автора «Слова») мне пришлось писать сейчас, я бы смог значительно расширить свои наблюдения. А ведь это только одна

сторона проблемы «Слова» как исторического источника. Ведь история — это не только «князья и события», а и культура, быт, социальное устройство, общественная мысль, исторические знания, это материальная культура своего времени и духовная, даже русская природа XII в., отличавшаяся от нынешней. Изучать

181

«Слово» как исторический источник можно только в совокупности всех предоставленных им сведений с указанием «пропорциональности» этих сведений, степени их трансформированности, а главное — «качественного» характера этой трансформированности. Ибо характер «искажения» сведений — это, может быть, одно из самых любопытных и важных исторических сведений, которые могут быть извлечены из памятника как *остатка истории*.

182

УСТНЫЕ ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «СЛОВА»

Истоки русской литературы — в дописьменной Руси. Своим необычайно быстрым ростом русская литература XI—XII вв. обязана прежде всего тому высокому уровню устного русского языка, на котором застает его появление и широкое распространение русской письменности.

Русский язык оказался способным выразить тонкости отвлеченной мысли, передать сложное историческое содержание всемирной и русской истории, ответить нуждам нового для Руси, но уже достаточно старого христианского культа, воплотить в себе изощренное ораторское искусство церковных проповедников, воспринять в переводах лучшие произведения европейской средневековой литературы. И это произошло потому, что созданию письменного литературного языка, в основу которого лег язык староболгарский, предшествовал устный литературный язык — язык устной литературы, содержание которой не покрывалось одним только фольклором.

В самом деле, общественный уклад древнерусской жизни способствовал развитию устной речи в ее самых разнообразных формах. Еще в период, предшествующий феодализации русского государства, общественный быт требовал постоянных устных выступлений: на вече, на сходках старейшин, при переговорах между племенами или с иноземными государствами, на пиршественных собраниях,

183

столь типичных для дофеодального быта, на похоронах и тризнах. С краткими и энергичными речами обращались князья и воеводы к своим воинам перед выступлениями в поход или перед началом битвы, подавая им «дерзость» и побуждая к стойкости. Вот, например, известные речи князя Святослава Игоревича к своим дружинникам: «уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино» («Повесть временных лет», под 971 г.); «уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посраим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имам...» и т. д. (там же). Эти речи Святослава в известной мере связаны со всей традицией русского воинского ораторского искусства. «Аще жив буду, (то) с ними, аще погыну, то с дружиною», — говорит Вышата своей дружине («Повесть временных лет», под 1043 г.). «Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети», — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами («Повесть временных лет», под 1068 г.). «Да любо налезу себе славу, а любо голову свою сложю за Рускую землю», — говорит Василько Теробовльский («Повесть временных лет», под 1097 г.). С такими же речами обращается к своей дружине и герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич Новгород-Северский перед битвой с половцами: «Братья! сего есмы искале, а

потягнем» (Ипат лет., под 1185 г.) или: «Оже побегнемъ, утечемъ сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будетъ грех сих выдавше пойдемъ; но или умрем, или живи будем на единомъ месте» (там же).

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной воинской речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их «братьями», и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина. Но они поражают также стройностью и исключительным лаконизмом выражения.

По-видимому, яркой выразительностью отличались и речи, произносившиеся на пирах и тризнах. Пирь были широко распространены в быту княжеском, церковном, купеческом и крестьянском. О погребальных тризнах упоминают Ибн-Фадлан и русская летопись в рассказе о третьей мести княгини Ольги древлянам. О полуязыческих трапезах роду и рожаницам упоминают списки тех исповедальных вопросов, которые священники обязаны были задавать на духу. Сохранилось немало свидетельств и о мирских братчинах городских и сельских общин. Наконец, летопись донесла до нас многочисленные

184

свидетельства о пирах князей с их широким гостеприимством. Они устраивались и по поводу вокняжения нового князя, и по поводу построения новой церкви или монастырской стены, и по поводу военных побед, и при дипломатических свиданиях русских князей. На пирах этих произносились похвальные речи, провозглашались здравицы, произносились поучения «духовным отцом» за четвертой чашей. «Слово о богатом и убогом» говорит, что на пирах этих выступали «ласковъци, шпыливе, празднословъци, смехословъци». Следов этого пиршественного ораторства до нас почти не дошло, но о наличии его выразительно свидетельствует надпись на «круговой» серебряной чаре Владимира Давидовича (1139—1151 гг.): «А се чара кня(зя) Володимирова Давыдовича, кто из нее пь(ет) тому на здоровья, а хваля бога своего и осподаря великого кня(зя)». Отзвуком такой хвалы князьям, может быть, является заключительная здравица в «Слове о полку Игореве»: «Солнце свѣтитя на небесѣ, Игорьъ князь в Руской земли. Дѣвици поють на Дунаи, вьютя голоси чрезъ море до Киева. Игорьъ ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здриви князи и дружина, побарая за христъяны на поганяя плъки! Княземъ слава а дружинѣ!»

Слава князьям провозглашалась не только на пирах. Ее пели победителю на улице или избранному князю на княжом дворе. Так было в 1068 г., когда киевляне, освободив Всеслава из поруба, «прославиша и среде двора кнѣжа» («Повесть временных лет»). Так было в 1242 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища «поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу»¹. Так было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода Даниила Галицкого и его брата Василька: «и песнь славному пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великого Романа...» (Ипат. лет.).

Все эти формы устной речи были унаследованы Киевской Русью еще от периода патриархально-общинных отношений. В период раннего феодализма стихия устной ораторской речи получила еще ряд новых форм для своего

185

развития — речи на княжеских снмах (съездах. — *Д. Л.*), крестоцеловальные речи на Любечском съезде 1097 г., на заседаниях Совета господ в Новгороде, при судопроизводстве и т. д. Наконец, в многочисленных переговорах князей между собой и в усилившихся сношениях с иноземными государствами развивалось искусство речи послов.

Влияние этой устной речи на литературу письменную не ограничивалось только исходными годами письменности. Оно было постоянным, крепло с годами, формировало язык письменности и служило неиссякаемым источником художественных образов, навыков простоты и лаконизма.

Сама устная речь не была неизменной. В XI—XII вв. в обиход общества входит густым потоком феодальная терминология. Развитие военного искусства сказывается на усложнении военной терминологии. Усложняются вопросы внутренней дипломатии, а с ними вместе усложняется и терминология, принятая в посольских переговорах. Развитие устного языка и письменного идет параллельно, оба влияют друг на друга, оба оказываются под всепоглощающим воздействием действительности, изменения форм общественной жизни.

Совершенно естественно, что влияние устной речи на письменную сказалось прежде всего на тех произведениях письменности, которые были посвящены русской действительности.

С особенной силой это воздействие устной речи сказалось в летописи. По летописи, главным образом, мы и можем судить об устной речи XI—XIII вв. В самом деле, именно летопись сберегла для нас многочисленные образцы устной речи XI—XIII вв. Этому способствовало особое отношение летописцев к тем элементам устной речи, которые они включали в свои записи.

Древняя русская письменность XI—XIII вв. почти не знает косвенной речи. Слова действующих лиц повествования, за редкими исключениями, передаются в форме прямой речи. Следовательно, место, занимаемое прямой речью в древнерусском повествовании, уже в силу одного этого должно было быть и больше, и значительнее, чем впоследствии. Это не значит, однако, что, стесненный грамматическими трудностями, древнерусский автор пользовался прямой речью вместо косвенной, не задумываясь над особенностями прямой (устной) речи как таковой. Ощущение «документальности» приводимой прямой

186

речи было у древнерусского автора весьма отчетливым. Это в особенности касается древнерусского летописца. И к предшествующему тексту летописи, который летописец использовал в своем летописном своде, и к самой действительности, которую он описывал, летописец относился как к документу. Ни произвольных добавлений в фактическую часть летописного рассказа, ни необоснованных утверждений летописца, работавшие в XI — первой половине XV вв., как правило, не допускали¹.

И это, в особенности, относилось к прямой речи. Воспроизводя прямую речь, летописец стремился более или менее точно передать ее на основе предшествующей летописи, на основании того фольклорного произведения, содержание которого он излагает в летописи, или так, как она была произнесена или могла быть произнесена в действительности. Летописец стремился к точному воспроизведению действительности, почти не прибегая к помощи фантазии и домыслов.

Вот почему в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:

1. Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.

2. С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи².

3. Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (например, «Сказания о Борисе и Глебе»); в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов — они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи — и служат религиозно-нравственным целям.

Чисто литературные функции прямой речи, употребленной, скажем, для оживления действия, для характеристики действующего лица, для раскрытия его намерений и т. п., были неизвестны летописцам до конца XV в. Вернее, летописцы чуждались именно такого использования

187

прямой речи, так как это внесло бы в их «своды» элемент вымысла¹. Это не значит, конечно, что в произведениях древнерусских летописцев не было вымысла: летописец был чужд подлинного реализма, принимая за реально бывшее рассказы о чудесах, знамениях, явлениях и т. п. Но этот вымысел не вводился им в свои летописи сознательно, — летописец верил в существование в прошлом всего того, что он рассказывал.

Вот почему в летописи прямая речь по большей части занимает одно из центральных мест. Если прямая речь внесена в летопись не из другого книжного или фольклорного произведения, а записана в ней самим летописцем, то она всегда значительна по содержанию. Приводимые слова по большей части исторически важны. Их произносят не безымянные лица, а лица исторические. Слова эти важны как часть самой действительности. Они не подчинены литературным функциям, они вводятся не для «оживления» повествования, не для его «торможения», не для раскрытия мыслей и намерений действующих лиц, а потому, что они важны по своему историческому содержанию. Элемент «сочиненности» сведен в летописи до минимума. Летопись — прежде всего историческое произведение, и прямая речь в ней также исторична и документальна.

Вот почему в летописи прямая речь резко отличается в лексическом отношении и в своей художественной манере от остальной, чисто повествовательной части летописи. В первой — летописец зависит по преимуществу от самой устной речи, которую он и стремился воспроизвести во всей ее неприкосновенности. Во второй — влияния чисто книжные гораздо сильнее.

Этим обстоятельством обуславливается особенная ценность показаний прямой речи летописи (но преимущественно той, которая записана летописцем, а не привнесена им из фольклора или из произведений житейных) для установления особенностей устной речи своего времени и ее культуры.

В самом деле, вот перед нами новгородская «Повесть о взятии Царьграда фрягами», включенная в Новгородскую первую летопись под 1204 г. Повесть эта, как уже отмечалось в научной литературе, написана очевидцем

188

царьградских событий 1204 г.¹ Она написана точно и реально, но само собой разумеется, что греческая прямая речь действующих лиц не могла быть в ней записана с абсолютной точностью. Она передана в русском переводе — по смыслу. Любопытно, однако, что эта передача по смыслу сделана в формах устной русской речи.

Составитель «Повести о взятии Царьграда фрягами» живо отличает особенности устной речи от письменной и переводит греческую устную речь в типичных формах устной же речи. Живое ощущение устной речи не изменяет ему и здесь. Вот, например, типичные для русского воинского ораторства слова фрягов: «да луче ны есть умрети у Царяграда, нежели с срамомь отъити» (Новг. I лет., под 1204 г.). Вот почему и в других случаях в летописи прямая речь постоянно соответствует традициям устной речи, а не письменной — вне зависимости от того, передает ли она действительно произнесенные речи или только те, которые по предположениям летописца должны были быть произнесены.

Отношение к прямой речи как к своего рода документу, как к чему-то реально произнесенному и значительному в своей историчности позволило частично сохранить в этой прямой речи летописи образную, художественную систему устной речи, которой в собственном книжном изложении, в изложении от своего лица, летописец очень часто чуждался как простой, «некнижной». В самом деле, летописец опасался вводить в изложение от своего лица художественные приемы речи устной, делал это в ограниченных размерах, с разбором и выбором. Характерна в этом отношении оговорка, с помощью которой вводится им в летопись один из образов устной, обыденной речи. Летописец пишет: «В то же лето бысть буря велика, ака же не была николи же, около Котелнича, и разноси хоромы и товар и клети и жито из гумен, и спроста рещи яко рать взяла» (Ипат. лет., под 1143 г.). Следовательно, введение образа из устной речи в изложение от своего лица иногда вызывало даже в летописце необходимость оговорки, своеобразного извинения перед читателем.

189

Образ устной речи отчетливо осознавался как «некнижный», «простой». Совсем иное отношение у летописца к подобного рода образам, когда он передает их в чужой речи — в прямой речи действующих лиц его повествования. Прямая речь снимает как бы с него ответственность за ее «простоту», которую он по книжной средневековой традиции считал предосудительной. Это — документ, и здесь можно сохранять, следовательно, все особенности прямой речи во всей их неприкосновенности. И действительно, в прямой речи действующих лиц летописного повествования мы встречаем удивительное богатство творческой фантазии самого народа, ничем не сдерживаемый поток образной, лаконичной и удивительно выразительной живой устной русской речи. Повторяем: и в лексическом, и в грамматическом, а главное — в стилистическом отношении прямая речь в летописи резко отлична от всего остального повествования летописца.

Приведем несколько примеров образной устной речи, отраженной в летописи. Прямая речь насыщена сравнениями. Вот, например, сравнение неумолимо надвигающейся вражеской рати с падающим деревом: «И реща пружи ятвязем: «Можете ли древо поддръжати сулицами, и на сию рать деръзнути?»» (Ипат. лет., под 1252 г.). Или вот сравнение далеко зашедшей в чужие пределы рати с рыбами, оказавшимися на суше. Юрий Всеволодович говорит через послов Мстиславу Удалому перед Липицкой битвой: «Мира не хотим, а мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо» (Новг. I лет., по Синод. сп., под 1216 г.).

Особенно часто встречается в прямой речи метонимия. Ею буквально насыщена прямая речь летописи. Рогнеда говорит Рогволоду, отказываясь выйти замуж за «робичича» Владимира: «Не хочу розути робичича», разумея под «разуванием» — русский свадебный обряд, частью которого являлось разувание сапога мужа новобрачной; или известная метонимия из речи Вячеслава Киевского: «Аз уже бородат, а ты ся еси родил» (Ипат. лет., под 1151 г.).

Часть метонимий постоянно повторяется в летописи, различаясь лишь употреблением. Такова, например, метонимия «голова» вместо «человек»: «не идет место к голове, но голова к месту» (Ипат. лет., под 1151 г.); «а нам лучьше в чюжую голову, нежели в свою» (Ипат. лет., под 1169 г.); «зане сын твой ловить головы моя всегда»

190

(Ипат. лет., под 1169 г.); «а он головы твоя ловить» (Лавр. лет., под 1177 г.); «добыл еси головою своею Киева и Переяславля» (Ипат. лет., под 1148 г.).

Такова же метонимия «ножь» или «мечь» вместо «война», «усобица», «военные действия». Ср., например, слова, переданные Мономахом Давыду и Олегу Святославичам по поводу ослепления Василька Теробовльского: «Поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь» (Лавр. лет., под 1097 г.). Это выражение подхватывают Олег и Давыд, посылая к Святополку

Изяславичу: «Что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны» (Лавр. лет., под 1097 г.). Вместо слова «ножь» в Тверском сборнике здесь стоит «мечь».

На метонимии же построена и большая часть терминов военных и феодальных: «рука» — власть, могущество; «стяг» — полк; «всесть на конь» — отправиться в поход и т. п.

Особенно оживляют устную речь неожиданные и смелые предположения, скрытая ирония, гиперболы.

Характерна в этом отношении речь Владимира Васильковича Волынского, которого мы можем охарактеризовать как большого мастера русской разговорной речи на основании того немногочисленного, что нам сохранила из его речей летопись.

Вот что, например, говорит Владимир Василькович Мстиславу Даниловичу, начавшему еще до смерти Владимира распоряжаться его наследством: «Брате! ты мене ни на полону ял, ни копьемь мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя есь, ратью пришед на мя, оже сяко чиниши надо мною». Дозволяя своей жене делать после своей смерти все, что ей заблагорассудится, Владимир Василькович так мотивирует это свое решение: «Мне не воставши (из гроба. — *Д. Л.*) смотреть, что кто иметь чинить по моему животе (то есть после моей смерти. — *Д. Л.*)». В ответ на просьбу Юрия Львовича дать ему в наследство Берестье умирающий Владимир Василькович вытащил из своей постели пук соломы, показал ее своему слуге Ратьше, которого посылал к Мстиславу Даниловичу, и произнес: «Хотя бых, ти, рци, брат мой, тот вехоть соломы дал, того не давай по моему животе никому же».

Конкретность и образность характерны и для речи новгородцев. Когда Мстислав, изменив Новгороду, попытался затем в 1177 г. вернуться в Новгород, новгородцы

191

сказали ему: «ударил еси пятою Новьгород... чему к нам идеши» (Лавр. лет., под 1177 г.). Когда Вячеслав, Изяслав и Ростислав выходили из Киева против Юрия Долгорукого, киевляне говорили им, собираясь выступить все вместе: «Ать же пойдут вси, како можеть и хлуд (хлыст. — *Д. Л.*) в руци взяти; паки ли хто не поидеть, нам же и дай, ать мы сами побьемь» (Ипат. лет., под 1151 г.).

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминавшейся формуле. Образность и пословичность отличает эти вечевые обращения. В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: «Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържем» (Новг. I лет., под 1214 г.).

Так же энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: «Даже буду виноват, да буду мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, господи» (Новг. I лет., под 1218 г.).

Летопись донесла до нас много речей, произносившихся послами. По самому своему содержанию эти речи послов были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские и даже вечевые. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Однако чем сложнее были задачи, ставившиеся дипломатическому языку, тем более блестяще они разрешались.

Прежде всего поражает своеобразный образный лаконизм посольских речей: «Оже есте мой Городец пожгли и божницу, то я ся тому отьожгу противу», — говорит Юрий Долгорукий через послов Святославу Ольговичу (Ипат. лет., под 1152 г.). Юрий Всеволодович следующим образом формулировал свое требование, переданное через новгородских послов: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка

Тимошкиница, Сдилу Савиница, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тъхверью, а еще Волховомъ напою» (Новг. I лет., под 1224 г.).

Особенное значение в устной речи имела всегда выразительная

192

антитеза: «Да аще (вам. — *Д. Л.*) любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо» («Повесть временных лет», под 1100 г.); «А поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы» (Ипат. лет., под 1148 г.); «Годно ти ся с ним (Юрием. — *Д. Л.*) умирити — умиришия, паки ли а рать зачнеши с ним» (Ипат. лет., под 1154 г.); «Аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же» (Лавр. лет., под 1186 г.) и т. д.

Не следует думать, что система художественных средств устной речи была каждый раз плодом индивидуальной изобретательности. В дальнейшем мы увидим, что она в сильнейшей степени зависела от самой действительности, от воинской, феодальной символики, и этим объясняется ее относительная устойчивость.

В Ипатьевской летописи сказано: «Всеволод же толма бившеся, яко и оружья в руку его не доста» — это говорится о Всеволоде буй туре, брате Игоря Святославича, в описании знаменитой битвы Игоря на реке Каяле (Ипат. лет., под 1185 г.).

Тот же художественный образ находим мы спустя столетие в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Еупатию тако их бяше нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарскыя мечи и сечаша их» (цит. по сп. Волоколамск., ГБЛ, 526, XVI в.).

Привычка к конкретному мышлению сказывается во многих из «речей» летописи. «Брате! — говорит Мстислав Изяславич Владимиру Мстиславичу Дорогобужскому, — хрест еси целовал, а и еще ти ни уста не осхла» (Ипат. лет., под 1169 г.). Сходный образ находим мы спустя сто лет в летописи вольнской уже не в прямой речи, а в повествовании самого летописца: «Лев же убояся того (угрозы татарского нашествия. — *Д. Л.*) велми, и еще бо ему не сошла оскомина Телебужины рати».

Устная речь оказывает постоянное воздействие на речь древнерусского автора. Она постепенно входит в письменность через прямую речь и остается в речи авторской. Замечательный пример тому — произведения Мономаха. «А бога деля, — просит Владимир Мономах Олега Святославича, — пусти ю (вдову его сына Изяслава. — *Д. Л.*) ко мне вборзе с первым сломь, даже с нею кончав слезы, посажу на месте, и сядеть акы горлица на сусе древе желеючи...» (Лавр. лет., под 1096 г.). Или другой пример из тех же сочинений Мономаха: «И ехачом

193

сквозе полкы половъчские, не в 100 дружине, и с детми и с женами. И облизахутся на нас акы волци стояще...» (Лавр. лет., под 1096 г.).

Влияние устной речи на произведения Владимира Мономаха сказывается не только в заимствовании из нее художественных образов, но и в самом построении фраз: «Дивно ли, оже мужь умерл в полку ти?»; «аще ли лжю, а бог мя ведаеть и крест честный»; «оли то буду грех створил, оже на тя шед к Чернигову, поганых деля, а того ся каю» и т. п. «Поучение» Мономаха как бы рассчитано на произнесение вслух. Возможно, что Мономах его диктовал или, когда писал, представлял себя произносящим его.

Однако самый яркий пример связи языка письменности с устной речью дает «Слово о полку Игореве».

* * *

Образная устная русская речь XI—XII вв. во многом определила собой поэтическую систему «Слова о полку Игореве».

Нельзя думать, что между обыденной речью и речью поэтической лежит непреодолимая преграда. Качественные различия обыденной речи и поэтической

допускают все же переходы обыденной речи в поэтическую и не отменяют наличия художественной выразительности в речи обыденной, каждодневной, прозаической и деловой. По большей части эта художественная выразительность в обыденной речи служит подсобным целям, оттеснена на второй план, но она тем не менее ярко ощущается и окрашивает язык XI—XII вв., с большей или меньшей интенсивностью.

Важно отметить, однако, что поэтическая выразительность того или иного слова, целого предложения находится в тесной зависимости от поэтической выразительности того конкретного явления, с которым оно связано. Язык и действительность переплетались в средневековой Руси особенно тесным образом. Эстетическая ценность слова зависела в первую очередь от эстетической ценности того явления, которое оно обозначало, и вместе с тем самое явление, с которым это слово было связано, воспринималось как явление общественной жизни, в тесном соприкосновении с деятельностью человека. Вот почему в Древней Руси мы обнаружим значительные явления

194

жизни, которые служили неиссякаемым родником поэтической образности. В них черпал свою поэтическую конкретность древнерусский устный язык, а с ним вместе и древнерусская поэзия. Земледелие, война, охота, феодальные отношения — то, что больше всего волновало древнерусского человека, то в первую очередь и служило источником образов устной речи.

Замечательно, что все привлекаемые и вводимые автором «Слова» образы имеют идейную задачу. Эстетический и идеологический момент в образе неотделимы в «Слове о полку Игореве», и в этом одна из его особенностей, как и всякого подлинно художественного произведения.

В самом деле, обычные образы народной поэзии, заимствованные из области земледелия, входят не только в художественный замысел автора «Слова», но и в идейный.

Образы земледельческого труда всегда привлекаются автором «Слова» для противопоставления войне. В них противопоставляются созидание разрушению, мир — войне. Благодаря образам мирного труда, пронизывающим всю поэму в целом, она представляет собой апофеоз мира. Она призывает к борьбе с половцами для защиты мирного труда в первую очередь: «тогда при Олзѣ Гориславличи сѣяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажьбожа внука»; «тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче, а галици свою рѣчь говоряхуть, хотяь полетѣти на уедие»; «чръна земля подѣ копыты костью была посѣяна, а кровию поляна: тугою въздоша по Руской земли»; «на Немизѣ снопы стелють головами, молотять чеши харалужными, на тоцѣ животь кладуть, вѣють душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костью рускихъ сыновъ».

В этом противопоставлении созидательного труда разрушению, мира — войне автор «Слова» привлекает не только образы земледельческого труда, свойственные и народной поэзии (как это неоднократно отмечалось), но и образы ремесленного труда, в народной поэзии отразившиеся гораздо слабее, но как бы подтверждающие открытия археологов последнего времени о высоком развитии ремесла на Руси: «тѣй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше»; «и начяша князи... сами на себѣ крамолу ковати»;

195

«а князи сами на себе крамолу коваху»; «ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена».

Поразителен по наглядности образковки крамолы мечом, — на нем мы еще остановимся в дальнейшем, сейчас же отметим, что это противопоставление мира войне пронизывает и другие части «Слова». Автор «Слова» обращается к образу пира как апофеоза мирного труда: «ту кровавогo вина не доста; ту пирь докончаша хабрии

русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». С поразительной конкретностью противопоставляя русских их врагам, он называет последних «сватами»: Игорь Святославич, как мы уже отмечали, действительно приходился «сватом» Кончаку (дочь Кончака была помолвлена за сына Игоря — Владимира). Отсюда следует, что образ пира-битвы не просто заимствован из фольклора, где он обычен, а умело осмыслен применительно к данному конкретному случаю. Той же цели противопоставления мира войне служат и женские образы «Слова о полку Игореве» — Ярославны и красной Глебовны.

Перед нами, следовательно, целая политическая концепция автора «Слова о полку Игореве», в которую, как часть в целое, входят традиционные образы устной речи: «битва — молотьба», «битва — пир» и т. д.

Итак, автор «Слова о полку Игореве» углублял, развивал старые образы, раскрывал их значение, детализировал их, заставлял читателя ярко почувствовать их красоту. Он брал то, что уже было в русском поэтическом языке, брал общее, а не случайное, брал укоренившееся.

Откуда же берет автор «Слова о полку Игореве» эти привычные формы? Здесь и фольклор, но здесь и образная система деловой речи, образы, легшие в основу военной лексики и лексики феодальной. Автор «Слова о полку Игореве» поэтически развивает существующую феодальную символику.

Деловая выразительность превращается под его пером в выразительность поэтическую. Терминология получает новую эстетическую функцию. Он использует богатства русского языка для создания поэтического произведения, но это поэтическое произведение не вступает в противоречие с деловой прозой, а, наоборот, вырастает на ее основе. Автор «Слова» дает ей только иную функцию. Образы, которыми пользуется «Слово»,

196

никогда не основываются на внешнем сходстве. Они не являются плодом индивидуального изобретательства автора. Автор «Слова» не создает совершенно новых эстетических связей, не устанавливает совершенно новых метафор, метонимий, эпитетов на основе меткого нахождения новых эстетических соответствий.

Образы, которыми пользуется автор «Слова», вырастают на основе реально существующих отношений в жизни. Художественное творчество автора «Слова» состоит во вскрытии того образного начала, которое заложено в устной речи, в специальной лексике, в символике феодальных отношений, в действительности, в общественной жизни и в подчинении этого образного начала определенному идейному замыслу.

Автор «Слова» отражает жизнь в образах, взятых из этой самой жизни. Он пользуется той системой образов, которая заложена в самой общественной жизни и отразилась в речи устной, в лексике феодальной, военной, земледельческой, в символическом значении самих предметов, а не только слов, их обозначающих. Образ, заложенный в термине, он превращает в образ поэтический, подчиняет его идейной структуре всего произведения в целом. И в этом последнем, главным образом, и проявляется его гениальное творчество.

Вот почему и поэтическая понятность «Слова» была чень высока. Новое в ней выросло на многовековой культурной почве и не было от нее оторвано. Поэтическая выразительность «Слова» была тесно связана с поэтической выразительностью русского языка в целом.

В этом использовании уже существующих богатств языка, в умении показать их поэтический блеск и значительность и состоит один из элементов народности поэтической формы «Слова». «Слово» неразлучимо с культурой русского языка в целом, с деловой речью, с образностью военной, феодальной, охотничьей, трудовой лексики, а через нее и с русской действительностью. Автор «Слова» прибегает к художественной символике, которая в русском языке XI—XII вв. была тесно связана с символикой феодальных

отношений, даже с этикетом феодального общества, с символикой военной, с бытом и трудовым укладом русского народа. Привычные образы получают в «Слове о полку Игореве» новое звучание. Можно смело сказать, что «Слово» приучало любить русскую обыденную речь, давало почувствовать

197

красоту русскою языка в целом; вместе с тем поэтическая система «Слова» выросла на почве русской действительности.

Обратимся к раскрытию этой поэтической системы «Слова» на конкретных примерах.

* * *

Остановимся прежде всего на военной терминологии «Слова» и на тех образах, которые из этой терминологии выросли в «Слове».

Русский язык XI—XIII вв. имел разветвленную и обильную терминологию, связанную с особенностями военного быта того времени. Эта терминология создавалась постепенно по мере усложнения самого военного обихода. В создании ее участвовало творческое, художественное воображение народа. Многочисленность и точность этой терминологии служат одним из важных показателей высоты культуры устного русского языка.

Здесь, в этой военной терминологии XI—XII вв., мы встретим и термины приготовления к выступлению в поход: «возостриться на рать» (Ипат. лет., под 1174 г.), «доспевать», «сложиться на рать», «встать на рать» («и сложишася Олговичи и Давидовичи и всташа вси на рать». — Лавр. лет., под 1135 г.), «подостривать кого-либо на рать», «сложить путь» («И сложи Изяслав путь с Ростиславом и со Мьстиславом на Гюргя». — Ипат. лет., под 1158 г.).

Здесь и термины выступления в поход: «всесть на конь», «дерзнуть на врагов» («дерзнути на половце». — Лавр. лет. под 1102 г.; «дерзну с дружиною своею и победи поганяя». — Лавр. лет., под 1125 г.).

Здесь и термины приготовления к бою: «заложиться» (Лавр. лет., под 1150 г.), «укреплять на брань» (Лавр. лет., под 1151 г.), «скрутиться в броне» (Лавр. лет., под 1220 г.), «изнарядить полки» или «изрядить полки» (Ипат. лет., под 1174 г. и под 1195 г.).

Здесь и термины, означающие построение полков перед битвой: «крылья» (Ипат. лет., под 1151 г.), «чело» (Лавр. лет., под 1025 г.) и др.

Здесь и термины, означающие различные моменты боя: «поскок» («под Ростиславом же на первом поскоке лете под ним конь». — Ипат. лет., под 1154 г.), «поткнуть» («угри... не постряпуче поткнуша по нем». — Лавр.

198

лет., под 1152 г.), «преломить копье», «поломить полк» («сразившима же ся челома, и тако полониша ляхове полк Шварнов» (Ипат. лет., под 1268 г.), «вдать плещи» и мн. др.

Здесь и термины осады и обороны городов: «отвердить город» (Лавр. лет., под 1150 г.), «твердая места» (укрепленные места: «и поидоша во твердая места». — Ипат. лет., под 1182 г.), «вбить в город» («наши же... вбиша я во град». — Лавр. лет., под 1220 г.), «взять на щит», «взять копием» и др.

Здесь и термины обращения с оружием: «потягнуть стрелю» («и один с города потягнув стрелю, удари в горло». — Ипат. лет., под 1157 г.), «зарезать» (ножом), «ударить копием».

Весьма важно отметить, что многие из выражений летописи, считавшиеся литературными трафаретами и «элементами изложения» воинских повестей¹, на самом деле являются обычными воинскими терминами, хорошо известными не только в авторской речи летописца, но и в передаваемой им прямой речи.

В самом деле, выражение «на щит» отнюдь не книжное. Оно имелось и в живой речи. Владимир Галицкий говорит жителям Мичьска («мьчаном»): «дайте ми серебро, что вы яз хочу; паки ли я възму вы на щит» (Ипат. лет., под 1152 г.). Удостоверением устного происхождения этих слов Владимира Галицкого служит не только их помещение в летописи в форме прямой речи, но и сохранение живых интонаций устной речи.

Вообще следует сказать, что многие из образов в летописных описаниях битв в гораздо большей степени обязаны жизни, чем литературной традиции. Так, например, обычное в русской литературе XI—XVII вв. (а отчасти и в фольклоре) сравнение летящих стрел с дождем обязано своей устойчивостью в литературе, несомненно, самой действительности, живому употреблению его в устной речи, а не литературной традиции.

В самом деле, сравнение это имеет в виду не ожесточенность боя вообще, а совершенно конкретные случаи: массовое применение стрел — либо в начале боя, когда важно было расстроить сомкнутый строй противника, нарушить его боевой порядок, либо в момент приступа, когда надо было заставить осажденных покинуть забрала.

199

«От подобных осад и остались стрелы, изобилующие... в культурном слое некоторых городов», — пишет А. В. Арциховский¹.

Выпустить по противнику как можно больше стрел в такие моменты было совершенно необходимо. Только к этим моментам «массированной» стрельбы и применялось сравнение летящих стрел с дождем, с градом, с тучей или для подчеркивания наступившей темноты от стрел: «стрелы омрачиша свет побеженным» (Ипат. лет., под 1240 г.); «стрелам яко дождю идущу на град их» (Ипат. лет., под 1245 г.).

Аналогичное сравнение применялось и тогда, когда речь шла не о стрелах, а, например, о камнях, и это показывает, что перед нами не литературные трафареты. «Ляхом же крепко борюще, и сулицами мечюще и головнями, яко молнья идяху, и каменье яко дождь с небеси идяше» (Ипат. лет., под 1251 г.); «ляхове пуцахуть на ня каменье, акы град сильный» (Ипат. лет., под 1281 г.). В этом последнем примере нет литературного трафарета, так как вместо стрел — камни, а вместо дождя — град, но весь образ тот же и вызвавшие этот образ приемы боя — те же.

Совершенно прав А. В. Арциховский², когда пишет в своем исследовании о древнерусском оружии: «В разгаре боя или приступа стрелы сыпались дождем. Это сравнение возникло уже в древней Руси»³. К этому положению мы должны прибавить только следующее: сравнение это возникло не в литературе, а в действительности. В литературу оно пришло из жизни, и устойчивость его поддерживалась устным употреблением, а не литературной традицией. Образ в данном случае породил термин, а термин основывался на образе.

Это родство терминологии и образов мы видим также и в «Слове о полку Игореве». Оно ярко проступает в выражении «Слова» «итти дождю стрѣлами съ Дону великого». Здесь обычный только что разобранный нами военный термин «обернут» и превращен в образ. Вместо

200

термина «итти стрелам как дождю» автор говорит наоборот «итти дождю стрѣлами» — и этим самым обнажает заключенный в термине образ, лишая его характера термина.

Однако в основном, строя свою образную поэтическую систему, автор «Слова» прибегает не к этому способу. Он пользуется символикой, образами, метонимиями, выработавшимися в действительности, в живой речи, лишь немногими штрихами оживляя их звучание, употребляя их с полной точностью и подчеркивая идейное содержание каждого образа.

Целый ряд образов «Слова о полку Игореве» связан с понятием «меч»: «Олець мечемъ крамолу коваше»; Святослав Киевский «бьяшетъ притрепаль... харалужными мечи» ложь половцев; Игорь и Всеволод «рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлвити»; «половци... главы своя подклониша подъ тьи мечи харалужныи»; Изяслав Василькович «позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя», а сам был «притрепань литовьскыи мечи»; обращаясь к Ярославичам и Всеславичам, автор «Слова» говорит: «Вонзите свои мечи вережени».

Такое обилие в «Слове о полку Игореве» образов, связанных с мечом, не должно вызвать удивления. С мечом в древнерусской жизни был связан целый круг понятий. Меч был прежде всего символом войны. Ср., например, в Новгородской первой летописи: «Что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечемъ, того ся всего отступаем» (Новг. I лет., под 1242 г.). Кроме того, «обнажить мечъ» означало «открыть военные действия», «напасть». С другой стороны, меч был эмблемой княжеской власти. Это особенно ярко сказалось в рассказе Лаврентьевской летописи о том, как Всеволод Большое Гнездо отправлял в Новгород своего сына Константина: «И да ему отец крест честны и меч, река: се ти буди охранник и помощник, а меч прещенье и опасенье, аже ныне даю ти пасти люди своя от противных» (Лавр. лет., под 1206 г.). Меч и оружие были вместе с тем и символами независимости («присла... мечъ и покорение свое». — Ипат. лет., под 1255 г.; или: «Данилу же королеву ставшу в дому Стекинтове, принесе к нему Лев оружие

201

Стекинтово и брата его, и обличи победу свою». — Ипат. лет., под 1255 г.).

Наконец, меч был символом русского народа (в рассказе «Повести временных лет» о дани, собиравшейся хазарами с русских мечами, и в рассказе об обмене подарками между русским воеводой Претичем и печенежским князем). Меч был священным предметом. На мечах клялись русские при заключении договоров с греками (911 и 944 гг.). Этот культ мечей перешел и в христианскую эпоху. «Мечи тех князей, которые причислялись к святым, — пишет А. В. Арциховский, — сами становились предметами культа. Уже Андрей Боголюбский имел при себе меч Бориса (1137 г.); летопись прямо говорит: «...и поставиша над ним его меч, иже и донныне стоит, видим всеми...». Меч Всеволода до сих пор показывают во Пскове...»¹ Меч употреблялся высшими дружинниками и князем. Он был оружием феодальной аристократии по преимуществу. Любопытно, что его не поднимали против смердов. Новгородский князь Глеб поднял на восставших в Новгороде топор, а не меч (1071 г.); топором же расправлялся с восставшими и Ян Вышатич на Белоозере (1071 г.).

Вот почему все образы «Слова», связанные с мечом, полны сложного и глубокого значения, объясняемого многозначностью, смысловую насыщенностью слова «меч».

«Вонзите свои мечи вережени» — призывает русских князей автор «Слова», иначе говоря: прекратите военные действия, в которых вы — обе стороны (и Ярославичи, и Всеславичи) — потерпели поражение. Половцы «главы своя подклониша подъ тьи мечи харалужныи» — и здесь слово «мечи» употреблено во всем богатстве его значений: повержены половцы мечом войны и мечом власти. «Подклонить головы под меч» — означает одновременно и быть ранеными, и быть покоренными.

Но особенно интересно применение слова «меч» во фразе: «Олець мечемъ крамолу коваше». Выражения «ковать ложь», «ковать лесть» обычны в древнерусской письменности: «неведый лесть, юже коваше нань Давыд» (Ипат. лет., под 1097 г.); «не преподобно бо есть ковати ков на брата своего»². Автор «Слова» конкретизирует

202

это выражение тем, что вводит в него понятие меча, которым Олег кует «ложь», «лесть» — «крамолу». В этом гениальном образековки крамолы мечом воплотилось то же

противопоставление мирного труда войне, что и в обычном для «Слова» образе битвы-жатвы, но с предельным лаконизмом, причем вся богатая семантика слова «меч» вложена в этот образ: Олег злоупотребил своею властью — «мечем», куя им крамолу: он ковал крамолу «мечем» — междоусобной войной; каждый взмах меча Олега как молотом усиливал, «ковал» эту крамолу, укреплял ее; и само употребление священного меча для крамолы выступает как «святотатство». Множество ассоциацийковки и войны встает в этом образе: крамола раскалена, как железо на наковальне, поле битвы — наковальня (ср. «притрепань литовскими мечи... на кров») и т. д.

Это не означает, что автор «Слова» вложил все эти значения в свой образ, но это значит, что все эти ассоциации имеют силу в этом образе. И вместе с тем автор «Слова» не «выдумал» свой образ. Он в новом гениальном сочетании употребил тот образ, который уже находился в обиходной речи того времени, в символике общественных отношений XII в.

* * *

Наряду с мечом важное значение в «Слове о полку Игореве» имеет и стяг.

Стягами и хоругвями в Древней Руси подавали сигналы войску. В битве с их помощью управляли движением войск. Стяг — «стягивал» к себе воинов. «Возвлоченный» стяг служил символом победы, поверженный стяг — символом поражения, отступления, бегства. «К стягу собирались дружинники после победы или поражения (если их преследовали); стяг был важнейшим ориентиром среди тысяч разнообразных шеломов и панцырей. По положению стягов определяли положение войск, расстановку сил»¹.

Приведем примеры именно такого употребления стягов: «нашимъ же ставшим межи валома, поставиша стяги свои, и поидоша стрелци из валу; и половци, пришедше к валови, поставиша стягы своя» (Лавр. лет., под

203

1093 г.); «Ростиславу же и Борисови и Мстиславу не введущим мысли брата своего Андреа, яко хошетъ ткнути на пешие, зане и стяг его видяхуть не възвлочен» (Лавр. лет., под 1149 г.); «Мьстиславичи же не доехавше повергоша стяг» (Ипат. лет., под 1177 г.).

Хоругвь или стяг служили знаком того или иного князя или даже всей Руси в целом (в сражениях с иноземцами): «и видящим стягы отца своего...» (Лавр. лет., под 1149 г.); «половци же видивше стягы Ростиславли» (Ипат. лет., под 1191 г.); «аще Руская хоругвь станеть на заборолех, то кому честь учиниши?» (Ипат. лет., под 1229 г.); «Даниил... позревь же семь и семь и види стяг Василков» (Ипат. лет., под 1231 г.) и т. д.

Стягом и хоругвью подавали обычно боевой знак: в 1146 г. киевляне посылали в Изяславу Мстиславичу со словами: «Ты нашъ князь, поеди, Ольговичев не хочем быти акы в задничу; где узрим стяг твой, ту и мы с тобою готови есмь» (Ипат. лет., под 1146 г.); в 1159 г. галичане посылали к Ивану Берладнику, «веляче ему всести на коне, и темь словом поушцають его к себе, рекуче: толико явишь стягы, и мы отступим от Ярослава...» (Ипат. лет., под 1159 г.); в 1254 г. Даниил Романович, взяв чешский город Опаву, «постави хоругвь свою на граде и обличи победу» (Ипат. лет., под 1254 г.).

Стяг был символом чести, славы. Не случайно Давыд Ростиславич говорит об умершем Владимире Андреевиче: «того стяг и честь с душею исшла» (Ипат. лет., под 1171 г.).

Все эти значения слова «стяг», вернее реальную действительность самих стягов в древнерусском военном обиходе, следует учитывать и при толковании соответствующих мест «Слова о полку Игореве». В самом деле, что означает обращение автора «Слова» к потомству Ярослава и Всеслава: «Уж понизите стязи свои». Понизить, повергнуть или бросить стяг имело лишь одно значение — признание поражения. И значение этого

призыва — «понижите стязи свои», то есть признайте себя побежденными, — поддерживается и дальнейшими словами автора: «вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ». Автор этим своим обращением к Ярославичам и Всеславичам хочет указать им на бессмысленность и пагубность для обеих сторон междоусобных войн; в них нет победителей; «обе стороны признайте себя побежденными, вложите в ножны поврежденные

204

в междоусобных битвах мечи; в этих битвах вы покрыли себя позором».

То же значение — поражения — имеет и выражение «третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы». Это даже не образ — здесь это военный термин, но термин, употребленный в поэтическом контексте, и здесь, в этом поэтическом контексте, обновивший лежащий в его основе образ. Стяги Игоря падают — это реальный знак поражения: падают реальные стяги. Но указание на этот факт знаменательно — оно лаконично и образно указывает на поражение Игоревы войска.

Следовательно, в основе этого выражения лежит не литературный образ, а реальный факт, но факт сам по себе говорящий, символика военного обихода.

Отсюда нетрудно понять и выражение «Слова» «стязи глаголють» — то есть стяги свидетельствуют о том, что половцы двигаются в боевом порядке (под стягами) на русских. Это значение поддерживается всем контекстом, в котором употреблено выражение «стязи глаголють». «Слово о полку Игореве» говорит здесь о движении половцев, последовательно описываемом сперва издали, а затем все ближе и ближе. Сперва только приметы и предчувствия появления половцев: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти». Затем в рассыпном строю первыми появляются стрелки, начинающие, как обычно в XI—XIII вв., бой издали. Это начало боя ассоциируется одновременно с началом грозы (образы «Слова» многозначны, насыщены различными ассоциациями): «...се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрѣя плѣкы Игоревы». Затем земля начинает гудеть под копытами конного войска: «земля тутнетъ»¹. Новый момент наступления половцев: степные реки взмутнены от переходящего вброд конного войска половцев — «рѣкы мутно текутъ». Пыль от движения войска покрывает поля: «пороси поля прикрывають». Вот видны уже и стяги, указывающие («глаголющие»), что половцы идут в боевом порядке, «под стягами». Вот уже половцы окружили русских: «половци идутъ отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускѣя плѣкы оступиша». Наконец половцы настолько близки, что слышен

205

и их «клик», которым они «перегородили» поля. После этого автор «Слова», все время устремлявший внимание читателя к приближающемуся войску половцев, с тем чтобы заставить его пережить самому неуклонное наступление врага, короткой фразой обращает внимание читателя к русскому войску: «а храбрии Русици преградиша чрълеными щиты».

Итак, «говорить» о наступлении половцев могли только стяги половцев, а не русских. Автор «Слова» последовательно описывает наступление половцев. Нет, следовательно, нужды видеть в выражении «стязи глаголють» какого-то одушевления этих стягов, якобы предсказывающих нападение половцев. Движение половцев не стоит предсказывать — оно видно и слышно: о движении половцев говорит пыль, поднятая их войском, топот копыт, стяги, их клики¹.

Слово «стяг» имело в древнерусском языке и еще одно значение — «полк, войско» (ср.: «позрев же семь и семь и види стяг Василков стояще и добре борющъ и угры гонящу». — Ипат. лет., под 1231 г.). Это значение слова «стяг» находим мы в том месте «Слова о полку Игореве», где автор воспроизводит бравурную поэтическую манеру Бояна: «Комони ржутъ за Сулою, — звенить слава въ Киевѣ; трубы трубятъ въ Новѣградѣ, — стоять стязи въ Путивлѣ», то есть: «Едва только вражеские кони

появились за пограничной рекой Сулой, как слава о русской победе над врагами уже звенит в Киеве. Едва только трубы затрубили в Новгороде Северском, созывая войска, как войско («стязи») уже собралось в Путивле» (южный пункт Новгород-Северского княжества, откуда новгород-северские войска выступали против половцев).

Наконец, следует обратить внимание и на следующее место «Слова», где «стяги» вновь выступают в их символическом значении: «сего бо нынѣ сташа стязи (то есть приготовились к походу. — *Д. Л.*) Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашуть». Здесь следует прежде всего обратить внимание на слово «розно». Оно не однажды употребляется в летописи для обозначения княжеской розни, но в сочетании со «щитами» —

206

символами защиты, обороны. Ср. в летописи — венгерский король передает следующие слова Изяславу Мстиславичу Киевскому: «...царь на мя грецкий въставаеть ратью, и сее ми зимы и весны нелзе на конь к тебе всести; но обаче, отце, твой щит и мой не розно еста» (то есть я с тобою продолжаю находиться в оборонительном союзе) (Ипат. лет., под 1150 г.); или: «и рекоша ему (Роману. — *Д. Л.*) Казимеричи: «мы быхом тебе раде помогле, но обидить нас стрый (дядя. — *Д. Л.*) свой Межька, ищетъ под нами волости; а переже оправи нас, а быхом быле все ляхове не розно, но за одином быхом щитом быле (вси) с тобою и мьстили быхом обиды твоя» (Ипат. лет., под 1195 г.).

В «Слове о полку Игореве» мы находим вместо «щитов» «стязи» — очевидно, потому, что речь идет не о совместной защите (где было бы уместнее говорить о «щитах»), а о совместном наступлении на степь, причем образ этот конкретизирован тем, что эти стяги представлены с развевающимися полотнищами («хоботами»), а самое понятие «розно» относится к этому развеванию. Таким образом, обычный термин для обозначения союзных или не союзных отношений («твой щит и мой не розно еста») конкретизирован, превращен в зрительно четкий образ. И здесь, как и в других случаях, автор «Слова» не изобретает новых образов, сравнений, поэтических тропов, — он как бы вылушивает их из того, что уже имелось в языке, в сознании народа, в военном и феодальном обиходе его времени, благодаря чему его образы легко воспринимались, были близки читателю.

* * *

Наряду с «мечом», «стягом», сложными ассоциациями был окружен в Древней Руси XI—XIII вв. и другой предмет вооружения русских войск — «копье». Реальное значение «копья» выходило за пределы только предмета вооружения.

По поводу копья А. В. Арциховский пишет: «Важнейшим оружием наравне с мечом было, конечно, копье... по курганным данным копье демократичнее меча. Но ни один обладатель меча, хотя бы и самого хорошего, без копья в бою обойтись не мог, потому что это оружие достает дальше. Длина древнерусского меча 70—90 см., длина копья, судя по изредка встречаемым в курганах

207

остаткам древков, 1,5—2 м. Даже князь, если ему приходилось лично вступать в бой, пользовался копьем... Древко в бою, сослужив свою службу, ломалось быстро. Копье могло треснуть и от собственного удара, но чаще об этом, конечно, заботились неприятели»¹.

Характерно, что битва ассоциировалась прежде всего с этим ломанием копий: «ту бе видети лом копийный и звук оружьный» (Ипат. лет., под 1174 г.); «ту беяше лом копейный» (Новг. IV лет., под 1240 г.).

Аналогично этому, и в «Слове о полку Игореве» битва ассоциируется прежде всего с этим ломанием копий: свое предвидение битвы автор «Слова» конкретизирует словами: «ту ся копиемь приламати».

Поскольку копьё было оружием первой стычки и почти всегда ломалось в ней, нам становится понятным и обычный в летописи термин — «изломить копьё», употреблявшийся для обозначения того, что воин первым принял участие в битве. Вот примеры, когда князь ломает копьё в первой же стычке: «въеха Изяслав один в полкы ратных и копьё свое изломи» (Лавр. лет., под 1147 г.); Андрей Боголюбский «въехав преже всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копьё свое в супротивье своем» (Лавр. лет., под 1149 г.); «Андрей же Дюргевичъ взяма копьё и еха наперед и съехася переже всих и изломи копьё» (Ипат. лет., под 1151 г.); «Изяслав же Глебовичъ внук Юргев доспев с дружиною возма копьё потъче к плоту где бяху пеши вышли из города, твердь учинивше плотомь. Он же въгнав за плот к воротам городнымь, изломи копьё» (Лавр. лет., под 1184 г.).

Иногда выражение «изломить копьё» употреблялось только для обозначения первой боевой схватки князя, его личного участия в единоборстве перед общей битвой. «И тако перед всеми полкы въеха Изяслав один в полкы ратных и копьё свое изломи» (Ипат. лет., под 1151 г.). Этими словами летописец подытоживает свой предшествующий рассказ, где более подробно описывалось личное участие Изяслава в битве.

Итак, «изломить копьё» — это символ вступления в единоборство, символ личного участия князя в битве. Упоминание «изломления копья» подчеркивает, что князь не только руководил сражением, но и сам единоборствовал, вступал в схватку с неприятелем. «О того же

208

гордаго Филю, Льв, млад сы, изломи копьё свое» (Ипат. лет., под 1249 г.) — говорит летописец, подчеркивая этим не потерю копья (оружия, как мы видели, дешевого), а факт единоборства Льва Даниловича с воеводой Филой.

Совсем иной характер носит термин «изломить копьё» в статье 18-й «Краткой Правды»: «А иже изломить копьё, любо щит, любо порт, а начнеть хотети его держжжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнеть приметати, то скотом ему заплатити, колько дал будеть на нем». Здесь выражение «изломить копьё» не носит характера военного термина и военного символа. Его значение не шире его реального непосредственного представления.

Отсюда ясно, что слова Игоря Святославича «хощу бо... копие приломити конець поля Половецкого...» заключают в себе типичный для военной символики XII в. образ, точное значение которого следующее: «Хочу вступить в единоборство в начале Половецкого поля». Образ этот не измышлен автором «Слова».

Со словом «копьё» в летописях связывается целый ряд и других значений: «сунуть копием» (Лавр. лет., под 946 г.), «ударить копием» (Лавр. лет., под 945 г.), «побадыватися копыи» (Ипат. лет., под 1281 г.), «взять копием» и «добыть копием». На этих последних выражениях следует остановиться подробнее. Вот их реальное употребление в летописи: «одоле Святослав и взя град копием» (Лавр. лет., под 971 г.); под 1097 г. в Лаврентьевской летописи Володарь и Василько «взяста копьём град Всеволож», ср. также «взяша град Рязань копьём» (Ипат. лет., под 1237 г.). Ср. слова Владимира Васильковича брату Мстиславу: «брате! ты мене ни на полону ял, ни копьём мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя еси» (Ипат. лет., под 1287 г.). Вся эта символика, связанная в Древней Руси с «копьём», придает особый оттенок выражению «Слова» «дотчеся стружиемь злата стола киевскаго». Всеслав Полоцкий не взял Киев «копием» — он только «доткнулся» его, всего семь месяцев пробыв киевским князем в 1068 г. Он взял его не военной силой, но и не мирным путем, придя к власти через восстание киевлян. Он «доткнулся» золотого киевского стола «стружием» — древком копья; сейчас бы мы сказали «прикладом».

Загадочным представляется в «Слове» только выражение «копия поють». В XII в. копьё не было метательным

209

оружием¹. Следовательно, здесь говорится не о пении копьё в полете, подобном пению летящих стрел или летящих камней². Фраза не укладывается в текст «Слова» и ритмически. Она как бы оборвана, а возможно и искажена.

* * *

В дружинном быту Древней Руси такое же особое место, как предметы вооружения — меч, копьё и щит, занимал боевой конь воина. В XII и XIII вв., в отличие от X и XI вв., русское войско было по преимуществу конным³. Этого требовала прежде всего напряжённая борьба с конным же войском кочевников. Но и вне зависимости от этого княжеский конь был окружен в феодальном быту особым ореолом. Летописец Даниила Галицкого уделяет особенное внимание любимым боевым коням своего господина (Ипат. лет., под 1213 и 1255 гг.). Летописец Андрея Боголюбского отводит особое место описанию подвига его коня, спасшего Андрея, и отмечает ту «честь», которую воздал ему Андрей, торжественно его похоронив, «жалуя комоньства его» (Лавр. лет., под 1149 г.).

Это особое положение боевого коня в феодальном быту XII—XIII вв. придавало ему особую смысловую значительность. В коне ценилась прежде всего его быстрота. Это создало эпитет коня «борзый», встречающийся и в летописи (Ипат. лет., под 1213 г.), и в «Слове» («А всядемы, братие, на свои бръзья комони»).

С конем же был связан в феодальном быту целый ряд обрядов. Молодого князя постригали и сажали на коня.

210

После этого обряда «посаждения на коня», или «посага», князь считался совершеннолетним.

Одним из наиболее значительных моментов выступления войска в поход была посадка войска на коней. Вот почему в летописи «сесть на коня» означало «выступить в поход». Отсюда такие выражения, как «сесть на коня против кого-либо», или «сесть на коня на кого-либо», или «сесть на коня за кого-либо»: «и вседоша (на кони) на Володимерка на Галичь» (Лавр. лет., под 1144 г.); «а сам Изяслав вседе на конь на Святослава к Новугороду иде» (Ипат. лет., под 1146 г.); Всеволод «вседе на конь про свата своего» (Лавр. лет., под 1197 г.).

Характерно это употребление единственного числа «всесть на конь», даже если речь идет о войске, о дружине или о нескольких лицах. Перед нами метонимия, ставшая в полном смысле термином, с утратой первоначального значения. Иное дело в «Слове о полку Игореве», где обычно вскрывается, возрождается первоначальный образ, лежащий в основе того или иного термина или ставшего ходячим выражения. В «Слове» мы читаем: «А всядемы, братие, на свои бръзья комони», а не «комонь», или «конь», как обычно говорится в летописи.

Летопись отмечает немало случаев, в которых слово «конь» входит в состав различных военных терминов, образованных путем метонимии: «ударить в коня» означает пуститься вскачь (Лавр. лет., под 1178 г.); «поворотить коня» — уехать, отъехать или вернуться [«и повороти коня (единственное число. — Д. Л.) Мстислав с дружиною своею от стрья своего». — Лавр. лет., под 1154 г.]; «взять за повод» — остановить («берендееве же яша за повод, рекуще: „Княже, не ездѣ“». — Лавр. лет., под 1169 г.), «быть на коне», «иметь под собою коня» означало готовность выступить в поход [ср.: «И рекоша ему (Изяславу. — Д. Л.) угре: „мы гости есме твои; оже добре надеешися на кияны, то ты сам ведаеши люди своя, а комони под нами“». — (Ипат. лет., под 1150 г.)].

Употребление части вместо целого как основы многих терминов XI—XIII вв. еще более ясно проступает в выражении, которое встречается только в «Слове о полку Игореве»: «вступить в стремя» — в том же значении, что и обычное «всесть на конь», то есть «выступить в поход». Это выражение «вступить в стремя» построено по тому же принципу, что и ряд других терминов и метонимий «Слова», летописи и обыденной, живой речи XI—XIII вв. Характерно при этом употребление термина

211

«вступить в стремя» с предлогом «за»: «Вступита, господина, въ злата стремя за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!», дающего полную аналогию вышеразобранному термину летописи «всесть на конь за кого-либо».

Вдевание ноги в стремя было самым важным моментом посадки князя на коня. В миниатюре Радзивилловской летописи на листе 234-м изображен именно этот момент: оруженосец стоит на одном колене и держит одной рукой стремя, а другой — узду, в то время как князь Святослав вдевает ногу в стремя. Перед нами ритуал — «рыцарский», дружинный. Автор «Слова», создавая данный образ, не отступил от своего поэтического принципа: он берет не случайную ассоциацию, не просто характерное положение, а тот момент, который и в самой действительности считался значительным и отмечался некоторым этикетом.

В известном смысле стремя было таким же символическим предметом в дружинном быту XI—XIII вв., как и меч, копье, щит, стяг, конь и проч. «Ездить у стремени» — означало находиться в феодальном подчинении. Так, например, Ярослав (Осмомысл) говорил Изяславу Мстиславичу через посла: «ать ездить Мьстислав подле твой стремя по одной стороне тебе, а яз по другой стороне подле твой стремя ежду, всими своими полкы» (Ипат. лет., под 1152 г.). Кроме вассальной зависимости, нахождение у стремени символизировало вообще подчиненность: «галичаномъ же текущимъ у стремени его» (Ипат. лет., под 1240 г.).

Во всех приведенных нами выше выражениях «стремля» выступает только как символ власти феодала. Все это придает особую значительность выражению «Слова» «вступить в стремя». Вступали в стремя только князья; когда же речь идет о дружине, автор «Слова» употребляет обычное выражение «всесть на кони»: «А всядемъ, братие, на свои бръзья комони», — обращается Игорь к своей дружине, но не «вступим в стремя». Ведь вступают в стремя только князья: «тогда вьступи Игорь князь въ златъ стремя и поѣха по чисту полю»; Олег «ступаетъ въ златъ стремя въ градѣ Тьмутороканѣ»; «вступита, господина, въ злата стремя» — обращается автор «Слова» к Рюрику и Давыду Ростиславичам. В этом различии, которое делает автор «Слова», несомненно, сказалась его хорошая осведомленность в ритуале дружинного быта.

212

Встает еще один вопрос — не было ли таким же символом власти, положения в известном отношении и «седло». Если это так, то это ввело бы в тот же круг художественного мышления автора «Слова» и другое выражение: «высѣдѣ из сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево». «Седло злато» — это седло княжеское. Только княжеские вещи имеют этот эпитет — «стремля», «шлем», «стол» (престол). Конечно, в основе этого эпитета лежат и реальные предметы, покрывавшиеся позолотой лишь в дорогом обиходе князя, но автор «Слова о полку Игореве» отлично понимал и другое: ритуальную соотнесенность этих двух понятий — «княжеского» и «золотого» — как присущего специфически княжескому быту. Вот почему и само «слово» князя Святослава «золотое». Совсем иное в «Задонщине», где эта связь золота и князя утрачена, ср.: «гремят удальцы рускыя золочеными доспехы»¹ — о русском войске: «А в них сияють доспех[и] золочены[е]», «злаченым доспѣхом посвѣчива[ет]» и Пересвет, «Руский сынове поля широкий кликом огородиша, золочеными [доспѣхи] осветиша»².

В устройстве древнерусских городов такими же исполненными символического значения предметами были городские ворота и забралы стен. Я подчеркиваю, что значением этим обладали не слова «ворота» и «забралы», а самые вещи — самые материальные явления. Так же точно и не слова «меч», «копье»... имели значимость феодальной символики, а самые предметы — сам меч, само копье, в силу чего они входили в ритуал, в обрядность, в этикет. На мечах клялись, мечи почитали, меч хранили, мечом «пасли» — посвящали в высший ранг феодального общества, меч давали князю при отправке его на княжение и т. д. и т. п.

Символическое значение городских ворот было также хорошо известно в Древней Руси.

Мы можем догадываться, что не все ворота в городе обычно бывали облечены этим символическим значением, а только главные. Не случайно полотнища главных ворот обивались медными золочеными листами

213

и на них ориентировалась архитектурная мысль строителей древнерусских городов (ср. Золотые ворота в Киеве и во Владимире). Исследователь Ярославова города в Киеве М. К. Каргер пишет по поводу киевских Золотых ворот этого Ярославова города: «Главными воротами города, парадным городским порталом становятся южные Золотые ворота. Только эти ворота особо упомянуты в летописях и проложных сказаниях о строительной деятельности Ярослава. Только над этими воротами Ярослав соорудил надвратный храм. Именно с этими воротами связано наибольшее количество древних киевских легенд. Именно у этих ворот устраивали киевляне не раз торжественные встречи. Именно в эти ворота стремились войти и непрошенные гости, прохождением через Золотые ворота стремившиеся подчеркнуть свою победу над Киевом. Все парадное строительство Ярослава развертывается в южной части города, между Золотыми воротами и Софийским собором»¹.

Особое значение главных ворот города в символике древнерусского феодализма не могло не отразиться и в языке. Ударить, «сечь» в ворота означало напасть на город. В описании битвы под Киевом 1151 г. в Ипатьевской летописи говорится: «ту же и Севенча Боняковича дикаго половщина убиша, иже бяшет рекл: „Хоцю сечи в Золотая ворота, яко же и отець мой“». Севенч Бонякович имеет в виду события 1096 г., когда Боняк напал на Киев «и мало в град не въехаша», разгромил его «болонье» и Киево-Печерский монастырь, но самого города не взял. Севенч не надеется взять Киев, но он хочет «сечи» в его ворота, то есть напасть на него и погромить его округи.

Открыть главные ворота города или затворить их имело символическое значение. Действия эти свидетельствовали о желании горожан сложить оружие или оказать сопротивление. Именно в связи с этим образовался ряд выражений. Вместо того чтобы сказать, что горожане решили сопротивляться, в летописи очень часто говорится «затвориша врата»; вместо того чтобы сказать, что город сдался, в летописи найдем «отвориша врата»:

214

«придоша ляхове на Володимер, и отвориша им врата володимерци» (Ипат. лет., под 1204 г.), «а вышегородци поклонишася, отвориша врата» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1214 г.).

В громадном большинстве случаев эти термины «отвориша врата» и «затвориша врата» употребляются без слова «врата». Так, например, в Ипатьевской летописи под 1123 г. рассказывается о том, как Ярослав Святополчич подошел к городу Владимиру Волынскому и сказал: «То есть град мой; оже ся не отворите, ни выйдете с поклоном, то узрите завѣтра приступлю к граду и възму город». Или: «Гюргий же приде к Белугороду,

и рече белгородцем: „Вы есте люди мои; а отворите ми град“. Белгородци же рекоша: „А Киев ти ся кое отворил?“» (Ипат. лет., под 1151 г.) и т. д.¹

«Слово о полку Игореве», с его стремлением к конкретности образов, никогда не употребляет выражения «отворить» или «затворить» без прибавления «врата». Автор «Слова» не пользуется этими сокращениями и ходовыми выражениями. Он прибавляет «врата» и тем конкретизирует термин, возвращает ему наглядность и художественную силу: «затворивъ Дунаю ворота», «отворяеши Киеву врата» (о Ярославе Осмомысле), «отвори врата Новуграду» (о Всеславе Полоцком).

Это чувство конкретности художественного образа, лежащего в основе термина, особенно ярко проступает в «Слове о полку Игореве» в обращении к Иньгварю, Всеволоду и всем трем Мстиславичам: «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами».

В основе своей слова эти не выдуманы автором «Слова о полку Игореве». Сходные слова мы прочтем и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича. В летописи они вложены в уста Святослава Всеволодовича: «воздохнув» и утерев слезы (ср. «слезами смешено»), произнес: «о любя моя братья и сыновѣ и муже земле Руское! дал ми бог притомити поганья; но не воздержавше уности отвориша ворота на Русскую землю». В этих деловых словах нет художественного значения. «Отворить ворота» — здесь только термин, означающий «впустить врагов». Однако автор «Слова о полку

215

Игореве» использует этот термин с художественным умением. Он не говорит «затворите полю ворота», как мы ожидали бы, если бы автор «Слова» использовал это выражение только как термин. Термин этот автор «Слова» ощущает во всей его конкретности. Вот почему он не может допустить в данном случае слишком прямого, зрительно ясного понимания этого термина, так как в широких просторах степных границ Руси было бы антихудожественным представить себе конкретные ворота, при этом еще отворявшиеся и затворявшиеся. Поэтому автор «Слова» говорит не «затворите ворота», а «загородите ворота». Следующими тремя словами окончательно отводится зрительный конкретный образ полотнищ ворот. В «Слове» сказано: «своими острыми стрѣлами». Перед глазами читателя встают не конкретные ворота, а «ворота» — как некоторая брешь, как гигантский вход на Русскую землю, который можно только загородить летящими стрелами.

В «Слове», наконец, имеется и еще одно выражение, связанное с теми же воротами: Ярослав Осмомысл Галицкий высоко сидит на своем златокованом столе, «заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота». Смысл этого выражения, очевидно, в том, что галицкий князь Ярослав затворил не какие-то воображаемые или действительные ворота Дуная (в этом смысле термин этот никогда не употребляется), а затворил ворота своей земли *от* Дуная. Как явствует из всех приведенных выше примеров, «отворить» ворота можно и свои, и чужие (последние насильно), «затворить» ворота можно только свои. Выражение это, следовательно, отнюдь не означает, что Ярослав «затворил ворота *на* Дунае», или «Дунайские», а затворил их *от* стран, находящихся по Дунаю, в первую очередь от Византии, с которой Ярослав на Дунае имел смежные границы (ср. выше «загородите полю ворота», то есть «от поля»).

* * *

Выше мы показали некоторые художественные образы «Слова о полку Игореве», выросшие на почве военной символики, военной терминологии и военных обычаев XI—XII вв. Символика феодального быта также отразилась в «Слове».

Феодальный быт XI—XII вв. был связан на Руси со

сложным этикетом. Этикет этот распространялся на весь быт верхов феодального общества: княжеский, дружинный, боярский. Княжеские постриги и обряд посажения князя на коня (Ипат. лет., под 1192 г.), совещания на ковре (Лавр. лет., под 1100 г.: «да се еси пришел и седишь с братьею своею на одином ковре»), совещания верхом на конях (Ипат. лет., под 1150 г.), заключение мира, выступление в поход и т. д. — все это было обставлено известным церемониалом, в свою очередь отразившимся в языке — в появлении новых терминов и в обрядовых формулах. Так, например, выражение «стать на костях» — выражение, обычно означающее «одержать победу», — не является просто формулой воинских повестей, а связано с каким-то церемониальным моментом, о котором нам напоминают немногие лишь намеки в летописи («и Льв ста на месте, воиномъ посреде трупья, являюща победу свою». — Ипат. лет., под 1249 г.).

Попали в летопись и некоторые из словесных формул, употреблявшихся в церемониале. Так, например, в настойчиво повторяющейся летописью формуле «а ты наш князь» можно подозревать формулу принятия князя горожанами (Ипат. лет., под 1150, 1154, 1159, 1289 гг.; во всех этих случаях, принимая князя, горожане говорят ему эти слова; ср. также в новгородских летописях).

Поговорка «Мир стоит до рати, а рать до мира», очевидно, употреблялась как приглашение начать мирные переговоры (Ипат. лет., под 1148 и 1151 гг.).

Такую же формулу мы можем подозревать и в известном лирическом, дважды повторенном, восклицании «Слова»: «А Игорева храбраго пльку не крѣсити». Эта формула возникла еще в дофеодальный период. По-видимому, первоначально она означала отказ от родовой мести. Именно в этом смысле ее употребляет Ольга: «уже мне мужа своего не кресити» (Лавр. лет., под 945 г.). В таком смысле она употребляется изредка и позднее. В 1015 г. Ярослав говорит новгородцам про свою побитую дружину: «уже мне сих не кресити». Словами этими Ярослав отказывается от мести за свою дружину. В 1148 г. именно этой формулой Ольговичи отказываются от мести за убийство Игоря Ольговича: «уже намъ не воскресити брата своего, князя Игоря Ольговича» (Никон. лет., под 1148 г.). Однако с отмиранием обычаев родового общества формула эта стала употребляться как обычное утешение, как признание невозвратимости утраты. Эти слова говорит Изяслав Мстиславич Изяславу Давидовичу,

утешая его в смерти брата: «и слыша Изяслав плачущася над братомъ своимъ Володимеромъ, и тако оставя свою немочь, и всадиша и на конь и еха тамо, и тако плакашеть над ним, акы и по брате своем; и долго плакав, а рече Изяславу Давыдовичю: „Сего нама уже не кресити...“» (Ипат. лет., под 1151 г.).

В «Слове о полку Игореве» эта формула «уже не кресити» употребляется не как формула отказа от мести, а в более новом значении — как формула утешения. Здесь в контексте «Слова» как формула утешения она приобретает и особое лирическое звучание¹.

* * *

С феодальными счетами связан целый ряд терминов: «явить вину» (Лавр. лет., под 1097 г.), «учинить неправду», «погубить правду» («Мне еси учинил неправду, а себе еси погубил». — Ипат. лет., под 1254 г.), «подкладывать вину» (Ипат. лет., под 1105 г.), «отдать гнев» (Ипат. лет., под 1195 г.), «держатъ гнев» (Ипат. лет., под 1251 г.), «предаться» (Лавр. лет., под 1127 г.), «утвердиться» («утвердиться с людьми». — Ипат. лет., под 1154 г.), «соступитья чего-либо» («сступи Дюрги Киева». — Ипат. лет., под 1149 г.), «иметь часть в чем-либо» («так ли мне части нету в Руской земли». — Ипат. лет., под 1148 г.), «ловить голову» («ловятъ головы моя». — Ипат. лет., под 1189 г.), и др.

В одном случае автор «Слова» использует и переиначивает формулу раздела феодальных притязаний: «се мое, а то твое». Формула эта неоднократно встречается в договорах князей между собой.

Она связана обычной антитезой: «мы себе, а ты себе», «твой мечь, наше голови», «яко земля ваша, тако земля моя» и т. д.

Вот раздел Изяслава Мстиславича с Владимиром и Изяславом Давыдовичами. Изяслав Мстиславич говорит: «Что же будеть Игорева в той волости, челядь ли товар ли, то мое; а что будеть Святославе челядь и товара, то разделим на части» (Ипат. лет., под 1146 г.).

Автор «Слова о полку Игореве» нарушает эту двучастность, он сатирически изображает договоры князей

218

и пишет не «се мое, а то твое», а «се мое, а то мое же», подчеркивая этим стремление князей захватить себе как можно больше. Таким образом, и здесь термин, формула перерастает в образ, становится средством художественного воздействия.

* * *

К феодальной терминологии принадлежит и слово «обида». Его значение не покрывается понятием «оскорбление» или современным значением слова «обида»¹. Его основное значение в XII—XIII вв. — нарушение права, несправедливость. Это значение выработалось в обстановке усиленных феодальных счетов. Первоначальное его значение как нарушения права отчетливо выступает уже в «Русской Правде»: «Оже ли себе не можеть мьстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мьзда» (2-я статья «Краткой Правды»); «Аще утнеть мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривне за обиду» (4-я статья «Краткой правды»; ср. статьи «Краткой правды» 7, 11, 13, 15, 19, 29, 33, 37, 43 и «Пространной правды» 23, 34, 46, 47, 59, 60, 61).

Впоследствии слово «обида» все чаще и чаще употребляется в отношении нарушений именно княжеских феодальных прав и приобретает все более и более отвлеченное значение. Так, например, Изяслав Мстиславич отрядил брата своего Владимира к венгерскому королю со словами: «Оже, брате, твоя обида, то не твоя, но моя обида, паки ли моя обида то твоя» (Ипат. лет., под 1150 г.); в другом случае Изяслав Мстиславич и Вячеслав отрядили Мстислава Изяславича к венгерскому королю со словами: «Нама дай бог неразделно с тобою быти ни чим же, но а что твоя обида кде, а нама дай бог ту самем быти за твою обиду» (Ипат. лет., под 1151 г.); венгерский король в свою очередь передал Изяславу: «Отце! кланяются, прислал еси ко мне про обиду галичкаго князя, а яз ти zde доспеваю...» (Ипат. лет., под 1152 г.). Ср. также: «Отец твой бяше слеп, а яз отцю твоему до сыти послужил своим копием и своими полкы за его обиду» (Ипат. лет., под 1152 г.); «И послаша Лариона

219

сочьскаго къ Гюргю: „Кланяем ти ся; нету ны с тобою обиды, с Ярославомь ны обида“»; «а в обиду его дай ми бог голову свою сложити за нь» (Ипат. лет., под 1287 г.), «стоять за тобою во твою обиду» (Ипат. лет., под 1287 г.), и т. д.

Из приведенных примеров ясно, что мстить друг другу обиды, стоять за свою обиду и обиду своего главы было главною обязанностью феодала.

Значение этого понятия «обида» было очень велико в феодальном обществе.

Автор «Слова о полку Игореве» олицетворяет эту обиду: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука». Это выражение — «въстала обида» — следует сопоставить с аналогичным выражением летописи — «встало зло» (ср. в словах Мономаха под 1097 г.: «то болшее зло встанеть в нас», — Лавр. лет.). Это обычное древнерусское выражение автор «Слова» использует как исходный момент для целой картины. Здесь, как и в других

местах, автор «Слова о полку Игореве» ощущает язык во всей его конкретности; термин рождает образ; термин «встала обида» рождает образ девы обиды: «встала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону; плещучи, убуди жирня времена».

Но самым замечательным в употреблении термина «обида» является другое. Слово «обида» в летописи употребляется не одну сотню раз. Оно употребляется во всех случаях, когда речь идет о нарушении или возможном нарушении прав князя, княжества, города («где будетъ обида Новугороду, тебе потянути за Новѣгород с братом своим» — «Договорная грамота» Тверского великого князя Михаила Ярославича с Новгородом 1301—1302 гг.) или даже монастыря («а от кого будетъ какая обида нашему монастырю, ино досмотрят и боронить нам самим»). — Запись при кн. Еванг. чт. Публ. библ. д. 1400 г.¹). Однако в летописи термин этот никогда не употребляется в отношении всей Русской земли в целом. Иначе в «Слове о полку Игореве»: «Вступита, господина (Рюрик и Давыд Ростиславичи. — Д. Л.), въ злата стремянь за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!»; «встала обида

220

въ силахъ Дажьбожа внука» (то есть в русских войсках в целом).

Тем самым автор «Слова» открывал путь для более широкого понимания слова «обида», освобождал это понятие от его феодальной ограниченности, обращал внимание читателей на обиду всей Русской земли.

Здесь, как и в других местах «Слова», автор его пользуется привычными выражениями, привычными образами своего времени, но придает им художественное содержание и влагает в них элементы новой идеологии, более широкого взгляда на единство Руси — взгляда, который затем возобладает в первые годы монгольского нашествия (в «Слове о погибели Русской земли», в «Житии Александра Невского» и пр.).

* * *

Такое же переосмысление феодальных понятий видим мы и в следующих словах «Слова о полку Игореве»: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе». Битва между феодалами, междоусобная битва часто рассматривалась в XI—XII вв. как суд божий, как суд оружием в феодальных спорах: выигравший битву оказывается и оправданным этим «судом Божиим». Так, например, в 1151 г. Изяслав Мстиславич Киевский перед битвой у Перемышля с Владимирком Галицким говорит: «се уже мы идем на суд божий» (Ипат. лет., под 1151 г.). Вот почему все требования князей друг к другу подкреплялись этим указанием на божественный суд: «А како нам бог дасть» (Ипат. лет., под 1150 г.); «акоже ти с ним бог дасть» (там же); «ать вси по месту видим, што явить ны бог» (Ипат. лет., под 1151 г.); «а тогда како ны бог дасть с ним» (там же); «да бог за всим» (там же); «оже бог дасть» (там же); «а то богови судити» (там же), «како нам с ним бог дасть» (Ипат. лет., под 1152 г.), «како ми с ним бог дасть, да любо аз буду в Угорьской земли, либо он в Галичьской» (там же); «а нама с королем с тобою како бог дасть» (там же), «како ны с ними бог дасть и святая богородица» (Лавр. лет., под 1176 г.); «как ны бог дасть» (Ипат. лет., под 1185 г.), «но како ны бог дасть» (там же), «што нам бог даст» (Ипат. лет., под 1194 г.); «не хошеши ли того створити, а за всим бог» (там же); «ныне же, брате, поеди, а видеде оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло» (там же), и т. д. и т. п.

221

Автор «Слова» пользуется дважды этим типичным для XII в. представлением о битве как о высшем суде, но с характерным отличием: битва для него не суд между спорящими князьями, не суд о том, кто из них прав, а суд над всей деятельностью князя; судится не спор между князьями, судится сам князь за все его поступки: «Бориса же Вячеславлича

слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Здесь нет и намека на то, что суд этот божий. Здесь, как и в других местах «Слова», элементы христианского объяснения отсутствуют в «Слове» (см. об этом также наст. изд., с. 81) и самое понятие суда шире, чем феодальное представление о битве как о суде оружием. Ближе всего к этому выражению «Слова о полку Игореве» — «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе» — слова Мстислава Владимировича в письме к своему отцу Владимиру Мономаху по поводу гибели своего брата Изяслава в сражении с Олегом «Гориславичем»: «а братцю моему суд пришел».

Наконец, то же широкое и мудрое представление о судьбе человека как о суде за всю его деятельность, но на этот раз в христианской трансформации, встречаем мы в «Слове» в оценке всей деятельности Всеслава Полоцкого: «Тому вѣщей Боянь и прѣвое припѣвкву, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

И здесь, следовательно, привычное для XII в. представление в «Слове» получает художественное звучание и более широкое идейное содержание. Понятие «суда божьего» автор «Слова» понял и более широко, и более по-народному, чем это было принято в феодальной среде его времени: суд божий свершается не только над людьми, но и над птицами.

* * *

Мы видели выше, что многое в художественных образах «Слова» рождалось самою жизнью, шло от разговорной речи, от терминологии, принятой в жизни, из привычных представлений XII в. Автор «Слова» не придумывал новых образов. Многозначность таких понятий, как «меч», «копье», «щит», «стяг» и т. д., была подсказана особенностями употребления самих этих предметов в дружинном обиходе. Были полны символического метафорического

222

смысла не слова, их обозначающие, а самые вещи, обычаи, жизненные явления. «Меч», «копье», «стремя» входили в ритуал дружинной жизни, и отсюда уже слова получали свою многозначность, свой художественный, конкретно-образный потенциал.

Не все стороны действительности могли давать материал для художественных сравнений, метафор. Арсеналом художественных средств были по преимуществу те стороны быта, действительности, которые сами по себе были насыщены эстетическим смыслом. Мы видели их уже в войне и в феодальном быте. Ниже мы увидим, что их в изобилии рождала также соколиная охота, пользовавшаяся широким распространением в феодальной Руси. Владимир Мономах говорит в «Поучении» об охотах наряду со своими походами. И те, и другие в равной мере входили в его княжеское «дело». Соколиную охоту имеет в виду и «Русская Правда», назначая штраф в три гривны за кражу ловчих птиц в чьем-либо перевесе. Эпизод охоты дошел до нас в рассказе «Повести временных лет» под 975 г. За XII и XIII вв. княжеская охота неоднократно упоминается в Ипатьевской летописи. Сам Игорь Святославич забавлялся ястребиною охотою в половецком плену.

Не может быть сомнения в том, что охота с ловчими птицами (соколами, ястребами, кречетами) доставляла глубокое эстетическое наслаждение. Об этом свидетельствует позднейший «Урядник сокольникского пути» царя Алексея Михайловича. «Урядник» называет соколиную охоту «красной и славной», приглашает в ней «утешаться и наслаждаться сердечным утешением». Основное в эстетических впечатлениях от охоты принадлежало, конечно, полету ловчих птиц. «Тут дело идет не о добыче, не о числе затравленных гусей и уток, — пишет С. Т. Аксаков в «Записках ружейного охотника», —

тут охотники наслаждаются резвостью и красотой соколиного полета или, лучше сказать, невероятной быстротой его падения из-под облаков, силою его удара». «Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет», — пишет и «Урядник».

Вот почему образы излюбленной в Древней Руси соколиной охоты так часто используются в художественных целях. В этом сказались, как мы уже видели раньше, до известной степени особенности эстетического сознания Древней Руси: средства художественного воздействия брались по преимуществу из тех сторон действительности,

223

которые сами обладали этой художественной значительностью, эстетической весомостью.

Образы соколиной охоты встречаются еще в «Повести временных лет»: «Боняк же разделися на 3 полкы, и сбиша угры акы в мячь, яко се сокол сбивает галице» (Лавр. лет., под 1097 г.). В этом образе «Повести временных лет» есть уже то противопоставление соколов галицам, которое несколько раз встречается и в «Слове о полку Игореве». Противопоставление русских — соколов врагам — воронам есть и в Псковской первой летописи. Александр Чарторыйский передает московскому князю Василию Васильевичу: «Не слуга де я великому князю и не буди целование ваше на мне и мое на вас; коли де учнуть псковичи соколом вороны имать, ино тогда де и мене Черториского воспомянете» (Псковск. I лет., под 1461 г.).

Несколько раз в летописи встречается указание на быстроту птичьего полета; как бы мечтая о возможности передвигаться с такою же быстротою, Изяслав Мстиславич говорит о своих врагах: «да же ны бог поможет, а ся их отобьем, то ти не крилати суть, а перелетевше за Днепр сядуть же» (Ипат. лет., под 1151 г.). Тот же образ птичьего полета встречается и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря 1185 г. Дружина жалеет, что Игорь не может перелететь как птица и соединиться с полками Святослава: «Потом же гада Игорь с дружиною, куды бы (мог) переехати полкы Святославу; рекоша ему дружина: „Княже! потьскы (по-птичьи. — Д. Л.) не можешь перелетети; се приехал к тебе мужь от Святослава в четверг, а сам идет в неделю ис Киева, то како можеш, княже, постигнути“». Игорь же торопился, ему было «не любо» то, что сказала ему дружина (Ипат. лет., под 1185 г.). Тот же образ птичьего полета, позволяющего преодолевать огромные пространства, видим мы и в «Слове»: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?» Встречается в летописи и сравнение русских воинов с соколами: «Приехавшим же соколомъ стрелцемъ, и не стерпевъшим же людемъ, избиша е и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.). Именно это сравнение, излюбленное и фольклором, чаще всего употреблено в «Слове о полку Игореве»: «се бо два сокола слѣтѣста»; «коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнѣзда своего въ обиду»; «высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ

224

буйствѣ одолѣти»; «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци»; «аже соколъ къ гнѣзду летить, а вѣ соколца опутаевѣ красною дѣвицею».

Замечательно, что во всех этих сравнениях воинов-дружинников и молодых князей с соколами перед нами сравнения развернутые, рисующие целые картины соколиного полета, соколиной охоты в охотничьих терминах своего времени (соколы «слѣтѣста», сокол бывает «въ мытехъ» и тогда «не дастъ гнѣзда своего въ обиду», сокол «высоко плаваетъ», то есть парит, собираясь «птицю въ буйствѣ одолѣти», сокола «опутывают», то есть надевают ему на ноги «путинки» и т. д.).

Весьма возможно, что образ «пардуса», встречающийся и в летописи (сравнение с пардусом Святослава Игоревича под 964 г.), и в «Слове» («пардуже гнѣздо»), связан с

охотой с помощью ловчих зверей¹. Как показал Н. В. Шарлемань, пардус (гепард) был охотничьим зверем в Древней Руси².

Я не останавливаюсь подробнее на образах «Слова», связанных с охотой, на употребляющейся в нем охотничьей терминологии («влькомъ рыскаше», «влькомъ прерыскаше», «дорыскаше», «нарыщуще», «слѣдъ править», «гнѣздо» зверей в значении «выводок», «опуташа въ путины желѣзны», «галици стады», «соколца опутаевѣ»): все эти охотничьи термины прекрасно объяснены в работе Н. В. Шарлеманя³.

«Слово», следовательно, насыщено конкретными, зрительно четкими образами русской соколиной охоты. В своей системе образов оно исходит из русской действительности в первую очередь.

* * *

Особая группа образов в «Слове о полку Игореве» связана с географической терминологией и географической символикой своего времени.

225

К. В. Кудряшов, исследуя направление походов Владимира Мономаха, пришел к следующему выводу: «Самое выражение «Дон», «с Дона» применяется иногда летописцем как общее географическое обозначение для всей области Дона за Северским Донцом, для всего великого поля Половецкого»¹.

Определение страны по протекающей в ней реке чрезвычайно характерно для летописного изложения; ср. о Ярополке: «Он же седя Торжку почя воевати Волгу» (Лавр. лет., под 1182 г.), или «томъ же лете ходи Вячеслав на Дунай» (Ипат. лет., под 1116 г.) и т. п. Выражения «ходить на Волгу, на Оку», «повоевать Сулу» и т. д. — постоянны в летописи. Те же определения страны по реке встречаем и в «Слове о полку Игореве»: «половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому», «Игорь къ Дону вои ведеть», «Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому», «итти дождю стрѣлами съ Дону великаго», «ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго», «половци идутъ отъ Дона», «на синѣмъ море у Дону», «суды ряда до Дуная», «скочи влькомъ до Немиги», «на Немизѣ снопы стелють головами», «Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малого Донца», «дѣвици поють на Дунаи» и т. д. и т. п. Если не считать городов, то все страны определяются в «Слове» не по княжествам, а по рекам, и нельзя не видеть в этом народного определения земель.

В связи со сказанным становится нам понятным и выражение «Слова» «затворивъ Дунаю ворота»: «Дунай» здесь — страны и народы по Дунаю, подвластные Византии, от которых затворяет ворота своей реки Ярослав Осмомысл (см. об этом также наст. изд., с. 215).

Корни этих настойчивых определений стран по рекам понятны: реки в древности имели гораздо больший удельный вес в экономической жизни страны, чем в новое время: в промысле, в торговле и как пути сообщения. Не случайно и «Повесть временных лет», давая в своей вводной части географическое описание Русской земли, ведет его по рекам: Днепру, Волге и Западной Двине. В связи с этим становится понятным и значение реки как символа страны. Это символическое значение реки отразилось и в обычаях, и в языке. Генрих Латвийский рассказывает, что литовцы под Кукенойсом кинули

226

копье в Двину в знак разрыва мира с немцами¹. Нечто подобное находим мы и на Руси: под 1245 г. Ипатьевская летопись рассказывает о том, что Василько Романович стреляет через Вислу, объявляя войну Польше.

Наконец, нельзя не отметить и распространенный в Древней Руси символ победы над тою или иною страной: испить воды из ее реки. Ср. в «Похвале Роману Мстиславичу»: «тогда Володимир Мономах пил золотом шоломом Дон, и приемшу землю их всю и загнавшу оканьяны агаряны» (Ипат. лет., под 1201 г.), ср. требование Юрия Всеволодовича, обращенное им к новгородцам: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поиль есмь коне Тьхверью (то есть занял уже Торжок на Тверце. — Д. Л.), а еще Волховомъ напою» (то есть «займу и Новгород», — Новг. I лет., под 1224 г.). Символ этот устойчиво держится в русской жизни. В XVI в. его употребляет Иван Грозный в письме к Курбскому: «...и коней наших ногами переехали вси ваши дороги из Литвы и в Литву, и пеши ходили, и воду во всех тех местех пили, ино уж Литве нельзя говорить, что не везде коня нашего ноги были»².

В XVII в. символ этот употребляют казаки в «Повести об Азове»: «козаки его (русского царя) с Азова оброк берут и воды из Дону пити не дают».

Этот символ победы неоднократно употребляется и в «Слове о полку Игореве». Дважды говорится в «Слове» — «а любо испити шеломомъ Дону», — как о цели похода Игоря. В обращении к Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо автор «Слова» говорит: «Ты бо можеша Волгу веслы раскропити, а Донъ шелома выльяти!» Это несколько сильнее, чем «испить Волги» или «испить Дону», но, несомненно, принадлежит к тому же гнезду символов, связанных с рекой — страной. Слова эти означают: «ты можешь победить до конца страны по Волге (то есть болгар, с которыми Всеволод неоднократно воевал. — Д. Л.) и страны по Дону» (то есть половцев). Одновременно слова эти дают представление и о количестве войска Всеволода. Его так много, что если бы каждый воин испил из реки шлемом, то вычерпали бы ее. Воинов так много, что весла гребцов «раскропили» бы

227

Волгу. И здесь, следовательно, как и в других случаях в «Слове», обычный средневековый символ, или термин, конкретизирован, сделан зрительно наглядным. Символ здесь одновременно и образ.

Упоминание вычерпанной реки как знака полной победы над населявшими ее берега народами встречается и в летописи. Под 1201 г. сказано о хане Кончаке: «...иже снесе Сулу, пешь ходя, котел нося на плечеву». Здесь имеется в виду победоносный поход хана Кончака в Переяславскую область 1185 г. Тот же символ вычерпанной реки как побежденной страны лежит и в основе характеристики «Словом» победоносного похода Святослава Киевского в 1184 г. О Святославе сказано: «изсушилъ потоки и болота». Здесь и символ, и реальность одновременно: при передвижении большого войска всегда «требился путь» и мостились мосты, замащивались «грязивые места». Следовательно, и в данном случае символ конкретизирован в «Слове». Меткость его в том, что он несет две нагрузки: символическую и реальную. Еще больший отход от первоначального символа победы в сторону превращения этого символа в художественный образ имеем мы в том месте «Слова», где говорится о том, что и на юге, и на северо-западе русские в равной мере терпят поражение от «поганых» (то есть от языческих, половецких и литовских племен). «Уже бо Сула не течеть сребренными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ». И Сула, и Двина — две пограничные русские реки — лишились своих вод как знак поражения, и вместе с тем они уже как бы не могут служить реальными препятствиями для врагов Руси.

* * *

Несмотря на всю сложность эстетической структуры «Слова», несмотря на то, что в основе многих образов «Слова» лежат военные, феодальные, географические и тому подобные термины своего времени, обычаи, формулы и символы эпохи феодальной

раздробленности, взятые из разных сфер языка и из разных сторон действительности, — поэтическая система «Слова» отличается строгим единством. Это единство обусловлено тем, что вся терминология, все формулы, все символы подверглись в «Слове» поэтической переработке, все они поэтически

228

конкретизированы, образная сущность их подчеркнута, выявлена, и все они в своей основе связаны с русской действительностью XII в., и все они в той или иной мере подчинены идейному содержанию произведения.

Автор «Слова» никогда не создает совершенно новых образов, не «изобретает» своих образов, основываясь только на внешнем сходстве явлений. Как мы уже говорили, он пользуется уже готовыми образами, беря их отовсюду: из фольклора, из обыденной речи, из терминологии, из феодальной и военной символики своего времени и т. д. Личное творчество автора «Слова» выражается в том, что он придает новое звучание этим обычным образам, вкладывает в них новое содержание, делая их многозначными, и вместе с тем стремится к ясности, наглядности, зрительной четкости каждого из образов. Все вводимые им образы несут вместе с тем идейную нагрузку, отвечают общим задачам всего произведения в целом.

Весьма важно при этом отметить, что в «Задонщине», заимствующей многие поэтические образы из «Слова», их поэтическая сущность, столь ярко выраженная в «Слове», оказалась непонятой.

В «Задонщине» «стязи ревуть»¹ — в «Слове» они «глаголють» (то есть свидетельствуют). В «Задонщине» жены коломенские обращаются к Дмитрию: «замъкни, князь великыи, Оке реке ворота, чтобы потомъ поганые к намъ не ѣздили»² — в «Слове» же — «затворивъ Дунаю ворота» в совсем ином, правильном и обычном для XII в. значении.

В «Задонщине» в отличие от «Слова» золото не есть принадлежность княжеского быта: простой чернец Пересвет «посвечивает» «злаченым доспехом»³, русские воины «гремят» «золочеными доспехы». Между тем в «Слове» эпитет «золотой» применяется только к вещам княжеского быта, в строгом соответствии с представлениями XII в. и с исторической реальностью.

Для автора «Задонщины» поле Куликово — это «судное место»⁴, что резко противоречит представлениям XII в. Для автора XII в. «судом Божиим» были только

229

междоусобные битвы; для него это понятие вполне точное и неприменимое к битвам с иноземными врагами, с которыми не могло быть «суда».

Отсюда ясно, что поэтическая система «Слова» есть поэтическая система XII в., тогда как поэтические приемы «Задонщины» частично механически заимствованы из «Слова» без достаточного понимания их поэтической сущности, частично же отражают другую поэтическую систему, систему конца XIV — начала XV вв.¹

Из всего изложенного следует и другой вывод: «Слово о полку Игореве» — это не произведение рафинированной книжной культуры, доступной для немногих и замкнутой в традициях какой-либо узкой литературной школы. «Слово о полку Игореве» — произведение народное в самом глубоком смысле этого слова; его художественное существо было широко доступно всем.

230

**ТИП КНЯЖЕСКОГО ПЕВЦА
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»**

«Слово о полку Игореве» в двух отношениях представляет для нас источник сведений о культуре слова в Древней Руси. Во-первых, само по себе, как произведение словесное, оно свидетельствует об искусстве слова, а во-вторых, оно содержит в себе фактические сведения о различных формах словесного искусства.

Кратко рассмотрим «Слово» в этом отношении.

Мне уже приходилось писать о культуре устной речи в Древней Руси¹. Основным источником для моих суждений о культуре устной речи в Древней Руси были летописи. Были выделены следующие типы устной речи: речи, передававшиеся устно с послами, речи воинские, произносившиеся князьями перед битвами, речи на вече. Было отмечено: все типы речей отличались афористической, легко запоминавшейся формой и образностью.

«Слово о полку Игореве» подтверждает эти наблюдения, сделанные на основании текста летописей. Воинские речи перед выступлением в поход, перед битвой Игоря Святославича и Всеволода Буй Тура удивительно близки к типу воинских речей, известных нам по летописи.

231

Форма, в которой преподносятся в «Слове» речи, обращенные одним князем к другому, разделенным большим расстоянием, свидетельствует о том, что перед нами «посольские речи». В частности, как своего рода «посольские речи» могут рассматриваться обращения Святослава Киевского к русским князьям или обращение перед походом Всеволода Буй Тура к Игорю.

Но кроме типов устной речи, известных по летописям, в «Слове о полку Игореве» засвидетельствованы и другие формы словесного искусства: пение девицами слав и плачей (девиц на Дунае, готских дев на берегу синего моря и пр.), а самое главное — пение княжеского певца Бояна. По поводу содержания и формы тех песен, которые пел Боян, имеется обширная литература, и я не буду здесь повторять выводы отдельных исследователей. Напомню только, что рядом с Бояном на основании одного места «Слова» реконструируется существование и другого княжеского певца — Ходыны. В первом издании «Слова» это место читается так: «Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля пѣтворца стараго времени. Ярославля Ольгова Коганя хоти». Наиболее вероятная реконструкция этого места следующая: «Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти». Далее в тексте «Слова» приводятся слова, сказанные Бояном или Бояном и Ходыной вместе (о последнем свидетельствует двойственное число: «пѣснотворца»): «Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы, — Русской земли безъ Игоря». Слова эти как бы оценивают в образной форме положение, создавшееся на Руси в результате пленения Игоря.

Я думаю, что есть основание заметить в «Слове» существование еще одного певца — «хотя» (любимого певца). Приведем все интересующее нас место по первому изданию, выделив в нем слова, нуждающиеся в реконструкции: «Единъ же Изяславъ сынъ Васильковъ позвони своими острыми мечи о шеломы Литовския; притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ Литовскими мечи. И *схоти ю на кровать, и рекъ*: дружину твою, Княже, птицъ крилы приодѣ, а звѣри кровь полизаша. Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго Всеволода; единъ же изрони жемчужну душу чресъ злато ожереліе».

Наиболее вероятная реконструкция отчеркнутого места следующая: «и с хотию на кров а тьи рекъ». В этой реконструкции не меняется ни одной буквы — только

232

предлагается иное разделение на слова, как известно, произвольно произведенное в тексте «Слова» его первыми издателями.

Если верно предложенное деление на слова, то смысл всего пассажа совершенно ясен. Княжескими «хотями» в «Слове» несколько ниже, как мы уже указывали, названы певцы Боянь и Ходына. «Хоть» Изяслава Васильковича — это, очевидно, также его любимый певец (обращу внимание на то, что, как и в дальнейшем Боян и Ходына, названные «хотями», здесь «хоть» мужского рода — «а тьи рек»).

Обратим внимание на то, что Боян и Ходына как бы формулируют положение на Руси, сложившееся после пленения Игоря. Кроме того, в другом месте Боян один составляет «припевку» Всеславу Полоцкому: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути». Так и «хоть» Изяслава Васильковича говорит ему, одиноко умирающему на кровавой траве, о горестной судьбе его дружины, как бы оплакивает его и дружину его.

Если моя догадка, что «хоть» Изяслава Васильковича — это его княжеский певец, верна, то перед нами еще одно свидетельство о существовании при княжеских дворах певцов и среди них певцов-любимцев: княжеских «хотей», очевидно принимавших участие в походах своих князей и отлично знавших военное дело. Четвертый княжеский певец-любимец — это, может быть, сам автор «Слова о полку Игореве», не случайно сопоставляющий в начале «Слова» свое произведение с произведением Бояна. Подобно «хоти» Изяслава Васильковича автор «Слова» был, возможно, участником похода, сражался сам, а поэтому и знал как свидетель все обстоятельства похода с такой поэтической отчетливостью.

Тип княжеского певца-любимца, занимавшего у князя высокое положение, участвовавшего в битвах, служившего князю как бы оруженосцем, типичен и для Европы этого времени. Он существовал в Скандинавии¹.

Предложенное толкование типа приближенного певца — автора «Слова» не расходится с гипотезой Б. А. Рыбакова о том, что автор «Слова» — боярин Петр Бориславич².

233

Обычно считается, что автор больше своего произведения. Произведение родилось в нем. Автор пытался выразить в нем себя, свои думы, представления, чувства. Выразил ли он их полностью или частично — он все равно больше того, что ему принадлежит.

Не так в поэзии древнерусской, в поэзии принципиально безавторной, анонимной, традиционной. Здесь произведение может быть больше автора. Творец — только выразитель творения, ибо творение создано в пределах традиции, чего-то, частью чего является и сам автор. Творение увлекло творца, пошло своими независимыми путями, проложенными уже до того. Поэтому «Слово» увлекает, завораживает традиционностью различных ритмов. Ритм средневековья — традиции.

234

ПОЭТИКА ПОВТОРЯЕМОСТИ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Анализируя художественную ткань произведения, литературовед обязан основываться на презумпции «художественной оправданности» всех его элементов, презумпции цельности художественного построения произведения. Это, если хотите, методический принцип, из которого должен исходить и фактически всегда исходит исследователь в своем художественном анализе. Только то, что остается за пределами воссоздаваемой художественной системы, может быть отнесено на долю внехудожественных факторов создания произведения.

На первый взгляд такого рода методический прием анализа может показаться требованием «сознательной предвзятости» в анализе произведения, но если мы

вдумаемся, то убедимся, что художественную систему или художественную логику в любом произведении, которое мы признали эстетически ценным, иначе обнаружить и невозможно. Случайности не поддаются стилистическому анализу: на то они и случайности, чтобы не входить в систему и не определяться внутренней логикой произведения. Стремясь обнаружить систему, мы обязаны «верить», что эта система существует. Это — рабочая гипотеза, оправданность или неоправданность которой обнаруживает себя только в конце исследования.

Аналогичное правило декларировано мною и в текстологии. Во всех случаях обнаружения текстологом

235

изменений текста, он должен прежде всего проверить: не поддаются ли замеченные изменения истолкованию как сознательно сделанные с какой-нибудь определенной целью автором, редактором, переписчиком. Только если эта проверка не удалась, открытое изменение текста можно относить на долю случайности и рассматривать это изменение как просмотр, ошибку автора или какого-либо другого лица, отвечающего за текст. Но даже и при обнаружении простой ошибки, описки, опечатки и пр. исследователь все же обязан объяснить текст хотя бы и на другом уровне: на уровне психологии письма, его техники. Он должен объяснить ошибку как происходящую при определенных «технических» условиях или как результат тех или иных особенностей психического склада творца текста.

Итак, стремясь обнаружить логику художественных образов в «Слове о полку Игореве», мы должны предполагать, что оно художественно логично, то есть что автор его проводит в своем тексте единую художественную линию, а также придерживается принципа полноты художественного образа.

Конечно, можно стать на ту точку зрения, что «Слово о полку Игореве» — произведение художественно несовершенное (такая точка зрения высказывалась теми, кто считал «Слово о полку Игореве» произведением вторичным по отношению к «Задонщине»), но тогда мы вообще лишаемся права на его художественное прочтение, ибо в несовершенном произведении может существовать любая несогласованность — грамматическая, логическая, любая неточность значения и любой художественный промах.

Этим объясняется то, что каждый предлагающий новое прочтение или новое толкование текста «Слова о полку Игореве» исходит — сознательно или бессознательно — из презумпции его художественной логичности.

Вполне естественно предположить, что художественная логика «Слова», не будучи принципиально отлична от нашей, тем не менее обладает средневековым и чисто авторским своеобразием, с которым обязан считаться всякий, так или иначе пытающийся восстановить в «Слове» его утраченные, испорченные или просто непонятные места. Нельзя произвольно выходить за пределы этой средневековой художественной логики, свойственной как «Слову», так и другим художественным произведениям его времени, и подменять их или восполнять той характерной

236

образной системой, которая свойственна только нашему времени.

И в самом деле, эстетическое восприятие в средние века в Древней Руси было несколько иным, чем в современности.

Обратим прежде всего внимание на анонимность многих произведений Древней Руси. Анонимность была явлением не только недостатка авторского чувства собственности, но и явлением эстетики.

Анонимность не следует рассматривать только под углом зрения отсутствия чувства «авторской собственности», пониженного личностного начала и т. п. Анонимность есть

также и явление поэтики средневековья и фольклора. Средневековое произведение пишется не для самовыражения, а для того, чтобы ответить на ожидания, требования, желания читателя, слушателя, зрителя. Неизвестный автор озабочен не собой, а тем, для кого он создает свое произведение.

Отсюда связь анонимности с традиционностью. Традиционность также выражает коллективное начало искусства. Двигаясь в рамках традиционности (именно двигаясь, а не застывая), творец как бы идет по проторенным, знакомым его слушателям, читателям и зрителям путям. В искусстве же чрезвычайно важен как раз момент «узнавания» (поэтому-то слушать второй раз сложное произведение всегда легче, чем первый). Этот момент узнавания особенно важен в древнерусском искусстве, где он может даже преобладать над моментом познания нового.

Создавая житие святого, автор как бы участвует в церемониале, его прославляющем, а церемониал всегда традиционен — это его характерная черта. И раз преобладает традиционность и церемониал — то само собой отступает на второй план личностное начало; на первый же план выступает коллективность.

Эту коллективность не следует представлять себе непременно как творчество совместное. Творец почти всегда один, но он творит для многих, используя то, что сделано до него многими. Если в созданном им «что-то не так» — переписчики или исполнители всегда могут переделать, ибо у них нет ощущения отличий стиля произведения от традиционных стилей. Этих стилей много, но они тоже различаются между собой не по авторам, а по тому, для чего и для кого произведение создается, по жанрам.

237

Анонимность, традиционность и церемониальность требуют повторений. В древнерусских произведениях эстетически действенна не новизна, а этикетная обычность. Художник ищет не свежести впечатлений, а выражения этих впечатлений в полагающихся им формах.

От этих представлений древнерусскому книжнику было очень легко перейти к уверенности в том, что произведение не пишется автором, не «придумывается» им, а как бы диктуется традицией, чем-то посторонним, стоящим над автором. В известной мере средневековые книжники и были в этом отношении правы: ведь произведение прибегало к уже готовым формулам, готовым образам и пр.

Все сказанное объясняет нам факт особого значения в средневековье «соседства произведений». Одно произведение, получившее «художественный авторитет», начинает использоваться в других произведениях не только ради красоты и точности самой «цитаты», но и для того, чтобы создавать настроение художественной возвышенности. Простейший пример — использование цитат из псалтири. Оно не только усиливает религиозную убедительность, но и создает настроение поэтичности.

«Повторяемость» в древнерусских произведениях мы можем разделить на «внешнюю» и «внутреннюю». Внешней повторяемостью я называю отклики в произведении на другие произведения. Отклики эти могут быть цитатами, этикетными формулами, использованием образов других произведений, даже хода событий или жизненной канвы героя из других произведений. К внутренней повторяемости я отношу различного рода переключки в пределах самого произведения — рефрены, повторения образов, выражений, художественных приемов, отдельных слов и т. д. Как уже было сказано, в средние века в искусстве над познанием нового преобладает узнавание уже знакомого. Этим объясняется частое использование старого в новом контексте, обилие цитат — из священного писания и других произведений литературы, рефрены, повторения.

Повторяемость — это основа «художественного обряжения мира» в древнерусской литературе.

В «Слове о полку Игореве» эта внутренняя повторяемость играет очень большую роль и она очень часто выходит за границы самого произведения, получает поддержку со стороны.

Повторяемость не только способствует художественному

238

узнаванию (в отличие от художественного познания), но создает в произведении своего рода ритмы и рифмы, роднит художественную средневековую прозу с поэзией.

Это не означает, что у автора «Слова о полку Игореве» не было собственных находок. Наверное, они были, но нам очень трудно выявить все — где и какие они: ведь других произведений того же жанра мы не знаем, а есть только отдельные «похожести». Зато вот что интересно в «Слове»: склонность к цитированию, к повторениям, к ограничению в употреблении многих тропов, к использованию одних и тех же образов, хотя бы и с некоторыми вариациями. «Переключка», которая в большом масштабе идет по всей древнерусской литературе, может быть замечена и внутри текста одного произведения, в частности — в «Слове о полку Игореве».

Вот этой внутренней переключке текстов, которая может быть сопоставлена с явлением рефрена в поэзии, и посвящаются мои наблюдения над текстом «Слова». Эта «переключка» эстетически действенна и для нас.

Поэтика повторяемости лежит в самой сути всех художественных тропов. Она подготавливается характером тропов, создается ограничением их возможностей, закрепляется выбором традиционных тем.

В 1980 г. значению художественных повторов в художественной системе «Слова» значительное внимание уделила Н. С. Демкова¹. Хотя явление повторов было известно и до работы Н. С. Демковой (повторы в той или иной мере ощущаются любым внимательным читателем), только она уделила ему внимание как определенному эстетическому явлению, дав при этом ряд новых наблюдений.

Так, например, только Н. С. Демкова определила наличие повторов в речи князя Игоря перед дружиной, представляющей собой по существу три варианта одной и той же формулы о победе над врагом, служащей своеобразной «скрепой» для трех самостоятельных фрагментов этой речи.

В нашу задачу входит рассмотреть повторы в связи с другими художественными тропами. Дело в том, что

239

повторы часто вызываются самим характером художественной системы «Слова», являются как бы производным этой системы, например результатом ограниченности выбора. С другой стороны, повторы — активный художественный элемент этой системы, явление, организующее материал «Слова».

* * *

Из всех художественных тропов наибольшую «свободу» творцу предоставляют сравнения. Сравнения в новой литературе могут делаться по любому поводу — где только художник сможет обнаружить сходство. И вот здесь обратим внимание на то обстоятельство, что художественные образы «Слова» крайне редко строятся на сравнениях. Это утверждение на первых порах кажется неожиданным, ибо мы привыкли думать, что «Слово» часто сравнивает своих персонажей с птицами (соколами, галками, воронами и пр.), зверями (волками, турами и т. п.), а события — с полевыми работами, пиршеством, свадьбой, охотой и т. д. Но в большинстве случаев перед нами не столько сравнения, сколько подмена, смещение одного ряда явлений другим, в основе которого лежит не сходство, а представление о том, что в мире существуют эстетически высокие

области — такие, как война, охота, земледелие, отношения человека к природе, — которые художественны сами по себе и одно сопоставление с которыми вызывает представление о художественной ценности того, о чем говорится. Поэтому если описывать что-либо в охотничьих, военных или земледельческих терминах, то это уже само по себе означает введение описываемого в разряд художественных явлений. Автор пользуется понятиями из этих областей как знаками художественности.

Сравнения в «Слове» в своем чистом виде все же встречаются, хотя и редко, так же редко, как и в других произведениях его времени. Но примечательно, что, прибегая к сравнениям, авторы очень часто пользуются формой отрицательного сравнения, вернее — отрицания возможного отождествления. Обычно отрицательные сравнения в «Слове» считаются признаками его народнопесенной основы. Это не так. Фольклорной стихии в «Слове» много, но отрицательные сравнения, в тех редких случаях, когда они вообще появляются, характерны и для древнерусской книжности времени

240

«Слова о полку Игореве» — ср. у Кирилла Туровского: «Пища же не брашно речеться, но слово божие, имь же питается тварь»¹. В «Слове святого Кирилла-мниха о снятии тѣла Христова с креста» идет целая серия отрицательных сравнений, прямо указывающих на различие сравниваемых объектов: «Како начну или како разложю? Небомъ ли ты прозову? Нь того свѣтъльѣй быть благочъстьемь, ибо... Землю ли ты благоцвѣтущую нареку? Нь тоя четьнѣй ся показа... Апостоломъ ли ты именую? Нь и тѣх вѣрнѣе и крѣпъчею обрѣтеться...» и т. д.² Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Боянь же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пушаше, нь своя вѣщиа прѣсты на живая струны въскладаше», «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому», «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни, костми рускихъ сыновъ», «А не сороки второскоташа: на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ».

Впрочем, не совсем ясен второй из приведенных выше примеров отрицательного параллелизма: «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому». Вряд ли здесь галки сравниваются с соколами, тем более что вся фраза говорит о том, что галки спасаются бегством от соколов, то есть второй член параллели служит естественным следствием первого.

Художественная система «Слова» построена не на внешних сходствах, ведущих к сравнениям, а на каких-то символических представлениях. Пир — битва, земледельческие работы — битва, подмена людей охотничьими птицами и зверями — теми, на которых охотятся и с которыми охотятся, основанная, очевидно, на каких-то далеко в прошлое уходящих представлениях о тотемах людей. Сюда же относится символика, связанная с солнцем: князь — солнце, молодые князья — месяцы, и представления о приметах, предвещающих смерть, гибель, поражение: затмение — поражение, крыша без князька — смерть, об оборотничестве: князь оборачивается волком и носится волком в ночи.

К этой же символической системе принадлежит и представление о вокняжении как об обручении с тем городом, в котором князь вокняжается. Отсюда Киев для захватившего киевский престол Всеслава — девица,

241

с которой он не успел обручиться, а только «доткнулся» золотого киевского стола «стружием» — древком копья.

Сравнения вводятся в тексте «Слова о полку Игореве» с помощью сравнительного союза «аки»: о курянах, например, говорится: «сами скачють, *аки* сѣрыи вльци в полѣ» или «по Руской земли простирашася половци, *аки* пардуже гнѣздо», или про князей Рюрика и Давыда спрашивается: «не ваю ли храбрая дружина рыкають, *аки* тури, ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?» Но характерно, однако, что и эти сравнения

берутся не по внешнему сходству, а по символической системе средневековья: воины и князя сравниваются с волками, пардусами, турами — зверями, входящими в «охотничью символику Древней Руси». Как сравнение охотничьего характера может рассматриваться и сравнение половецких телег с лебедями в единственном случае, в котором сравнение вводится с помощью формы «рци» от глагола «речи́»: «крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспущени» (или «роспужены» — вспугнуты), однако в данном, последнем случае возможно и другое объяснение: лебеди могли быть тотемом половцев.

Художественность произведения не создается «приемами», «образами», «средствами», а заложена уже в самом содержании произведения, в характере тем, настроении — она в глубине произведения, а поверхность отражает лишь то, что находится в этой глубине. Художественность «Слова о полку Игореве» — в особой интерпретации событий несчастного похода Игоря как части русской истории, в восприятии значительности происходящего, причастности к целому отдельных личностей, их поступков и разнообразных событий вокруг похода и его героев.

Преобладающий троп в «Слове» — не сравнение и не метафора, а метонимия или синекдоха. Метонимию отнюдь не следует считать простой разновидностью метафоры. Метонимия не входит в метафору, а является равноправным с метафорой художественным тропом, особенно распространенным в церемониальной эстетической системе средневековья, и время от времени отвоевывающим себе свои права в литературных направлениях нового времени (например, в барокко и классицизме).

Сравнительно с другими тропами метонимия ограничена в своем разнообразии. Принцип метонимии — часть вместо целого — уже ограничивает выбор частей их целым. В древнерусской же художественной прозе метонимия,

242

кроме того, имеет и другое ограничение — выбирается вместо церемониального целого важнейшая церемониальная же часть этого целого.

Типичная метонимия «Слова» и других памятников его времени — «вдеть ногу в стремя» вместо «выступить в поход». Это метонимия как бы второй степени.

Вдевание ноги в стремя — важнейшая церемониальная часть восседания князя на коня, а восседание на коня князя — важнейшая часть церемонии выступления княжеского войска в поход. Недаром и в Радзивилловской летописи выступление князя в поход (л. 234 верх) изображено как вдевание князем ноги в стремя. При этом в церемонии участвует и стремяннй, стоящий перед садящимся на коня князем на одном колене.

Обе эти метонимии настолько привычны, что употребляются иногда просто как термины, означающие выступление в поход. Поэтому в старорусских текстах можно сесть на коня *против кого-либо*, либо *за кого-либо*, так же как и вступить в стремя *за кого-либо* или *против кого-либо*. Стремя — важная символическая деталь любого конного похода. Поэтому князья могут предлагать друг другу ездить «возле стремени», то есть совершать общий поход или находиться в феодальном подчинении у кого-то, «у стремени» кого они обещают ездить.

Другой пример метонимии — «*приломить копие*» вместо «*начать битву*». Начало битвы — тоже имело свою церемониальность. Право начать битву имел только князь — даже если он был малолетним. Летопись так описывает начало битвы с древлянами, которую открывает малолетний князь Святослав Игоревич: «А сънемъшемася обема полкома на скупь, суну копьемъ Святославъ на древляны, и копье летѣ сквозѣ уши коневи...»

Поэтому, когда Игорь говорит: «*хощу копие приломити конецъ поля Половецкаго*», он выражает этим желание сразиться с половцами.

К метонимиям относятся выражения «*стоят стязи*», или «*понизите стязи свои*», или «*пали стязи*». Стяг — это знак войска, знак войсковой единицы (нам не совсем ясно

сейчас, какая войсковая единица имела право на собственный стяг, сколько у князей было стягов и какое войско эти стяги собирали, «стягивали» собой). Ясно, однако, что под стягами часто разумелось войско, обладавшее стягом. Поэтому падение стягов означало поражение, «понижение» стяга — сдачу. «Поставить стяг» означало собирать войско и пр. Развитием этого образа-метонимии

243

является заявление автора «Слова», что у князей Рюрика и Давида «рѡзно», то есть в разные стороны, развеваются знамена. Значение этого заявления вполне ясно — князья устремляются в разные стороны и, соответственно, у них полотнища развеваются по направлению, откуда они едут, но не по направлению ветра.

Выражение «нъ розно ся имъ хоботы пашуть» в других древнерусских текстах не встречается, но оно вполне в духе древнерусских представлений о стягах и их метонимическом значении.

К числу метонимий относится и выражение «трубы трубят», то есть происходит сбор войска трубными звуками: «Трубы трубятъ въ Новѣградѣ».

К числу метонимий относится выражение «отворить ворота» — взять город приступом или подчинить его себе, «затворить ворота» — не пустить кого-либо. И многое другое.

Возникает вопрос: не означает ли выражение «позвонить кому-либо заутреню в каком-либо княжестве» метонимию признания кого-либо князем? Ведь в быту заутреню звонили для всех, а не кому-либо в особенности. Поэтому когда в «Слове» говорится о Всеславе «тому въ Полотъскѣ позвониша заутреню рано у святаго Софеи въ колоколы, а онъ въ Киевѣ звонъ слыша», то это, возможно, означает: «Всеслава в Полотске признают князем, звонят ему заутреню, а он находится в Киеве в заключении». «Слышат» в «Слове» обычно именно князья на огромные расстояния, и означает это, по-видимому, их осведомленность в делах далеких княжеств — через гонцов или как-либо иначе. Так же точно как в «Слове», и в летописи князья говорят друг другу из княжества в княжество — и, разумеется, через послов. Упоминание послов, гонцов просто пропускается, и это создает иллюзию резкого сближения князей между собой. На большом расстоянии из своих княжеств разговаривают друг с другом Игорь и Всеволод, причем Всеволод осведомляет брата — как у него обстоят дела в Курском княжестве. Не следует думать, что Игорь и Всеволод говорят друг с другом, уже съехавшись: Игорь только ждет еще своего милого брата, собирая войска в Новгороде Северском и в Путивле (в первом городе еще только звучат трубы, во втором поставлены стяги).

Таким образом, не только сама метонимия, но «метонимический способ мышления» могут считаться характерными

244

для «Слова о полку Игореве». Вместе с тем и метонимия, как и сравнение, ограничена определенными областями: где-то метонимия только допустима, а где-то она традиционна.

Вот почему и в сравнениях, и в метонимиях мы встречаемся с некоторой традиционностью и повторяемостью.

Повторяемость встречается в «Слове» в различных видах. Каждый из этих видов имеет, помимо общего эстетического назначения повторяемости, еще и частные цели.

Один из наиболее частных видов повторений в «Слове» — это перечисления: «съ черниговскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольберы».

Перечисления встречаются как способ усиления, как способ гиперболизации. Так, например, перечисление народов, поющих славу Святославу, служит показу широты

распространения этой славы: «Ту нѣмци и венецици, ту греци и морава поють славу Святъславлю»¹.

После первой победы Игорю подносят трофеи — черлен стяг, белу хоруговь, черлену чолку и сребрено стружие. В связи с тем, что все это может быть частями одного предмета, у меня возникала мысль: не значит ли это, что Игорю подносится какой-то один пышный знак-символ власти, на стяге-древке которого могли быть и стружие, и чолка. Однако мне не удалось найти в древней литературе ни одного случая такого «описательного разделения» упоминаемого в произведении предмета. О каждом предмете говорится в древнерусских литературных произведениях как о некоей цельности — будь ли то бор, дом, церковь, человек или что-то другое. Только при описании построения храма или специально его драгоценных материалов, из которых он составлен, и предметов искусства, его наполняющих, можно было перечислять их отдельно. Подносимый же предмет мог быть изображен с соответствующими эпитетами, если они необходимы в рассказе, только как объект действия (в приведенном выше примере из «Слова» — как поднесение трофеев). Перечисление различных трофейных предметов встречается и в другом месте «Слова»: «... орьтьмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити по болотомъ

245

и грязивым мѣстомъ». Это перечисление также показывает богатство трофеев.

Повторения тех или иных слов и выражений подчеркивают длительность действия: «бишася день, бишася другый; третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы». Аналогичным образом автор «Слова» пользуется и словом «уже»: «уже снесеса хула на хвалу; уже тресну нужда на волю, уже врѣжеса дивь на землю».

Повторяемость этих «уже» связана еще с одной особенностью «Слова» — наличием в нем рефренов. Рефрен не только важен для атмосферы оплакивания происходящего, но и как «стук судьбы», явление частое в музыке и придающее «Слову» своеобразную музыкальную организованность. Собственно «чистых» рефрена в «Слове» два: «О Руская земле! уже за шеломянемъ еси!» и «А Игорева храбраго плѣку не крѣсити!». Мне уже приходилось писать по поводу последнего рефрена, что выражение «не кресити» несколько раз употребляется и в летописи как формула отказа от родовой мести (см. с. 216 наст. изд.).

Рефрены в «Слове» носят характер некоторого примирения с судьбой, констатации безвозвратности совершившегося или носят церемониальный характер.

Трижды в «Слове» говорится о дружине, «ищучи себѣ чти, а князю славѣ». Это церемониальная фраза. Различие между «честью» и «славой» в том, что «слава», кроме «чести», дает еще и известность — известность на Руси и за ее пределами. «Славы» может достигнуть только князь, чье имя становится известным и способно даже вызывать страх, как вызывали в других произведениях страх имя Владимира Мономаха или Александра Невского. Дружина не может стать далеко известной по именам, поэтому на ее долю приходится только «честь», которую, кстати, могут получать и князья¹. Поэтому рефрен этот своего рода церемониальное объяснение храброго поведения дружины.

Но, помимо явных рефренов, в «Слове» есть как бы и скрытые рефрены, заключающиеся в повторении образов, а иногда и отдельных слов: «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плѣци Олговы, Ольга Святъславличя». Повторения, сопряженные с разъяснениями, создают ощущение неторопливости рассказа,

246

подчеркивающее длительность происходящего. Как изобразительный способ длительности времени ожидания Игорем бегства может быть понято и следующее перечисление изменений в состоянии Игоря: «Погасоша вечеру зори. Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслию поля мерить отъ великаго Дону до малого Донца». Повторение

«Игорь» (трижды) создает то же впечатление сосредоточенности действия в Игоре, длительных переходов времени, сопряженного с ожиданием.

В качестве одного из видов повторений могут рассматриваться и идущие подряд одинаковые синтаксические конструкции — особенно короткие: «земля тутнегъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають»; «Встала обида въ силахъ Дажьбожа внука; вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море...»; «Стрежаше ѓ гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ»; «летять стрѣли каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещать копия харалужныя». Святослав «своими сильными плѣкы и харалужными мечи» «притопта хлѣми и яругы, взмути рѣкы и озера, иссуши потоки и болота».

Постоянные эпитеты также являются элементом «поэтики повторения». Так, например, кони в «Слове» имеют эпитет *борзый*, чем подчеркивается главное достоинство боевого коня — его быстрота: «а всядемъ, братие, на свои *бръзья комони*», — говорит Игорь перед походом. Своему брату Всеволоду Игорь снова говорит: «сѣдлай, брате, свои *бръзии комони*». Когда Игорь бежит из плена, снова говорится о борзых конях: «А Игорь князь... въврѣжеса на *бръзь комонь*» и Игорь с Овлуром загнали («претръгоста») «своя *бръзая комоня*». Этот эпитет коня постоянен и в других древнерусских произведениях: в русском переводе Хроники Георгия Амартола, в Ипатьевской летописи, в Девгениевом Деянии, Хронике Малалы, Великих минеях и пр.¹

Эпитет «злат» по отношению к княжескому стремени встречается в «Слове» трижды: «въступи Игорь князь въ златъ стремянь», «ступает (Олег Святославич) въ златъ стремянь», «Вступита, господина, въ злата стремянь...»

Трижды автор «Слова» называет Игора Святославича «буим» и каждый раз в связи с упоминанием его ран: «Вступита, господина (Рюрик и Давид), въ злата стремянь за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны

247

Игоревы, буего Святъславлича»; «Стрѣляй, господине <Ярослав Осмомысл>, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны *Игоревы, буего Святъславлича*»; «Загородите <Ингварь и Всеволод и все трое Мстиславичей> полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Рускую, за раны *Игоревы, буего Святъславлича*». Трижды повторяется одно и то же выражение. Связь ран и буести не означает ли, что раны Игора, одна из которых — левую руку — была получена им при попытке остановить бегство ковуев, — свидетельство его особой храбрости.

Примечательно то, что «постоянные» эпитеты в «Слове» употребляются вовсе не постоянно, а только в тех случаях, когда они осмыслены. «Борзый» конь только тогда «борзь», когда быстрота его необходима — в выступлении в поход или в бегстве. Боян — «вещий» тогда, когда необходимо подчеркнуть его мудрость, прозорливость, уместность: «Боян бо *вещий*, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу...» «Тому (Всеславу) *вѣщей* Боянъ и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда бо жиа не минути», «чи ли въспѣти было, *вѣщей* Бояне, Велесовъ внуче...» (далее пример того — как бы воспел Боян; курсив мой. — Д. Л.).

Как явление повторяемости можно рассматривать и отдельные случаи частого употребления отдельных слов.

«Слово» постоянно сопрягает и ассоциативно связывает различные явления. Это поэтический прием как бы игры. Связать разные явления помогает постпозитивный союз «бо» со значением «потому что», «так как». И то же слово как усилительно-выделительная частица со сходным значением — «же», «ведь». Ср.: «уже, княже, туга умь полонила, — се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата», «нъ нечестно одолѣстѣ, нечестно бо кровь поганую пролиясте». В последнем случае создается впечатление, что

«нечестность одоления» Игорем и Всеволодом происходит оттого, что они «нечестно бо кровь поганую» пролили, то есть осуждаются Игорь и Всеволод за их первую победу над половцами.

Не случайно, думается, в «Слове» слово «бо» употреблено 25 раз¹ — это один из основных приемов слияния (скрепления) различных смысловых блоков в единое целое. Повторения есть и в диалогах, когда прославляемый отвечает прославляющему в тех же выражениях.

248

Ср. диалог Донца с Игорем: «Донец рече: „Княже Игорю! *Не мало ти величия*, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа“. Игорь рече (в ответ. — Д. Л.): „О Донче! *Не мало ти величия...*“ » (курсив мой. — Д. Л.).

Можно отметить и следующую особенность «Слова»: если в современной художественной прозе «глаголы говорения» чрезвычайно разнообразны и, в сущности, любые глаголы о человеческих действиях могут быть обращены по своему значению в глаголы говорения (например, со словами прямой речи можно не только «обратиться», но также «обернуться», «прервать», «засмеяться», «улыбнуться» и т. д.), то в «Слове» и в Древней Руси даже ритуал плача, который во всех случаях требовал слов или пения, сопровождается обозначением «а ркучи» или «аркучи» (какая из этих форм правильнее, не установлено): «Жены руския въсплакашась, аркучи» (далее идут слова плача); «Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи» (далее слова одного из плачей). Последняя форма введения слов повторена в «Слове» трижды.

Наконец, следует упомянуть и о ситуационных повторениях. Эти ситуационные повторения вызваны, с одной стороны, тем, что только некоторые явления жизни считались эстетически ценными (война, охота, земледелие и пр.), о чем мы уже говорили выше, а с другой — древнерусским ритуалом, которым сопровождалось то или иное событие.

Обращает на себя внимание в «Слове» и значение «берега» или «брега» как места ритуальных действий, оплакиваний, ритуальных пений. Ср.: «темнѣ *березнь* плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ»; «се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на *брезнь* синему морю»; «Немизѣ кровави *брезнь* не бологом бяхуть посѣяни, посѣяни костми русскихъ сыновъ». Возможно, что и место разлуки Игоря со Всеволодом, происходящей «на *брезнь* быстрой Каялы», тоже имеет ритуальное значение, в связи с чем повышается уровень возможности признать название реки Каялы — символическим, как реки «каяния», «плача», горести¹.

Простое упоминание берега без связи с определенными значительными событиями и не как место поминаний и ритуалов имеется в рассказе о бегстве Игоря: «О Донче!

249

не мало ти величия, делѣявшу князя на вълнахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ *брезѣхъ*». Возможно, что берег подразумевается в конце «Слова», где говорится о пении дев славы Игорю: «Дѣвици поють на Дунаи — вьются голоси чрезъ море до Киева».

Знаменательно, что в летописи мне не встретилось употребление «берега» как места какого-то ритуала — очевидно, языческого и потому именно встречающегося в полужазыческом «Слове о полку Игореве».

В самом построении «Слова», в его композиции есть признаки повторений. Так, например, «Слово» постоянно переходит от темы к теме, от настоящего к прошлому, от общегосударственного к личному. Ритм этих переходов создает как бы задержки в повествовании. Автор как бы не может рассказать о поражении Игоря. Он переходит к прошлому — к событиям близким по характеру, как бы объясняющим печальное

настоящее. Обращаясь к отдельным живущим князьям, автор «Слова» делает это по определенной схеме, напоминая им о прошлом и о их возможностях. Эти обращения кажутся от этого тоже как бы введенными в определенный ритм повторений. Ярославна молит природу (ветер, Днепр, солнце) помочь Игорю, и в ответ Игорь возвращается на Русь. Ему помогают реки. Реки стерегут его «чрънядьми на ветрѣхъ». «Солнце свѣтитъ на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли». Возвращение Игоря как бы ответ на мольбу Ярославны, на ее обращение к ветру, к Днепру, к солнцу. Этот ответ не прямой — как бы завуалированный. Аналогичным образом повторы в «Слове» не всегда ясно различимы. Многие только ощутимы, даны в намеках. Тем сильнее их поэтическое воздействие.

Учитывать повторяемость образов и выражений в «Слове» необходимо постоянно, особенно когда дело идет о внесении в текст «Слова» поправок. Из всех предложенных исправлений следующего места «Слова» (цитирую по первому изданию): «... а самъ подь чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепань литовскими мечи. И схоти ю на кровать, и рекъ: дружину твою, Княже, птицъ, крилы приодѣ, а звѣри кровь полизаша». Как кажется, наиболее вероятно следующее исправление: «а самъ <Изяслав Василькович> под чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепань литовскими мечи и с хотию на кров, а тѣи рекъ: „Дружину твою, княже, птицъ крилы приодѣ, а звѣри кровь полизаша“». «Хоть» — это княжеский любимый певец. Это название любимого княжеского

250

певца встречается еще раз ниже, где говорится о Бояне (а возможно, не только о Бояне, но и другом певце — предполагаемом Ходыне). Боян назван там «хотем» князя Олега: «Рекъ Боянь и Ходына, Святославля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣду кромѣ головы — Руской земли безъ Игоря“». Тут снова песнотворец — «хоть» выступает в роли мудреца, произносящего свой суд над свершившимся. Еще одно повторение в этом месте «Слова» — это смерть на траве, на кровавой, на крови, смерть от ран — плавание в крови. Предлагаемое исправление выдержано в художественной системе «Слова»: Изяслав Василькович погибает, притрепанный мечами на кровавой траве, вместе со своим певцом, и тот произносит умирающему князю свой приговор — в типичной для певцов афористической форме. Исправление включает в себе элементы типичных для «Слова» повторений.

* * *

«Предчувствия» исторических событий играют роль своеобразных «ситуационных антиповторов» — перевернутых ситуационных повторений. Если в «Слове» события настоящего имеют как бы прототипы в прошлом, то прототипы будущих событий — это их предчувствия в настоящем. Это как бы тени, отбрасываемые событиями будущего в настоящем. Следует указать на большую роль, которую играют в «Слове» предчувствия — прямо или косвенно выраженные. Прямо выражены предчувствия событий в таких фразах, как: «быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго» (замечательно, кстати, это повторение слова «великаго»: «грому великому» и «Дону великаго»).

Приметы неоднократно используются в «Слове» в художественных целях. Они создают напряженность ожидания. Мутное течение реки — очевидное предчувствие несчастья. «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають, стязи глаголютъ: половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ, руския плѣкы оступиша». Перед битвой реки мутно текут, и это не только потому, что они замузнены переходящими вброд вражескими конями или отдаленным ливнем, но представляют образ

надвигающегося несчастья. Прямой угрозой полно мутное течение рек: «Сула не течеть сребреными струями

251

къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подь кликомъ поганыхъ».

Благодаря приметам события воспринимаются в «Слове» как сбывшиеся предчувствия, как нечто предвиденное и предсказанное, как нечто значительное. Эта значительность исторических событий выражена через разнообразные ряды поворотов, которые создают впечатление какой-то предопределенности происходящего. Разнообразные повторы в «Слове о полку Игореве» создают различные микроритмы, связывающие в единое целое все многообразие его тем. Повторы вторгаются в смысл произведения. События похода Игоря удивительно умело вплетены в ход всей истории Руси именно благодаря этим связующим нитям малых ритмов, повторений и, конечно, предчувствий.

В «Слове» очень часто повторяется наречие «уже»: «уже бо бѣды его пасеть птицъ по дубию»; «уже дьски безъ кнѣса»; «О Руская земле! уже за шеломянемъ еси» (дважды), «уже снесся...»; «уже, княже, туга умь полонила»: «нѣ уже, княже Игорю»; «уже бо Сула»; «уже понизите стязи свои» и т. п. Случайно ли это слово? Мне кажется, что в этом «уже» как бы указывается на то, что событие предвиделось ранее, как бы созрело для своего осуществления. Произошло то, чего следовало ожидать. Все действие «Слова» втянуто в течение поэтической судьбы, поэтического предвидения и тем создается особое настроение — «исторической лирики», русская история воспринимается лирически. Каждое из этих «уже» связано с какими-то печальными событиями, создается ощущение какой-то обреченности, неизбежности и значительности совершающегося.

Мы уже писали, что в «Слове» преобладают описания действий над описаниями неподвижных состояний. Добавим к этому, что если в «Слове» попадают описания состояний, то как *результатов* действий. Святослав Киевский видит во сне свой «терем без кнеса». Что это: особый терем, построенный без кнеса, чудесным образом отсутствующий кнес в нерушимом тереме, или терем поврежден? Думаю, что перед нами последнее. Свидетельством тому служит это «уже»: уже терем «безъ кнеса». Раньше он не был без кнеса. И это, согласно «Слову о князях» того же времени, служит знаком близящейся смерти: «единою расъдеса верхъ теремцю» и через этот расседшийся верх в терем влетает голубь за душою. Эта параллель к «Слову» обычно не указывалась исследователями,

252

а привлекался фольклорный и этнографический материал. Однако показания «Слова о князях» особенно важны тем, что это произведение того же времени имеет и другие сходства со «Словом о полку Игореве» и подчинено той же идее единения русских князей перед лицом внешней опасности. Речь идет о смерти черниговского князя Давида Святославича, не ссорившегося с другими князьями, а потому удостоенного праведной смерти. Вот этот рассказ о смерти Давида Черниговского: «Въ велицѣ тишинѣ бысть княжение его. Егда же изволи богъ пояти душу его отъ тѣла и болѣвшу ему недолго, позна епископъ Феоктисть, яко уже князь преставитися хоцеть, повѣлѣ пѣти канунъ крѣсту, единою расъдеса верхъ теремцю, и вси ужасошася. И влетѣ голубь бѣлѣ, и седѣ ему на грудехъ. И князь душу испусти, голубь же невидимъ бысть»¹.

Итак, повторения в «Слове» (и в том числе предчувствия — своеобразные «антиповторы», перевернутые повторения) имеют не только ритмическое значение. В «Слове» они играют большую роль и для создания особого настроения исторической значительности, неслучайности происходящего. Это в какой-то мере связывает прошлое, настоящее и будущее. В самом деле, когда по несколько раз повторяется с одинаковыми

промежутками то или иное местоимение — этим указывается, что явления соединены между собой, имеют роковой характер, предопределены.

Автор «Слова», говоря о событиях русской истории, неизменно ощущает их как роковые. Дважды он прямо говорит о «суде божьем».

И это не просто покорность судьбе, року, вершащему человеческую историю. Через все «Слово» проходит идея борьбы людей с обрушивающимися на них несчастьями. Войско Игоря терпит поражение, но в конце концов он бежит из плена, появляется в Киеве, и люди ему рады.

Забегание вперед путем предчувствий в «Слове» — явление чисто художественное. Оно не может быть связано с сознательно выраженным мировоззрением. Если гибель Анны Карениной «предсказана» в сне, который она видит, то из этого одного никак нельзя вывести заключения, что Л. Толстой «верит в сны». Читатель, особенно читатель лирических произведений, должен получать в чтении ощущение, что будущее предопределено,

253

настоящее — это свершение каких-то предшествующих ему событий и законов, а прошлое — непосредственно связано с настоящим. Связать все три времени — прошлое, настоящее и будущее — в единый поток — одна из художественных задач лирики «Слова».

У автора же отношение к предчувствиям почти такое же, как и к древнерусскому язычеству: язычество переведено у него в эстетический план. В эстетическом ракурсе предстоит перед ним и его «лирика предчувствий».

Подобно тому как язычество перешло в «Слове» в аспект художественный, предчувствие поражения тех или иных событий в «Слове» также выступает не как явление мистического мировосприятия, а как чисто художественное явление. Предчувствие в «Слове» соседствует с ощущением чего-то сбывшегося, с сознанием неизбежности случившегося, предопределенности происшедшего.

Роковой характер событий подчеркивает и вещей сон Святослава.

* * *

В повторяемости один из секретов завораживающей силы «Слова о полку Игореве». Сложные сплетения и переплетения различных повторений составляют его различные ритмы. Ритмичность «Слова» не может быть вскрыта на одном каком-то уровне. Она идет в самых неуловимых и трудно осознаваемых сферах — от чисто звуковых до чисто смысловых, от коротких повторов внутри одного предложения, до повторов, разделенных большими расстояниями. И при этом ритмы «Слова» не замкнуты в себе, в одной только собственной ткани произведения. Они раздвигают рамки произведения, связывая его с традициями культуры, с ритмами труда, войны и охоты, с ритмами русской истории. Последнее — ритмы истории, эстетическая данность истории — должно составить предмет особого рассмотрения — рассмотрения необходимого, ибо без этого невозможно до конца понять самую суть поэзии «Слова».

254

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ В «СЛОВЕ»

В лексике «Слова о полку Игореве» отчетливо обнаруживаются типичные для XI—XIII вв. оттенки словоупотребления и семантики. Мы коснемся только одной темы —

значения некоторых слов и выражений в «Слове о полку Игореве», связанных с особенностями представлений о времени в Древней Руси.

В работе «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи» Ф. П. Филин обратил внимание на то, что «в своем абстрактном виде понятие «прежде» — продукт позднего мышления. В дописьменную эпоху у славян, как и у всех других народностей, находившихся на одинаковой с ними ступени развития мышления, понятие «прежде» было тесно связано с различными пространственными и другими понятиями, и эти связи лежат на поверхности, как в старых славянских письменных языках, так и в современной славянской речи (ср. древнерусское и современное *перед* — «передняя часть чего-либо», «то, что находится впереди», и многочисленные сложные образования с данным словом, обозначающие разнообразные конкретно-материальные понятия...)»¹. В X—XIII вв. представления о времени стали уже в достаточной мере общими и абстрактными, но его

255

связи с пространственными представлениями были все же значительно теснее, чем в новое время, а главное, они отличались к а ч е с т в е н н о .

Обычные представления о будущем связывают его с тем, что находится впереди (ср.: *у него еще целая жизнь впереди* или: *наше будущее впереди*). Обычные же представления о прошлом связываются с представлениями о том, что находится сзади (ср.: *все страхи у него позади* или: *у него за плечами годы упорного труда*). Настоящее, с точки зрения обычных представлений нового времени, находится между прошлым и будущим.

Иными были временные представления в Древней Руси. Прошлое в X—XIII вв. (а частично и позднее, точные хронологические пределы установить вряд ли возможно) ассоциировалось прежде всего с тем, что в п е р е д и . «Передний» означало «прежний, прошлый»; ср.: «Тое же зимы даша Изяславу Туров и Пинеск к Меньску, то бо бяшетъ его осталось, передние волости его» (Лавр. лет., под 1132 г.); или: «Како уставили переднии князи, тако платите дань» (Новг. I лет., под 1229 г.); или: «Прародители его по изначальству были в приятельстве и в любви с передними римскими цари, которые Рим отдали папе» («Памятн. дипл. снош. России с держ. иностр.», т. I. СПб., 1851, с. 17, под 1489 г.); или: «Ино то царь брат наш делаешь гораздо, что на своей правде крепко стоишь и нашу переднюю дружбу к себе помятуешь» («Памятн. дипл. снош. Моск. государства с Крымом и Ногаями и Турциею», т. II. СПб., 1895, с. 255, под 1516 г.). Так же точно одно из значений слова «переди» было «прежде, раньше»; ср.: «Томь же лете и Ладога погоре, переди Новагорода» (Новг. I лет., под 1194 г.); или: «О нем же переде сказахом» (Ипат. лет., под 1283 г.). С теми же представлениями о прошлом как о находящемся в п е р е д и какого-то определенного временного ряда связано и одно из значений слова «первый» (ср. хотя бы в «Слове о полку Игореве»: «първыхъ временъ усобицѣ»; «о, стонати Руской земли, помянувшѣ пръвую годину и пръвыхъ князей!»). Этимологические остатки этих древних представлений сохраняются отчасти и поныне (в слове «прежде» и др.), но как к о н к р е т н ы е п р е д с т а в л е н и я о прошлом они в новое время отсутствуют.

Представление Древней Руси о прошлом как о чем-то, что стоит в п е р е д и , отнюдь, однако, не означает,

256

что будущее рассматривалось как нечто, стоящее п о з а д и н а с . «Задним» было то, что стоит в конце, позади временного ряда, безотносительно к нашему положению. Это могли быть события последних лет, а иногда даже и события будущие, если ими должна была замыкаться какая-то цепь событий, какой-то временной ряд. Обычное летописное выражение «о сем бе в задних летех писано» означает: «об этом было писано под последними годами летописного повествования». В связи с этим следующим известным словам Ипатьевской летописи (под 1254 г.): «Хронографу же нужна есть писати все и вся бывшая, овогда же писати в передняя, овогда же воступати в задняя» — следует дать такое толкование: «Хронографу следует описывать все случившееся, то возвращаясь к

старине, то описывая последние события». Толкование И. И. Срезневского, предложившего понимать в данном месте Ипатьевской летописи слово «передняя» как «будущее»¹, лишено оснований и обесмысливает текст. Ведь в тексте Ипатьевской летописи сказано: «все и вся бывшая», «будущее» же не может относиться к «бывшему». Ср.: «Имеях же у себе за 20 лет приготовлены такового списания свитки, в них же беаху написаны некия главизны еже о житии старцеве памяти ради; ова уба в свитцех, ова в тетратех, аще и не по ряду, но предняя назади, а задняя напреду» (Житие Сергия, написанное Епифанием)². Слово «заднее» могло относиться и к будущему, хотя основное временное его значение все же — «относящееся к последнему времени», «то, что стоит в конце какого-то определенного промежутка времени». Условно можно принять для слова «задняя» значение «будущее» — например, в следующем случае: «И под тем каменем Моисей... от бога прия скрижали каменны... и ту виде задняя его и просветись лице его, яко солнце» (Никон. лет., под 1204 г.). В связи с этим значением слова «задняя» стоит и юридический термин Древней Руси «задница» — «то последнее, что осталось от умершего, наследство» (ср. этот термин в «Пространной правде»: «Аже смерд умереть, то задницу князю...»).

Итак, слово «передняя» в древнерусском языке относилось к прошлому, когда речь шла о времени, точнее, к началу какого-то определенного промежутка времени,

257

«задняя» же — к недавно случившемуся, ко времени последних событий, к завершению какой-то цепи событий, иногда — к будущему. Значения наших слов «прошлое» и «настоящее» лишь условно, с большим приближением, могут быть здесь применены. Это происходило потому, что представление о настоящем еще не устоялось, не отделилось от представлений о будущем и не сузилось до момента, делящего время на две половины, — ту, которая впереди, и ту, которая сзади. Четких границ между настоящим и прошлым не было. События располагались во времени вне зависимости от личного положения человека относительно их. «Передними», древними были первые из этих событий, начало цепи времени, «задними» были последние события, безразлично — настоящие или будущие.

Определяя отношения нового времени к пространственным ассоциациям времени, мы должны были бы сказать, что представления о будущем как о находящемся впереди и о прошлом как находящемся сзади предполагают собственное положение человека между этим прошлым и будущим. Прошлое с з а д и по отношению к тому человеку, о ком идет речь, будущее в п е р е д и также по отношению к тому, о ком говорят. В Древней Руси прошлое впереди только потому, что оно начинает собою цепь событий, а настоящее и будущее сзади потому, что они эту цепь замыкают: здесь нет места для представлений о положении самого человека относительно этих «впереди» и «сзади». Представление о настоящем еще не выкристаллизовалось, не отделилось полностью от представления о будущем.

Итак, древнерусские пространственные ассоциации, связанные с понятием времени, сохраняют пережитки более ранних эпох. В связи с этим попробуем понять два места в «Слове о полку Игореве»: одно — которое до сих пор всюду и всегда толковалось явно неправильно, в противоречии с данными древнерусского языка, и второе — которое до сих пор не получало общепринятого толкования и казалось неясным.

В самом деле, что означает следующее место «Слова о полку Игореве»: «мужаимъся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ». Это место всюду и всегда переводилось, исходя из современных представлений о времени: «б у д у щ у ю славу сами похитим, а м и н у в ш у ю сами поделим». Фраза эта в таком переводе имеет значение пустой похвальбы, не связанной

258

с последующим текстом «Слова». На самом же деле слово «переднюю» имеет, как мы видели, в памятниках XI—XIII вв.¹ только одно временное значение — «прошлую, прежнюю»; «заднюю» же означало — «последнюю», условно говоря — «нынешнюю» или «будущую». Смысл этих слов в том, что Игорь и Всеволод своим походом на половцев собирались «похитить» славу прежних чужих походов на половцев и поделить между собою славу своего нового совместного, последнего похода на половцев. За этот поход, за безумную попытку вдвоем «похитить» славу предшествующих походов и добыть себе, поделив на двоих, новую славу и укоряет Игоря и Всеволода в своем «золотом слове» Святослав. О том, что слово «похитить» уместнее в отношении к прошлому, а не к будущему, показывают следующие сходные места «Слова»: «при трепе славу дѣду своему Всеволоду», «уже бо выскочисте изъ дѣдней славы» и «разшибе славу Ярославу». «Притрепать», «разшибить» «похитить (последнее в особенности) можно лишь чужую славу — славу, уже приобретенную кем-то, но не будущую.

В словах Игоря и Всеволода не сказано только, чью славу собирались они похитить своим походом. Это и понятно: слова их переданы Святославом; очевидно, они и относились к нему самому. Своим походом в степь молодые князья Игорь и Всеволод собирались «похитить» славу старого Святослава, славу его удачного похода на половцев 1184 г. Вот почему Святослав замечает затем, как бы отвечая на похвальбу молодых князей, слишком рано собравшихся делить славу еще не осуществленного похода и похитить славу его, старого Святослава: «А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколь въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ: не дастъ гнѣзда своего въ обиду». Это уже речь Святослава о себе. Она и продолжается им о себе: «Нъ се зло — княже ми непособие: наниче ся години обратиша».

Итак, «передняя» слава означает в «Слове» прежнюю славу, а «задняя» — последнюю, «нынешнюю», славу близкого будущего. В связи с этим становится понятным и другое место в «Слове», вызывающее различные толкования исследователей: «свивая славы оба полы сего

259

времени»¹. О каких половинах времени здесь идет речь? Противоречие упоминания этих двух «половин» времени с обычными представлениями нового времени о трех, а не о двух частях времени — прошлом, настоящем и будущем — постоянно вызывало недоумение исследователей. Из предшествующего анализа представлений о времени совершенно ясно, что здесь идет речь о «переднем» и о «заднем» времени. Всякое время, в том числе и это время, историческое время этих событий («сего времени»), имеет две половины — «переднюю» (начинающую это время) и «заднюю» (закрывающую его). Настоящее, как уже было сказано, еще не отделено от будущего, вместе с ним оно составляет одну «половину» времени; другую «половину» времени составляет прошлое.

В представлениях людей общинно-родового строя существовали отдельные, обособленные друг от друга временные ряды, имевшие свое начало и конец. Каждая «история» развивалась внутри самой себя, а кроме того, существовало время годового круга: весна, лето, осень, зима со своими сезонными праздниками: солнцеворота, Купалы, Корочуном (Корочун — праздник самого короткого дня в году, упоминаемый в Новгородской летописи) и пр. Выше мы уже подробно говорили о том, что с приходом феодализма и христианства были принесены другие представления о времени: появились представления о едином течении времени мировой истории. История собственной страны стала рассматриваться как часть мировой истории. Особенно отчетливо это выражено уже в Начальной русской летописи. Но как соотносить между собой отдельные временные ряды, как связать их в единую историю? Византийские хроники имели общий годовой отсчет от «сотворения мира», но обычно рассказывали события своей истории по царствованиям императоров. Последнее для русской истории было невозможно: русские великие князья были слишком неустойчивы на киевском столе — садились на него иногда

по два и по три раза. А как быть в периоды «междукняжья» и как разобраться в вопросах прав на киевский стол? Основной формой объединения отдельных событийных рядов в единый исторический процесс стала на Руси годовая

260

сеть изложения. Статьи начинались словами: в лето такое-то. Эта годовая сеть не связывалась еще органически с конкретным ощущением времени в XI и XII вв. и была скорее насильственной и официальной формой объединения событий, чем вытекавшей из изменившегося чувства времени, но по тем временам это был единственный способ соединить все событийные ряды русской истории, создать историю Русской земли, раздробленной между отдельными княжествами.

«Слово о полку Игореве» не было летописью. События, рассказанные в нем, были сами по себе едины: это были события одного похода, закончившегося неудачей. Воспоминания о прошлом в «Слове», обращения к этому прошлому не были систематическими и также не нуждались в искусственном объединении годичной сетью. Поэтому в «Слове» больше, чем в летописи, ощущается архаическое и органическое представление о времени. «Слово» свободно от необходимости следовать строгой хронологии «от сотворения мира». Поэтому оно живее и проще связывает «оба полы сего времени» — прошлое и последнее («заднее»). В своем ощущении времени «Слово» фольклорно. Оно ближе к общенародному ощущению, чем к книжному. Оно не стремилось быть хроникой событий, летописью, историей.

261

«СВЕТ» И «ТЬМА» В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Если мы приглядимся к тексту «Слова о полку Игореве», мы сразу же заметим, какую значительную роль в «Слове» играют «свет» и «тьма», борьба их между собою. Огромную роль играет и «солнце» — световое начало. Нет нужды приводить примеры: «Слово» слишком хорошо знакомо читателям. В этом особом внимании к свету и тьме нет ничего удивительного для «Слова о полку Игореве». В Древней Руси «свет» был абсолютной ценностью и носителем абсолютной красоты. В самом старшем компилятивном произведении древней русской литературы — в «Речи философа», читающейся в составе «Повести временных лет», есть место, которому нет соответствия в Библии. Оказывается, согласно «Речи философа», сатана позавидовал богу и захотел владеть миром после четвертого дня творения, когда бог создал свет, солнце, луну, звезды, *украсив* ими небо¹. Иными словами — сатана захотел овладеть миром, когда увидел его красоту, а красота мира заключалась прежде всего в свете и светилах. Владимир Мономах пишет в своем «Поучении»: «да не застанеть васъ солнце на постели...» Надлежит воздать богу утреннюю похвалу «и потомъ солонцю въсходящему, и узрѣвше солнце, и прославити бога с радостью»².

262

Однако в «Слове о полку Игореве» есть два места, из которых ясно, что солнце не только источник света, но и тьмы: Игорь «възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отѣ него (то есть от солнца — как от причины, но, может быть, и «для него». — *Д. Л.*) тьмою вся своя воя прикрыты»; другое место более определенно по смыслу: «солнце ему (Игору. — *Д. Л.*) тьмою путь заступаше». В последнем случае определенно солнце — источник, причина тьмы.

В понимании сущности света и тьмы в Древней Руси существовали два учения — одно Иоанна Дамаскина и другое Дионисия Ареопагита (чаще называемого «Псевдодионисием

Ареопагитом»). Согласно первому учению в мире существует только свет; тьма же — не что иное, как отсутствие света, лишение света. Согласно второму учению (то есть учению Дионисия Ареопагита) свет и тьма — две самостоятельные сущности. Тьма может создаваться не только от того, что источник света скрыт, но и насыщаться самостоятельно — как некое сущностное начало. Тьму может посылать солнце и бог.

В первом из процитированных нами мест «Слова о полку Игореве» переводчики не разъясняли обычно слов «от него» (от Игоря ли, от солнца ли и в каком из двух возможных смыслов, если от солнца), во втором месте неясность устранялась другой неясностью (вернее, не «устранялась», а «заслонялась»). Второе место обычно переводится так: «солнце загораживало, заслоняло, преграждало, предупреждало ему — Игорю — путь тьмою». Необычность заключается в том, что солнце оказывается в какой-то мере источником тьмы. Согласно нашим представлениям о затмении причина тьмы луна, а не солнце. Значит, помимо всего прочего у автора «Слова» нет точного представления о сущности затмения, нет даже самого понятия «затмение». Это совпадает с тем обстоятельством, что слово «затмение» впервые появляется на Руси только в XVI в. и то в памятниках Юго-Западной Руси. Однако в хорошо известном в христианском мире, а в какой-то мере и на Руси слове Иоанна Дамаскина «О свете, и огни, и светилницах» происхождение затмения представлено довольно верно. Тьма — это не какая-то особая сущность, а просто отсутствие света — «светово лишение». Солнечное же затмение объясняется в общих чертах верно. Своими размерами солнце превосходит землю и луну, но ближайšie предметы могут заслонить собою гораздо большие по размерам, но отстоящие от нас дальше предметы. Затмение происходит не от солнца,

263

а от меньшей по размерам луны, которая движется по ближайшей от земли сфере. Луна — одна из семи планет, каждая из которых движется по своей сфере. Луна движется по ближайшей сфере. Хотя она и меньшая по размерам, чем солнце, но, встав между землею и солнцем, заслоняет собою свет, исходящий от солнца: «Помрачит же ся солнце и лунным телом, яко и преграде сотворшюся, ти осеншю, ти не оставльшю подати нам света. Елицем же ся убо обрящеть телом лунным закрывая солнца, толико и мърчение будет. Аще и мнее есть луна тело, то не чюдися: и солнце бо овми есть глаголемое мноземь боле земля, а очима нашими равно земли, и многажды мал облак заступаеть и́, или мала могыла (холм. — *Д. Л.*), или мала стена»¹.

Слово Иоанна Дамаскина могло быть известно на Руси если не в древнерусском переводе (он сравнительно поздний), то в греческом тексте. Однако ни в одном памятнике XI—XIII вв. это представление Иоанна Дамаскина о затмении не отразилось и само слово «затмение», как мы уже видели, позднее. Более знакомым, судя по различным признакам, было древнерусскому читателю эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Согласно же его учению бог посылает свет, и сколько бы этого света бог ни посылал — энергия бога неиссякаема и единство его не нарушается. Так же точно и с солнцем. Но бог (и солнце) посылает не только свет, но и тьму. Отсюда выражения: «свет божественной тьмы», «божественныя тмы заря»².

Исходя из этих представлений об активной и самостоятельной сущности тьмы понятны и некоторые другие пассажи в «Слове о полку Игореве», кроме двух указанных выше: «заря свѣт запала, мгыла поля покрыла», «на рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла». Тьма или мгла, «синяя мгла» является в «Слове» не просто отсутствием света, но активным, действующим началом, а вся борьба русских с врагами поэтически трансформируется в представление о борьбе света со тьмой — активной тьмой. Поэтому-то и возвращение Игоря из плена предстоит в «Слове» как победа света: солнце светится на небе, — вернувшийся из плена Игорь — в Русской земле.

264

В своей книге «Слово о полку Игореве и памятники русской литературы XI—XIII веков» (Л., 1968) в разделе, посвященном выражению «Плача» Ярославны «свѣтлое и тресвѣтлое слѣнце», В. П. Адрианова-Перетц отмечает, что эпитет «тресвѣтлое» — точный перевод греческого $\tau\rho\lambda\alpha\mu\tau\eta\varsigma$, что употребляется этот эпитет в древнерусской литературе только в применении к божеству или к христианским подвижникам, однако в гимнографии отсутствует его сочетание с существительным «солнце» (с. 174). Далее В. П. Адрианова-Перетц обосновывает возможность и естественность применения этого эпитета к солнцу.

В опубликованном Боню Ст. Ангеловым по списку XV в. памятнике «Служба святым обща пророку», приписываемом им по весьма общим и шатким основаниям Клименту Охридскому¹, имеется несколько эпитетов солнца: «мисльнное слѣнце» (с. 243, 246, 252), «пресвѣтлое слѣнце» (с. 246), «златозарное свѣтило» (с. 255) и среди них дважды — «трѣпсвѣтлаго слѣнца» (с. 246) и «трисвѣтлаго слѣнца» (с. 247). Перед нами, следовательно, еще один случай, когда выражение «Слова о полку Игореве», считавшееся гапаксом, находит себе подтверждение в старом памятнике.

Среди работ, посвященных проблеме солнца в «Слове», заслуживают особого внимания труды А. Н. Робинсона².

265

КАТАРСИС В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Как известно, понятие катарсиса (трагического очищения) у Аристотеля имеет множество толкований¹. В древнерусской литературе понятие катарсиса отсутствовало, однако в XI—XIII вв. практическое применение трагического очищения в литературных произведениях было постоянным. И если говорить о том, какое из существующих или существовавших пониманий этого трагического очищения было свойственно древнерусским литературным произведениям, то здесь прямо и решительно можно указать на этическое.

Но, кроме того, представления о катарсисе были и в самом деле различными в различные эпохи и в отдельных литературных направлениях (например, в классицизме или в романтизме). Каждая эпоха и каждое направление понимало катарсис по-своему.

В XI—XIII вв. (в последующее время значительно реже) все общественные бедствия в церковных проповедях использовались как призывы к покаянию. В больших общественных бедствиях (нашествия иноплемеников, «глад», «трус» — землетрясение и пр.) церковные проповедники видели не только повод для призыва к покаянию,

266

но и самое наказание за грехи, которое верующим следовало воспринимать не только с покорностью, но и с радостью, как свидетельство божественной заботы об их душах. Наказание влекло за собой, по мысли проповедников, очищение от греха и умиротворение, успокоение, возвышение над суетностью греха.

Еще решительнее применялось это трагическое очищение в светской исторической литературе XI—XIII вв.: в летописях и исторических повестях.

Так, например, в «Повести временных лет» под 1093 г. после рассказа о жестоких набегах половцев летописец восклицает: «О неиздреченному человеколюбью! яко же виде ны неволею к нему обращающа. О тмами любве, еже к нам! понеже хотяще уклонихомся от заповедий его. Се уже не хотяще терпим, се с нужею, и понеже неволею, се уже волею. Где бо бе у нас умиление? Ноне же вся полна суть слезь. Где бе в нас

въздыханье? Ноне же плачь по всем улицам упространися избьеных ради, иже избиша безаконьнии»¹.

После нового рассказа об ужасах половецких набегов, главный из которых — увод пленников в половецкие вежи, летописец еще решительнее заявляет: «Да никто же дерзнет рещи, яко ненавидимы богомь есмы! Да не будет. Кого бо тако бог любить, яко же ны възлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и възнесл? Никого же!»²

Очень типичную картину трагического очищения дает «Повесть о разорении Рязани Батыем». После страшного поражения, убийств, пленений, уничтожения города повесть переходит к рассказу о плаче Ингваря Ингваревича по убитым, о погребении погибших и о приезде на княжеский стол в Рязани князя кир Михаила. Трагическое умиротворение здесь, в этой повести, представлено в своей полной силе и в двух аспектах — нравственном и событийном.

Если с этой точки зрения мы подойдем к «Слову о полку Игореве», то увидим, что трагическое умиротворение в нем также лежит в основе самого сюжета и сопровождается нравственным очищением. Обращу внимание на то обстоятельство, что уже в ближайшем к «Слову» рассказе Ипатьевской летописи о поражении Игоря есть этот элемент

267

трагического очищения в его древнерусском, этическом варианте.

В Ипатьевской летописи сильно подчеркнут катарсис главного героя — Игоря. Попав в плен, Игорь произносит покаянную речь, кается в своих грехах, которые привели его к поражению. Эта покаянная речь занимает центральное место в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря. Эта покаянная речь не может просто «отражать жизнь». Она произносится Игорем в одиночестве, в плену. Маловероятно, что были свидетели (или послухи) этого покаяния Игоря. Даже если эта речь, произнесенная им в одиночестве, была действительно произнесена, то зачем было ее воспроизводить в летописи, если бы она не совпадала с художественными намерениями летописца? Мы знаем, как летопись «сюжетно» выбирает для изложения речи князей. Речь Игоря — это не речь на переговорах, не объявление князем своей политической программы. Она потому и попала в летописный рассказ, что была нужна как катарсис главного героя. Это типичный монолог-катарсис.

Можно было бы подумать, что эта речь была сочинена в XVIII в., так типична она для классицистической трагедии. Но нет, речь находится в Ипатьевской летописи, подлинность которой не может вызывать сомнений.

В «Слове о полку Игореве» тоже есть этот катарсис, но катарсис не личный, не главного героя только. Обобщающая сила «Слова» шире обобщающей концепции летописи. «Слово» рассматривает события 1185 г. как результат ошибок всех русских князей. Катарсис «Слова» — это катарсис лирический, в который втягивается, помимо Игоря, вся русская история и все русские князья-современники.

В «Слове о полку Игореве» Игорь, как герои греческих трагедий, идет против рока, судьбы. Он идет на половцев вопреки явным предостережениям (затмение, другие предзнаменования) и вопреки их численному превосходству. После рассказа о поражении Игоря и его пленении (напомню, что пленение рассматривалось в XI—XIII вв. как самое страшное последствие поражения) наступает спокойное движение повествования к нравственному умиротворению: Святослав произносит свое слово, «со слезами смешено». Этому «золотому слову» Святослава, его обращению ко всем русским князьям, как бы вторят в лирическом варианте плач Ярославны

268

и ее обращение к силам природы: к солнцу, ветру и Днепру. Плач Ярославны как бы симметричен политическому обращению Святослава поочередно ко всем русским князьям. Затем нравственное умиротворение переходит в умиротворение событийное:

Игорь бежит из плена, возвращается на свой стол и едет по Боричеву к Богородице Пирогошей с очевидной целью воздать ей благодарность за свое освобождение. Заканчивается «Слово» славой русским князьям. Трагическое умиротворение выдержано и в этическом, и в событийном плане. Присутствуют и слезы, которые у древних авторов считались приносящими облегчение и умиротворение¹.

Рассказы «Слова» о настоящем и о прошлом переплетаются между собой. Поражение вызывает раскаяние Игоря — в летописи, в «Слове» — гражданскую скорбь, осознание событий в их исторической перспективе.

Катарсис в «Слове» — это очищение через прозрение, через осознание исторических корней случившегося. Непосредственно после катарсиса герой ощущает в себе новые силы для продолжения борьбы. В летописи — это прежде всего Игорь; в «Слове» — это прежде всего вся Русская земля, и во вторую очередь — Игорь.

К Русской земле, ко всем ее князьям обращается князь Святослав Киевский, затем, после «золотого слова» Святослава и его естественного продолжения — обращения к русским князьям самого автора слова, — наступает черед Игоря. Плач Ярославны — это как бы продолжение обращения Святослава и автора «Слова» ко всем русским князьям.

Характерно, что соответственно литературной практике XI—XIII вв. не только читатели испытывают это трагическое нравственное очищение, «посредством сострадания и страха», которое производит очищение их чувств, но и главные действующие лица рассказа. Поэтому и Игорь никак не мог рассматриваться ни в «Слове», ни в рассказе Ипатьевской летописи как лицо безусловно положительное. Он-то и подвергается в первую очередь нравственному очищению и, следовательно, должен быть в известной мере виновником испытываемых им страданий.

Ярославна отчетливее, чем Святослав, вкладывает личные чувства в свое обращение — ее обращение личное.

269

После этого Игорь, обретя новые силы, бежит из плена на Русскую землю.

Но почему «золотое слово» Святослава не имеет того же результата, что и плач Ярославны? Почему не отправляются в поход все русские князья?

Может быть, этот объединенный поход всех русских князей и был тем ожидаемым результатом, который был целью «Слова о полку Игореве»? Один из призывов оказался без ответа, и этот «ответ» должен был, возможно, по мысли автора, совершиться в самой жизни. Призыв Ярославны к солнцу, ветру и Днепру отозвался бегством Игоря. Призыв Святослава ко всем русским князьям должен был в будущем отозваться объединенным походом всех русских князей против половцев.

Вопрос о катарсисе в «Слове о полку Игореве», как явствует из всего мною изложенного, нуждается в обстоятельных частных исследованиях. Одно из таких частных исследований — это вопрос о том, почему Игорь едет по возвращении из плена именно к Пирогошей и что такое эта «Пирогошая»?

270

«ПИРОГОШАЯ» «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Как известно, «Слово о полку Игореве» заканчивается короткими фразами, выражающими радость по поводу возвращения Игоря из плена. Каждая из этих коротких фраз — своеобразное обозначение различных аспектов торжества. Эти аспекты в известном смысле традиционны: это обычное при возвращении князя из похода пение ему

и его воинам «славы». Концовка отражает слова «славы» и самый факт ее пения, а также провозглашает здравицу Игорю, его дружине и его сыновьям.

Из содержания этой концовки выпадает одна только фраза: «Игорь ѣдет по Боричеву къ святѣи Богородици Пирогощей». Возвращаясь из похода в родной город, князь обычно ехал в патрональный храм своего княжества, чтобы вознести благодарность богу. Такие факты неоднократно отмечаются в летописи. В патрональном храме княжества обычно стоял престол князя¹; поэтому, возвращаясь на «свой стол», князь ехал именно в свой главный храм. При таком возвращении в родной город ему и пелась слава. Необычность рассматриваемого в концовке «Слова» факта состоит в том, что Игорь едет в храм не в своем городе — Новгороде Северском и даже

271

не в Чернигове, которому в различных аспектах подчинялся Новгород Северский, а в Киеве, куда он приезжает, побывав уже по возвращении предварительно и в Новгороде Северском, и в Чернигове. Странность такого рода могла бы получить некоторое объяснение, если предположить, что автор «Слова о полку Игореве» был киевлянин и поэтому сам в какой-то мере принимал участие в той «второй» или даже «третьей» радости по поводу возвращения Игоря, которой, как свидетель, и придает наибольшее значение. Я лично так и думаю. Ведь слова авторского прославления Игоря в конце «Слова» как бы сливаются со славой, певшейся ему киевлянами при въезде Игоря в Киев. Меня даже в известной мере удивляет, как исследователи, усиленно занимавшиеся поисками автора «Слова», не обратили внимания на это важное обстоятельство. Как мы увидим в дальнейшем, объяснение заключительного въезда Игоря в Киев лежит, однако, не только в этом или даже, может быть, совсем не в этом.

Дело в том, что в сообщении «Слова» о въезде Игоря в Киев есть и другое известие, требующее своего объяснения. Не совсем ясно, почему в Киеве Игорь едет не в его главные храмы, которыми следовало бы признать храм Богородицы Десятиной и храм Софии, а в храм Богородицы Пирогощей, начатый строиться в 1131 или 1132 г. и законченный в 1132 г., названный так по иконе Богородицы Пирогощей¹, сравнительно не так давно перед этим привезенной из Константинополя в одном корабле с иконой Богородицы Владимирской.

Феодалный этикет княжеского поведения не допускал случайностей. Поэтому мы должны попытаться найти объяснение поведению Игоря по возвращении из плена, а также тому, чем были для Игоря икона и храм Богородицы Пирогощей.

Отмечу одно важное обстоятельство. Фраза о том, что Игорь едет к Богородице Пирогощей, заканчивает всю повествовательную линию «Слова». Перед нами в этой фразе завершение событий «Слова». При этом следует иметь в виду, что поэтика «Слова» не допускала

272

упоминания художественно случайного или художественно малозначительного. И это также должно потребовать нашего пристального внимания к объяснению загадочного обращения Игоря в Киеве к иконе и церкви Пирогощей.

* * *

Как известно, русские люди издавна в трудных случаях жизни — в бурю на море, в плену или при каких-либо других обстоятельствах — давали обет в случае своего спасения отправиться на поклонение какой-либо из святынь. Обет непременно соединялся с покаянием в совершенных грехах. Именно такой обет был, по-видимому, дан и Игорем, когда он попал в плен. Примечательно, что рассказ Ипатьевской летописи о событиях поражения Игоря, последовательно раскрывающий точку зрения сторонника Игоря, а

возможно, и его самого, заключает в себе пространное изложение двух покаяний взятого в плен Игоря: одного — непосредственно на поле битвы, другого — уже в половецком стане.

Первое покаяние Игоря начинается так: «И тако, во день святаго Воскресения, наведе на ня Господь гнев свой: в радости место наведе на ны плачь, и во веселье место желю, на рече Каялы. Рече бо деи Игорь: „помянух аз грехы своя пред Господем Богом моим, яко много убийство, кровопролитье створих в земле крестьянстей, яко же бо аз не пощадох хрестьян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подьяша безвиннии хрестьяни, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подруги своея, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшую, живии мертвым завидять, и мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнемь от жизни сея искушение приемши...“» и т. д. (Ипат. лет., под 1185 г.).

Вторично кается Игорь в плену: «Игорь же Святославличь тот год бяшетъ в Половцех, и глаголаше: „аз по достоянию моему восприях победу (поражение. — Д. Л.) от повеления твоего, Владыко Господи, а не поганьская дерзость обломи силу раб твоих; не жаль ми есть за свою злобу прияти нужная вся, их же есмь приял аз“» (там же).

273

Обстоятельства бегства Игоря из плена также как будто бы указывают на то, что обет был Игорем дан.

Игорь молится перед бегством в половецком шатре: «Се же встав ужасен и трепетен, и поклонися образу божию и кресту честному, глаголя: «Господи сердцевидче! аще спасеши мя, Владыко, ты недостойного...» и возма на ся крест, икону, и подойма стену и лезе вон» (Ипат. лет., под 1185 г.). Молитва Игоря летописцем оборвана: фраза осталась незаконченной. Можно лишь догадываться, что она завершалась обещанием Игоря выполнить какое-то духовно-нравственное дело. Молитва начиналась условием («аще спасеши мя»), но условие это затем ничем не подкреплялось — никакой просьбой.

О самом обещании Игоря летопись и «Слово» почему-то молчат. В летописи обещание, возможно, даже было, но странным образом исчезло, нарушив грамматический строй речи Игоря. Мы не можем считать, что об этих обещаниях не принято было говорить. «Повесть временных лет» говорит под 1022 г. об обещании князя Мстислава, данном им во время его единоборства с Редедей: «И яста ся бороти крепко, и надолзе борющемася има, и нача изнамагати Мьстислав: бе бо велик и силен Редедя. И рече Мьстислав: «О пречистая богородице, помози ми. Аще бо одолею сему, съзижю церковь во имя твое». И се рек удари имь о землю» (цитирую по Лаврентьевской летописи. Обращаю внимание, что обещание Мстислава, как и незавершенное обещание Игоря, также начинается со слова «аще»).

Прервем, однако, наши размышления, чтобы воздать должное предшественникам.

Предположение об обещании, данном Игорем в плену, было высказано еще в 1891 г. В. З. Завитневичем. Последний пишет: «Подобно тому, как когда-то знаменитый Мстислав Тмутараканский, изнемогая в борьбе с Редедеем, дал обет создать церковь во имя Богородицы, так теперь знаменитый герой «Слова о полку Игореве», изнывая в половецкой неволе, мог дать известный обет Богородице Пирогощей»¹.

Почему же все-таки ни Ипатьевская летопись, ни Лаврентьевская, ни само «Слово» ничего не говорят об обещании Игоря?

274

Объяснение, я предполагаю, заключается в следующем. Спасение Игоря из плена не могло рассматриваться как результат помощи Бога, Богоматери или святых. Ведь Игорь совершил поступок, который даже сторонник Игоря, летописец, вынужден был назвать «неславным путем». Бог мог защищать Игоря уже во время самого бегства, но делать Бога участником «неславного» решения было для автора «Слова» невозможно. Другое дело,

конечно, что Игорь перед своим бегством мог возложить свое упование на Бога, Богородицу или святых, просить их о заступничестве.

«Слово о полку Игореве» нашло своеобразный художественный выход из «трудного» для древнерусского писателя сюжетного положения. С просьбой о спасении обращается в «Слове» не сам Игорь, а его жена — Ярославна. Игорь спасен в ответ на ее мольбу, и не к Богу при этом, а к силам природы. И именно эти силы помогают Игорю, согласно «Слову», во время его бегства. Но воздать благодарность за свое спасение Игорь едет все же в Киев к Богородице Пирогошей. Факт этот был значителен для древнерусского писателя, и обойти его он не решался. Напротив, автор делает этот факт сюжетным завершением «Слова»: как я уже сказал, именно на этом заканчивается фактическая, сюжетная сторона «Слова». После этого в «Слове» имеется лишь славословие Игорю, другим князьям и дружине, воздаваемое им самим автором.

Автор «Слова» мог обратить внимание на приезд Игоря в Киев как киевлянин, однако сам факт приезда остается: Игорь не остается по возвращении в родном Новгороде Северском или в Чернигове, а сразу же едет в Киев.

Отвечая на вопрос о том, почему Игорь едет к церкви Богородицы именно в Киеве, а не в родном городе, мы должны прежде всего отметить, что ни в Новгороде Северском, ни в Чернигове не упоминаются богородичные храмы. Культ Богородицы был прежде всего киевским, где он был и наиболее традиционным, если принять во внимание такие храмы, как Богородица Десятинная, София (культ Софии тесно связан, как известно, с культом Богородицы, является одним из выражений последнего) и центральный храм Успения Богородицы в Печерском монастыре. Культ Богородицы рано распространился из Киева, вернее, из Киево-Печерского монастыря, во Владимиро-Суздальской земле. Об этом мы имеем подробные

275

сведения в работах Н. Н. Воронина¹, М. Д. Приселкова² и многих других авторов³.

Патрональной святыней Чернигова был собор Спаса. Первая упоминаемая в Чернигове богородичная церковь освящена там на следующий год по возвращении Игоря из плена «отцом» (главой) черниговских Ольговичей Святославом Всеволодовичем⁴. Именно в этой церкви в 1196 г. был похоронен герой «Слова о полку Игореве» Всеволод Буй Тур. Храм Успения Богородицы имеется в черниговском Елецком монастыре. Письменных сведений о времени его основания нет. «Наиболее вероятная дата постройки — XII век и, скорее, его вторая половина»⁵.

Далее, с точки зрения феодального этикета, мы можем с полной определенностью ответить на вопрос о том, почему Игорь едет не к Богородице Десятинной и не к Софии: Игорь не был киевским князем, он не мог ехать к чужому княжескому столу и к чужой патрональной святыне. В эти два храма по возвращении из похода могли ехать только киевские князья, что и отмечено летописью в нескольких случаях под XII в.

Почему же Игорь дает обещание именно Богородице, воздает именно ей благодарность за свое спасение?

Богородица как защитница государства, страны, города от врагов хорошо известна в богослужебных и молитвенных текстах. Известен акафист Богородице — «Взбранной Воеводе». Богородица имеет своими символами «Небесный Иерусалим», град, стену града, нерушимую стену, стену непреборимую, двенадцативратный град (на основании Апокалипсиса у Романа Сладкопевца), башню Давида. Многочисленные материалы такого рода

276

суммированы в интересной статье С. С. Аверинцева «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской»¹. Многие из них ранее были уже собраны архиепископом Сергием в «Полном месяцеслове Востока» и в работах Н. П. Кондакова.

Приведу некоторые дополнительные данные.

В Триоди постной имеются следующие строки, относящиеся к Богоматери: «Тебе пристанище спасения и *стену нерушимую* богородице владычице, вси вернии вемы: ты бо молитвами твоими от бед свободяеши души наша» (Тропарь Богородице, песнь 5); «Жизни древе непроходимая, умная дево Богородице безневестная, райская врата заключеная ми прежде отверзи твоими молитвами, яко да славлю тя по бозе мою помощницу и *державе прибежище*» (Неделя сырная, утро, песня); «Богородице честная, души моя гноения, и сердца страсти, и ума пременение исцели, яко едина грешных помощница, и разоряемых *стена*» (вторник, первая седмица святого поста, песнь 9); «Тя вси стяжахом *прибежище* и *стену* присно христиане» (пятник первая седмица святого поста, песнь 3); «Блажим тя, Богородице Дево, и славим тя вернии подолгу, *град* непоколебимый, *стену* неборимую, твердую предстательницу и прибежище душ наших» (Богородичен в среду на вечерне, глас 5); «... радуйся, Богородице, двенадцатостенный *граде*, и дверь златокованная, и чертоже светообразный...» (из Богородична на утрене в праздник Андрея Первозванного, 30 ноября); «... радуйся, *граде* одушевленный Царя и Бога, в нем же Христос пожив, спасение содела...» (из Стихир на хвалитех, глас 4, самогласен на утрене в Рождество Христово, 25 декабря)².

В великом каноне Андрея Критского читаются такие строки: «*Град Твой* сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуй, в Тебе и утверждается и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, пленяет ратники и приходит послушание»³. Под «градом твоим» разумеется не только Константинополь, но всякий город и страна христианская.

277

Култ Богоматери как защитницы страны от степных врагов приобрел особенное значение в XII в. Архиепископ Сергей в «Полном месяцеслове Востока»¹ посвящает этому особую статью под 1 августа. Он отмечает, в частности, что празднество 1 августа по случаю знамения от образа Спаса и Богородицы установлено в XII в. в связи с победой императора Мануила (1143—1180 гг.) над сарацинами и победой Андрея Боголюбского над волжскими болгарами в 1164 г. Свидетельства об этом празднике имеются уже в XIII в. Напомним также в связи с этим, что князь Андрей Боголюбский молился перед сражением с волжскими болгарами: «Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами пречистыя ти Матери и силою честнаго креста помози нам на безбожнныя сия варвары» (Лавр. лет., под 1184 г.).

Покровительство Богоматери Владимиру и Владимирскому княжеству устанавливается особенно отчетливо с момента, когда в 1154 г. во Владимир была привезена икона Владимирской Божьей матери. Именно с этого года в Лаврентьевской летописи все победы Андрея Боголюбского начинают объясняться помощью Богородицы, и именно с этого времени с особенной силой расцветает во Владимире култ Богоматери как защитницы города и княжества от степных народов.

Следует, однако, обратить внимание на то, что одновременно, то есть с того же самого времени, необычайно возрастает култ Богоматери и в Киеве.

Под 1169 г. в Ипатьевской летописи имеется рассказ о чуде Богоматери Десятинной в Киеве, оборонившей Русь от половцев. Под тем же годом и в той же летописи говорится о помощи Богоматери Новгороду.

Чудо Десятинной Богоматери стоит отметить особо. Оно заключается в том, что Богоматерь освободила из плена пленных. Десятинная Богоматерь «не даст в обиду человека просто, еда начнуть его обидети, аже своее матере дому». В летописи говорится: «Прииде Михалко с переяславци и с берендеи г Киеву, победивше половци, хрестьяне же избавлени тоя работы (рабства. — Д. Л.), полонении же възвратишася опять в своя си, а прочии вси хрестьяне прославиша бога и святую Богородицу, скорую помощницу роду хрестьянску» (Лавр. лет., под 1169 г.). Итак, Богородица — не только защитница города

и страны от внешних врагов, но и освободительница пленных. Последнее для нас особенно важно.

Богородица помогает возвращению русского полона и в 1172 г.: «В то же лето чудо створи Бог и святая Богородица церковь Десятинная в Кыеве...» (Ипат. лет.). Чудо состоит в победе над половцами и возвращении полоненных ими русских. То же происходит в 1173 г.: киевляне побеждают половцев и отнимают у них полон — русских пленных. «... а сами, — сказано о киевлянах, — взворотышася Кыеву, славяще Бога и святую Богородицу» (Ипат. лет.).

Культ Богоматери на Руси как защитницы страны, города и освободительницы пленных был прочно связан с константинопольским Влахернским монастырем. С последним связан и Киево-Печерский монастырь. Не случайно преемник Феодосия на игуменстве в Киево-Печерском монастыре, Стефан, уйдя из последнего и основывая свой собственный монастырь, называет его Влахернским: Стефана несправедливо изгнали печерские монахи. «Бог помог» Стефану молитвами Феодосия, и Стефан «состави себе монастырь и церковь възгради въ имя святыя Богородица и нарек место то по образу сущаго в Костянтине граде из Лахерна и бе по вся лета праздынькь творя светел святей Богородици месяца июля въ 2 день»¹.

Какой иконографический тип представляла собой Богоматерь Влахернитисса? Изображение ее имеется на монетах и на моливдовулах Влахернского монастыря. Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев указывают на два типа этих изображений: на одних изображена Богоматерь Елеуса (тип, который впоследствии у старообрядческих коллекционеров получил название «Умиление»), на других — Богоматерь Одигитрия («Путеводительница»). По-видимому, во Влахернском монастыре были две иконы Богоматери — двух иконографических типов.

Н. П. Лихачев в статье «Моливдовул с изображением Влахернитиссы» отмечает по поводу описываемой им свинцовой печати XII — начала XIII вв., что около Елеусы надпись — Влахернитисса, из чего можно заключить, что икона этого типа почиталась в знаменитом

Влахернском храме¹. Н. П. Лихачев пишет: «Изображение Богоматери, находившееся в Влахернах, известно по надписи на монете Константина Мономаха (1042—1055) $\eta\beta\lambda\alpha\chi\epsilon\rho\nu\iota\tau\iota\sigma\alpha$ (надпись не имеет надстрочных знаков. — *Д. Л.*) представляет тип Оранты. На издаваемой нами печати (изображение печати приводится Н. П. Лихачевым в данной статье. — *Д. Л.*) другой образ, также, значит, находившийся в Влахернах»². Время, к которому Н. П. Лихачев относит существование почитаемой во Влахернах иконы типа Елеусы (в русской терминологии «Умиление»), — никак не позднее XII в. Н. П. Лихачев пишет: «Если бы мы и допустили, что издаваемая печать относится к первой половине XIII века (самое позднее определение), то этим самым признали бы существование иконографического типа «Умиление» на иконах Богоматери в Византии XII столетия».

Другой тип Влахернской Богоматери Оранты, или Одигитрии, представлен в окружении стен Влахернского монастыря, имевшего семь башен. Н. П. Кондаков пишет: «...На монетах Михаила Палеолога (1261—1282) образ Божией Матери Оранты представляется внутри семибашенного замка (только шесть башен. — *Д. Л.*)³, также на монетах царя Андроника II Палеолога, или Старшего, и Андроника III Палеолога (1328—1341)»⁴.

Нет сомнения в том, что обе иконы Влахернитиссы — одна из которых была типом «Умиление» и могла быть прототипом Владимирской божьей матери, покровительницы Владимиро-Суздальского княжества, а другая представляла собой тип Оранты, «Путеводительницы», и изображалась в окружении стен «семибашенного» Влахернского

монастыря, — были самым тесным образом связаны с оборонным патронажем Руси и в Киевской, и во Владимирской землях.

Из Влахернского монастыря шли истоки русского праздника Покрова, установленного на Руси в середине XII в. Именно с Влахернским монастырем связывается самое чудо Покрова: видение Андрея Юродивого.

280

С появлением во Владимире иконы Владимирской Богоматери устанавливается празднование Влахернского чуда: надвратный храм во Владимире (храм на Золотых воротах) посвящен Положению Риз Богоматери — влахернской реликвии, защитницы города (и Константинополя, и Владимира), церкви и государства. Поэтому я предполагаю, что икона Владимирской Богоматери была копией иконы Влахернитиссы — Елеусы («Умиление»).

Сказание о чудесах Владимирской иконы Богоматери датируется Ключевским и Ворониным 60-ми годами XII в. К этому же приблизительно времени относится и «Слово на праздник Покрова». Это «Слово» замечательно. Оно все посвящено защите и обороне Русской земли. Как сам праздник Покрова, так и само «Слово» отнюдь не ограничивается только Владимиро-Суздальской землей. Это праздник всей Русской земли. И «Слово Покрову» направлено не только против внешних врагов Руси, но и против междоусобных ратей, а последнее чрезвычайно важно для нашей темы. Покров защищает Русскую землю, как сказано в «Слове», «от стрел летящих во тьме разделения нашего»¹.

В Службе Покрову во втором стихе 8-й песни говорится: «...гордыню и шатания низложи и советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби и благочестивому князю нашему рог возвыси». В первом стихе песни 9 читаем: «высокий Царю со Отцем седяй, призри на молитву матерню, спаси град и люди умножи и даждь князю здравие телесне и на поганья победы». Против междоусобий князей имеются тирады и в проложном сказании о Покрове.

В предсмертной молитве к Богоматери князя Ростислава Мстиславича, приводимой Ипатьевской летописью под 1168 г., прямо говорится о ризе Богоматери: «Пречистая Богородице, вышьши еси ангел, архангел, всея твари честнейшу, помощнице обидимым, ненадеющимся надеяние, сиротам заступница, убогим кормительнице, печальным утешение, грешным спасение, хрестьяном всим поможение; милостива еси, Госпоже! милостью

281

своею помилуй мене грешнаго раба своего Михаила¹, ризою мя честною защити... препоявши мя силою свыше на невидимыя и видимыя врагы».

Если предположить, что икона Владимирской Богоматери была списком Влахернитиссы — Елеусы, то привезенная с нею в одном корабле Пирогощая, естественно, могла быть списком другой почитаемой во Влахернах иконы — Одигитрии, Путеводительницы, изображаемой в окружении семибашенного Влахернского монастыря.

Догадка о том, что Пирогощая была изображением Одигитрии из Влахернского монастыря, отвечает на вопрос и о происхождении, и значении ее названия: Пирогощую наиболее вероятно следует производить от греческого слова *πυρῳτίς* — башенная.

Впервые такое толкование предложил В. З. Завитневич. Он указал, что слово «пирогощая» происходит от греческого *πυρῳτίς*, и перевел так: «снабженная башнями». Он предполагал, что в переносном смысле Богородица Пирогощая то же, что «Взбранная Воевода»: один из символов Богоматери².

Перевод и прототип греческого названия «пирогощей» В. З. Завитневича уточнил выдающийся знаток византийского искусства и греческого языка (последнее в данном случае особенно важно) Н. П. Кондаков. Он пишет: «Считаем возможным, что имя (Пирогощая. — Д. Л.) есть обрусевшая форма эпитета *πυρῳτίσσα* и что он, в свою

очередь, обозначал в устах жителей Византии именно Влахернский храм, заключенный в последнем периоде империи в стены, заканчивавшиеся башенным полукругом, откуда имя „башенной Божией Матери“»³.

Идя разными путями, мы, следовательно, приходим к тому же выводу, что и Н. П. Кондаков.

Сообщение в Лаврентьевской летописи под 1131 г. о закладке князем Мстиславом Владимировичем (сыном Мономаха) церкви Богородицы Пирогощей находится непосредственно после известий о победах Мстислава в Литве (в том же 1131 г.) и над Чудью (под 1130 г.). В том же контексте и сообщение о закладке церкви Богородицы Пирогощей в Ипатьевской летописи, но с обычным

282

для этой летописи некоторым хронологическим сдвигом в один год (основание церкви относится к 1132 г., победы — соответственно к 1131 и 1132 гг.). Можно думать поэтому, что закладка церкви Пирогощей находится в связи с этими победами, как благодарность этой иконе, что указывает на то, что икона Пирогощей воспринималась, как и обе иконы Влахернского монастыря, как защитница страны.

Привоз икон Пирогощей и Владимирской из Царьграда, о котором сообщают летописи под 1151 г. как о факте, относящемся к прошлому¹, должен был совершиться до 1131—1132 гг. — года закладки церкви Пирогощей. Он мог произойти в 1129 или в 1130 г., когда Мстислав отправил в заточение в Царьград полоцких князей. На обратном пути из Царьграда послы могли привезти списки с обеих влахернских икон: будущей Владимирской и Пирогощей.

Само собой разумеется, что предложенное объяснение того, что представляла собой икона Пирогощей и ее история на Руси, — не более чем гипотеза, но гипотеза, начало которой положено такими выдающимися знатоками русских древностей и «текстоспособными» искусствоведами, как Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев².

Существует предположение, что название иконы «Башенная» (Пирогощая) происходит оттого, что она находилась в круглой Влахернской церкви, напоминавшей собой башню. Действительно, император Лев (457—474 гг.) построил круглый в плане храм во Влахернах, в котором в ковчеге была положена одежда Богоматери³. Храм этот сгорел в 1454 г. Однако предположение о том, что круглая церковь могла называться башней, не кажется основательным. Круглые в плане храмы-ротонды существовали

283

и на Руси (в Галицком княжестве), и в Византии, и на Западе, но ни в одном случае эти круглые храмы не назывались башнями. Дело в том, что круглая форма крепостных башен сравнительно поздняя. Она появилась в связи с развитием артиллерии и необходимостью лучше противостоять разрушительной силе ядер. В пределах до XV в. крепостные башни строились в основном прямоугольными в плане. Круглые башни были исключениями (например, в XIII в. в Каменце Литовском — типа донжона, одиноко стоящая)¹. обстоятельный разбор различных точек зрения на происхождение названия и гипотез о местоположении церкви Пирогощей имеется в монографии М. К. Каргера «Древний Киев»². Поэтому я не останавливаюсь на этом вопросе. Отмечу только отсутствующую у М. К. Каргера гипотезу Марка Шефтеля. Последний предполагает, что название «Пирогощая» могло произойти от греческого «*παρηγορητισσα*» — «Утешительница», что маловероятно³.

Сравнительно недавно Д. Н. Альшиц высказал предположение, что слово «пирогощая» составное: из греческого «*πυρ*» (огненного цвета, горящая) и «*γοσση*» (якобы от русского «горящая»). Под «огнем» «горящая». Д. Н. Альшиц предполагает тип Богоматери «Неопалимая купина»⁴. Однако принятию предположения Д. Н. Альшица мешают четыре обстоятельства: 1) не доказано, что тип иконы «Неопалимой купины» существовал до XV в.; древнейшее изображение «Неопалимой купины» — шитье второй половины XV в.,

хранящееся в Русском музее (шифр ДР Т 31; из Кирилло-Белозерского монастыря). На шитье — не традиционное для XVII в. изображение Богоматери внутри двух перекрещивающихся ромбовидных форм, а в виде горящего куста терновника, на фоне которого дано изображение Богоматери, и рядом помещено изображение Моисея, снимающего обувь (согласно известному библейскому рассказу о явлении горящего куста Моисею)⁵.

284

У Н. П. Кондакова в работе «Памятники христианского искусства на Афоне»¹ делается предположение, что иконы Богоматери «Знамение» могли изображать символ богоматери — «неопалимую купину». Однако в таком случае этот тип иконы не мог называться «огнем горящая», ибо никакого огня здесь не изображалось; 2) символ Богоматери — горящий куст терновника — не мог также называться «огнем горящая» Богоматерь, так как смысл символа в обратном: куст не сгорел. В этом названии искажался бы самый смысл символа — названия же иконы давались не по видимому изображению, а по невидимому значению прообраза; кроме того, все названия икон были традиционными и предполагать их «народные» названия очень трудно; 3) не доказана возможность существования в XII в. макаронического типа слова, при котором в сравнительно стройном и правильном древнерусском языке могли бы в одном слове соединиться слова греческое и русское²; 4) не доказана лингвистическая возможность появления слова «гощая» из «горящая».

В заключение мне хотелось бы предостеречь читателей от попыток увидеть в монете Андроника Палеолога с изображением Одигитрии в окружении стен с башнями простое и точное уменьшение иконы Пирогощей. Изображение иконы на монетах и моливдовулах было прежде всего символическим. Оно не должно было следовать формам и композиции изображаемой иконы. Изображение Одигитрии в кругу стен с башнями на иконе было бы весьма необычным. Более естественной была бы другая иконная композиция — сидящей Одигитрии на престоле, являющемся одновременно градом со стенами и башнями.

В исследовании Тани Вельман³ приводятся примеры того, как престол, на котором изображается сидящая Богоматерь,

285

принимает формы зданий (иконы Благовещения из Охрида в музее в Скопле, Рождества Богоматери из Периблепты в Мистре, Благовещения в Беренде (Болгария, XIV в.). Такая форма престола, несомненно, связана с тем, что Богоматерь символизирует собой град, хотя имеется изображение и евангелиста Иоанна, сидящего на троне, представляющем собой здание-город (миниатюра в Евангелии св. Медарда Суассонского, Национальная библиотека в Париже, Lat. 8850, fol. 180 v.; воспроизведение у Тани Вельман, с. 196). Это изображение трона также не случайно: Иоанн — автор «Откровения» (Апокалипсиса), он теснейшим образом связан с судьбами государств и мира. Отметим также, что архитектурные формы имеет престол Толгской Богоматери конца XIII в. в Третьяковской галерее¹, и икона Богоматери с младенцем второй половины XIII в. в Вашингтонской Национальной галерее², и миниатюра из греческой рукописи Акафиста пресвятой Богородице в Московском Историческом музее, второй половины XV в. (греч. 429, л. 18 об.)³. Среди всех перечисленных изображений Богоматери довольно много иконографических типов, но среди них есть и такой, в котором сидящая Богоматерь Одигитрия как бы окружена стеной с мелкими башнями.

Для искусствоведов и музейных работников, если бы они задались целью отыскать прототип или даже оригинал Пирогощей, представят интерес следующие два указания архиепископа Сергия: «Галатская икона Божией Матери (что в Пергии, т. е. в Пирге (башне) в Царьграде). Монастырь ее был в Галате по Крузию... еще в 17 веке... Точное изображение находится в Москве в церкви св. Тихона чудотворца»⁴. И далее: «Влахернская икона Божией Матери. Влахерны — в Царьграде на западном углу города

между шестым холмом и заливом. Икона находилась здесь в храме, построенном Пульхерию. Она сделана из воскомастики. Она есть та самая, которую имел царь Ираклий в походе против персов. В 1653 г. (по другим — в 1654 г.) принесена царю Алексею Михайловичу.

286

Ныне в Успенском соборе в приделе апостолов Петра и Павла»¹.

Относительно иконы Влахернской Божьей Матери в приделе Петра и Павла Московского Успенского собора см. более подробные сведения в книге Н. П. Кондакова². В той же книге есть и указание на изображение этой иконы. Что это за икона, какой тип из двух влахернских икон Богоматери она представляет, — судить искусствоведам.

Итак, свожу в единое целое свои утверждения, гипотезы и некоторые догадки.

Игорь по возвращении из плена после Новгорода Северского и Чернигова едет в Киев, где должен выполнить свой обет Богоматери Пирогощей, данный им в плену у половцев. Об этом обете прямо не говорят ни летопись, ни «Слово», так как Игорь освободился из плена «неславным путем». Только по косвенным основаниям мы можем догадываться об этом обете (его покаяния, обычно дававшиеся в связи с обетами). Обет был выполнен в киевском храме, так как, по-видимому, ни в Чернигове, ни в Новгороде Северском не был развит специальный богородичный культ, связанный с защитой от врагов этих городов. Чернигов имел своим патрональным храмом храм Спаса. Спас был, по-видимому, патроном и вассального по отношению к Чернигову Новгорода Северского.

Игорь не обращался ни к Богородице Десятиной, ни к Богородице Софии (Нерушимой Стене), так как он не был киевским князем и не мог по феодальному этикету того времени, возвращаясь из плена, ехать в патрональные храмы Киева, в которые обычно отправлялись киевские князья воздать благодарность за победу и освобождение пленных.

Культ Богоматери в Киеве и во Владимире как защитницы Русской земли восходит к Влахернскому монастырю, где хранилась риза Богоматери и где произошло «чудо», давшее основание русскому празднику Покрова. Храм Ризы Богоматери был надвратным, «защитным» храмом во Владимире. В Киеве имелся

287

монастырь Влахернский и с ним же был связан Киево-Печерский монастырь.

Как предполагают Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев, во Влахернском монастыре было две иконы Богоматери, двух разных типов. Предполагаю, что русские послы, отправлявшие в 1129 г. в заключение в Константинополь полоцких князей, на обратном пути из Константинополя в 1130 или 1131 г. привезли списки обеих влахернских икон: одну из них — сохранившуюся Богоматерь Владимирскую и другую — Одигитрии Башенной, изображавшей Богоматерь в окружении семибашенных стен Влахернского монастыря. Последняя икона и была Пирогощей.

288

СОН КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА В «СЛОВЕ»

Вещие сны не редкость в средневековых памятниках. В частности, о них рассказывается и в древнерусских и древнеславянских переводах Библии, «Деяний апостольских», «Александрии», «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Хроники Георгия Амартола», Проложных житиях и сказаниях, в «Девгениевом деянии» и др. Есть вещие сны и в чисто русских памятниках. Так, о вещем сне епископа Нифонта рассказывается в Ипатьевской летописи под 1156 г. Наиболее близкая параллель к сну

Святослава «Слова о полку Игореве» отыскивается в «Летописце Переяславля Суздальского» (сборник Московского главного архива иностранных дел, XV в. № 902—1468), изданном К. М. Оболенским в 1851 г. и больше не переиздававшимся. Обнаружил и сообщил эту параллель к сну Святослава А. И. Кирпичников в статье «К литературной истории русских летописных сказаний»¹. Однако А. И. Кирпичников ограничился только указанием на сходство обоих снов и неполно привел текст сна Мала. Последующие исследователи и комментаторы «Слова о полку Игореве» также ограничились общим указанием на

289

сходство обоих снов, не указывая на то, в чем это сходство состоит. Между тем, как это мы увидим, сон Мала может до известной степени помочь в толковании и прочтении одного неясного места в сне Святослава «Слова о полку Игореве».

Приведу параллельно оба рассказа.

Текст
«Слова о полку Игореве»
по первому изданию

Текст
«Летописца Переяславля
Суздальского»

Святъславъ мутенъ сонъ видѣ: въ Киевѣ на горахъ си
ночь съ вечера одѣвахте мя, рече, чръною
паполомою, на кровати тисовѣ. Чръпахуть ми синее
вино съ трудомъ смѣшено; сыпахуть ми тѣщими тулы
поганыхъ тльковинъ великий женчюгъ на лоно, и
нѣгують мя; уже дьски безъ кнѣса в моемъ теремѣ
златовръсѣмъ. Всю ночь съ вечера босуви врани
възгряху, у Плънська на болони бѣша дѣбрь
Кисаню, и не сошлю къ синему морю.

Князю же веселіе творящу къ браку и сонъ часто
зряше Маль князь: се бо пришед Олга дааше ему
прѣты многоцѣнны червены вси жемчюгомъ
иссажены и одѣяла чръны съ зелеными узору и
лоди, в нихъ же несенымъ быти, смолны.

Для того чтобы сравнить оба сна, надо принять во внимание обстоятельства, которые им сопутствовали. Попробуем сравнить оба сна в свете этих обстоятельств. Сходство обоих снов состоит в следующем:

1. Оба сна предвещают несчастья с людьми, зависевшими от князя. В сне Святослава — это войско Игоря, потерпевшее поражение на Каяле. Поражение уже состоялось, но известие о нем еще не дошло до Святослава: он узнает о нем затем от своих бояр. В сне князя Мала — это гибель его послов-сватов, которых Ольга сбросила вместе с их лодьями в яму. Сон Мала рассказывается в «Летописце Переяславля Суздальского» уже после того, как послы Мала погибли в своих лодьях, но раньше того, как он об этом узнает. Следовательно, оба вещих сна сообщают о том, что уже случилось, но о чем еще не могли знать те, кому эти сны снятся.

2. И Святослав, и Мал видят себя одариваемыми подарками. К этим подаркам имеют отношение те, кто явился причиной несчастий. В сне Мала дорогие одежды и черные одеяла дарит ему Ольга, которая приказала убить послов. В сне Святослава кто-то одевает его черною паполомою и угощает синим вином. На него сыпят великий жемчуг из колчанов «поганых толковин». «Поганые

290

толковины» — это союзные Игорю Святославичу ковуи, которые первые побежали в битве с половцами и, останавливая которых, Игорь попал в плен к половцам. Бегством этих ковуев объясняет составитель рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря поражение последнего.

3. Подарки обоим князьям драгоценны. Они сходны: черная паполома Святославу, черные одеяла Малу. В обоих подарках присутствует жемчуг¹.

Есть и различия. В частности, в сне Мала Ольга дарит ему и «лодья», «в нихъ же несеннымъ быти, смолны». Однако это различие отпадает, если мы примем чтение, предложенное еще И. Снегиревым² и В. Макушевым³ и развитое В. Н. Перетцем: «у Пльсньска на болони бѣша дебръски сани и несоша е къ синему морю»⁴. Возможно, вместо «несоша е» следует читать «несоша мя», так как весь рассказ ведется в первом лице самим Святославом.

Лодья и сани — почетное средство передвижения и вместе с тем средство перевозки покойников. Первая мечь Ольги послам-сватам Мала состояла в том, что их понесли в лодьях и сбросили в яму. Послы думали, что им оказывается честь, а на самом деле им были устроены похороны. Святославу приснились сани и в них также понесли к месту несчастья русских — «къ синему морю».

Сон Мала — это древнее («Летописец Переяславля Суздальского» в этой своей части составлен в XIII—XIV вв.) этнографическое подтверждение сна Святослава. Разумеется, здесь не могло быть ни заимствования, ни влияния одного сна на другой. Сходство — в одинаковости, общности верований и представлений.

Нигде, кроме «Летописца Переяславля Суздальского», упоминание о сне Мала больше не встречается. Составитель «Летописца» вставил в свой труд и некоторые другие фольклорные материалы. Так, например, значительному распространению подвергся в «Летописце

291

Переяславля Суздальского» рассказ о юноше кожемяке, победившем печенежского богатыря на месте будущего Переяславля Южного. Интерес «Летописца Переяславля Суздальского» к событиям Переяславля Южного понятен, но почему и на основании каких материалов (по-видимому, все же фольклорных) вставил составитель «Летописца Переяславля Суздальского» свой рассказ о сне Мала, — неизвестно.

Вторая по близости к сну Святослава параллель может быть отмечена в «Легенде мантуанского епископа Гумпольда о святом Вячеславе (Вацлаве. — Д. Л.) Чешском» в славянском переводе с латинского, восходящем, возможно, как это указано его исследователем Н. К. Никольским, к XI в.¹ Параллель эта не упоминалась в литературе, между тем она интересна, свидетельствуя об устойчивости верований в приметы в сновидениях.

Приведу текст сновидения, которое видел князь Вячеслав, в славянском переводе (последний полнее, чем дошедший латинский оригинал). Составитель жития пишет:

«Не таити подобает и видение его пророчество, еже о Павле презвитере и о дому его, еже сам, възбнув, преже тако поведа, к всем глаголя.

На одре лежащу мне и почивающу милаа моа дружино и иже от отрок моих слуги, посреди нощи страшно видение приат мя, яко Павла попа дворови вся основа от выше до долу и от всех человеческих жилищъ видех отинуд опустевшь, им же видением тужа прометахся и внутренею скорбию печали за благоверныя простирахся. Но обаче видение се ко всеведущему творцу милостивому исправлю, во нь же верою и истине речи сего видения разрешу.

Дому по истине разрешение видения моего съпричастно моа бабы Людмилы и честныа жены знаменается смерть, и дом опустевшии Павлов клириком нашим и законником изгнание и земля и разграблению имению их являет, веде бо родителница моа яко родом тако и деянием по истине осквернением дел погана и недостойна именовати с другими съветники своими злыми, бога неведущими любящися, мысли о свекрови своеи пагубе. Си же словеса его светлее солнца сбыхася»².

292

Со сном Святослава сон Вячеслава может быть сближен по следующим общим им обоим приметам:

1. Оба сна рассказываются окружающим сразу по пробуждении.
2. Князя Вячеслава на одре окружает «милая дружина»; князя Святослава после пробуждения — бояре, называющие себя «дружиной».
3. Князь Вячеслав говорит, что он лежал «на одре», князь Святослав видит себя во сне лежащим на кровати.
4. Князь Вячеслав видит опустевшим двор Павла-пресвитера во всей своей «основе» — «от выше до долу» (то есть от самого верха до низа); князь Святослав видит свой терем без «кнѣса» (то есть самой его верхней перекладки на крыше).
5. Князя Вячеслава охватывает «туга» («им же видением тужа прометяхся»); по словам бояр, толкующих сон Святослава, «уже, княже, туга ум полонила».
6. Оба сна имеют в произведениях свои толкования. Сон князя Вячеслава толкует сам князь Вячеслав; сон князя Святослава — его бояре.
7. Сон князя Вячеслава предрекает смерть Людмилы и изгнание из всей страны церковнослужителей и «законников» их врагами — язычниками. Сон Святослава в толковании бояр означает поражение дружины Игоря от «поганых» и несчастье для всей Русской земли.
8. Сон Святослава касается только что случившегося или только еще происходящего; сон Вячеслава сбывается с полной точностью: «светлее солнца сбыхася».

Разумеется, не следует видеть в приведенной параллели между сном Святослава и сном Вячеслава заимствования из одного произведения в другое: перед нами близость, обусловленная общностью верований и отчасти литературной манеры, ибо чисто литературная функция предчувствий и пророчеств в литературных произведениях всегда и во все времена одна: усиливать драматическое напряжение повествования.

293

ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» К ПЕЧАТИ В КОНЦЕ XVIII В.

Как известно, рукопись «Слова о полку Игореве» погибла вместе со всем собранием рукописей ее владельца, А. И. Мусина-Пушкина, вместе с другими его ценнейшими рукописями в пожаре Москвы 1812 г. В том пожаре погибли и другие ценнейшие библиотеки и рукописные собрания. Их можно насчитать несколько десятков. Текст рукописи был доступен всем ею интересовавшимся около двух десятков лет. Но отразился этот текст в основном, если не считать выписок, сделанных для себя Н. М. Карамзиным и А. Ф. Малиновским, только в копии, сделанной для Екатерины II, и в первом издании «Слова» 1800 г.

Несмотря на наличие отдельных работ, посвященных специально первому изданию «Слова о полку Игореве» и так называемой Екатерининской копии, оба эти вида воспроизведения утраченной рукописи «Слова» современными приемами текстологии изучены не были.

Работы П. Пекарского, П. В. Владимирова, И. И. Козловского, П. К. Симони о палеографических особенностях погибшей рукописи «Слова», о Екатерининской копии и первом издании исходили из предпосылки, что первые публикаторы «Слова» стремились передать его

294

текст, но не умели этого сделать, не могли прочесть правильно рукопись и только поэтому допускали в своей работе отдельные, довольно многочисленные, ошибки, одни из

которых больше, другие меньше искажали памятник. К изучению этих отдельных ошибок в Екатерининской копии и в первом издании и к конъектурным поправкам на этой основе отдельных мест сводилось в основном текстологическое рассмотрение Екатерининской копии и первого издания. На этом пути были достигнуты несомненные успехи. Многие ошибки были не только выяснены, но удалось правильно и бесспорно восстановить некоторые первоначальные чтения в рукописи. Мало того, отдельные ошибки были объяснены особенностями графики погибшей рукописи (бесспорно удачны объяснения таких неправильных прочтений в Екатерининской копии, как «Зояни», «ни оочима съглядати» и т. д.). На основании этих ошибок, точно объясняемых палеографическими особенностями погибшей рукописи «Слова», оказалось возможным выяснить некоторые ее палеографические приметы и по ним приблизительно определить ее время и почерк.

Однако при всех этих отдельных достижениях изучение Екатерининской копии и первого издания имело определенные изъяны. Прежде всего отметим, что не были изучены *приемы передачи текста* в Екатерининской копии и первом издании. Все расхождения между Екатерининской копией и первым изданием «Слова» (1800 г.) объяснялись неряшливостью издателей, считались результатом простых ошибок¹. Не было также попытки основательно рассмотреть вопрос об отношении Екатерининской копии к погибшей рукописи: списывал ли писец непосредственно с рукописи, или текст был ему заранее кем-то подготовлен. Наконец, не было сделано попытки вскрыть отношение Екатерининской копии к первому изданию. Одним словом, текстологические взаимоотношения первого издания, Екатерининской копии и погибшей рукописи остаются совершенно не изученными. Неизученным остается и вопрос о том, с каких текстов делались первые переводы «Слова», а также текстологические связи этих переводов друг с другом.

Предлагаемая вниманию читателей работа представляет собой попытку текстологического исследования

295

всех вышеперечисленных вопросов с целью установления генеалогического взаимоотношения дошедших до нас «списков» «Слова» с погибшей рукописью.

* * *

Установление приемов передачи текста памятника его издателями не представляет затруднений, когда рукопись цела и издание может быть с ней сверено. В тех же случаях, когда оригинал издания погиб, сложность такой задачи возрастает, но частичное решение ее все же возможно. Некоторые вопросы решаются безусловно, а другие — гипотетически, по аналогии, на основании изучения уровня текстологической техники того времени или приемов публикации, примененных теми же издателями в отношении других памятников, рукописи которых сохранились.

В самом деле, не имея самой рукописи, но зная общие языковые, орфографические и графические нормы древнейших рукописей, можно все же решить, что именно в издании оказалось опущено, дополнено или изменено. В отношении «Слова о полку Игореве» не представляет, например, сомнений, что в рукописи были йотированные гласные, юс малый и некоторые другие буквы, в издании опущенные. Не трудно догадаться также, что пунктуация и прописные буквы расставлены издателями, исчезли титла, выносные буквы внесены в текст и т. д. Все это совершенно ясно каждому, имевшему дело с первым изданием, и не требует особого, углубленного рассмотрения, хотя надо сказать, что общего свода таких «правил публикации» издания 1800 г. до сих пор ни одним исследователем дано не было.

Кроме того, можно определить некоторые публикаторские приемы издателей «Слова» на основании других выполненных ими же изданий. Эта вторая возможность, несмотря на всю очевидность, также до сих пор не была использована¹.

В распоряжении исследователей имеется мусин-пушкинское издание «Поучения» Владимира Мономаха. Из

296

всех изданий А. И. Мусина-Пушкина и двух его помощников по публикации «Слова» только это издание, вышедшее в 1793 г.¹, может служить для выяснения приемов передачи текста «Слова». «Русская Правда», изданная А. И. Мусиным-Пушкиным с участием Болтина в 1792 г.², представляет собой компиляцию XVIII в. из разных списков и поэтому не может быть сверена с рукописями. Все остальные издания А. И. Мусина-Пушкина, Н. Н. Бантыша-Каменского и А. Ф. Малиновского посвящены сравнительно поздним памятникам, и итоги сличения их с рукописями не могут быть показательными.

Не может дать особых результатов также изучение издательских приемов конца XVIII в. Эти приемы были крайне неустойчивы, разнообразны и произвольны. Изучение их в будущем потребует много труда, но вряд ли представит интерес для исследования публикаторских приемов первых издателей «Слова». Таким образом, единственным изданием, с которым в первую очередь и главным образом должен считаться исследователь первого издания «Слова», должно быть бесспорно признано мусин-пушкинское издание «Поучения».

«Поучение» Мусиным-Пушкиным издавалось непосредственно в те годы, когда была обнаружена рукопись «Слова», может быть, несколько раньше³. Вышедшее спустя семь лет после «Поучения» первое издание «Слова» выполнено в основном в том же типе (тот же формат, та же система примечаний внизу страницы под чертой и та же параллельная подача текста и перевода в две колонки, но разными шрифтами)⁴. Внешнее отличие первого издания «Слова» от издания «Поучения»

297

состоит в том, что текст «Слова» напечатан гражданским шрифтом (курсивом), тогда как текст «Поучения» напечатан шрифтом церковнославянским (на причинах, по которым первые издатели «Слова» решили отказаться от церковнославянского шрифта, и на том, какие существенные изменения были с этим связаны, я остановлюсь в дальнейшем).

Правда, в числе издателей «Поучения» не было еще ни Н. Н. Бантыша-Каменского, ни А. Ф. Малиновского, но именно это обстоятельство позволит нам в дальнейшем до известной степени установить долю ученого участия в первом издании «Слова» этих двух его редакторов.

Сопоставляя мусин-пушкинское издание «Поучения» с рукописным текстом «Поучения» в Лаврентьевской летописи, нетрудно убедиться в том, что издатели довольно решительно приравнивали текст «Поучения» к орфографической системе церковнославянской печати второй половины XVIII в. Решительность этого приравнивания не была, впрочем, одинаково последовательной во всех случаях. Издатели «Поучения» стремились преимущественно к тому, чтобы внешний вид текста не отличался от внешнего вида обычного церковнославянского набора XVIII в. Все диакритические знаки церковнославянского шрифта, как известно, весьма обильные в XVIII и XIX вв., широко применены в издании и никак не отражают той скромной системы этих знаков, которая имеется в рукописи Лаврентьевской летописи. Текст «Поучения», само собой разумеется, разбит на слова, предлоги отделены от последующего слова, в конце слов, оканчивающихся на согласный, последовательно расставлены «ъ», прописные буквы и знаки препинания, исправлено согласно орфографическим нормам XVIII в. употребление «ѣ» («онемѣють» → «онѣмеють», с. 13; «тобе» → «тобѣ», с. 13, и т. п.). Юсы малые поставлены так, как это было принято в

церковнославянской печати XVIII в. («сво□іа» → «свое□», с. 2; «мо□іа» → «мое□», с. 3; «любаіа» → «люба□», с. 4, и т. д.). По орфографическим нормам церковнославянской печати XVIII в. выправлено употребление «□» («іако» → «іак□», с. 4, 10 и др.; «□го» → «□г□», с. 4, 6, 11 и др.; «тако» → «так□», с. 3 и т. д.), «s» («зло» → «сло», с. 10, 53, 55 и др.; «злых» → «слыхъ», с. 58), «□» («псалтырю» → «□алтырю», с. 3), «і» («приимайте» → «приімайте», с. 4; «мира» → «міра», с. 9 и т. д.). Исправлено употребление выносных букв, сокращений,

298

титл (постоянны «бъ» → «бгъ», «бе» → «бже», «г^с□а» → «гд^с□а», «гн^с□е» → «Гдн^с□е», «евангльскому» → «ев^льскому», с. 9 и т. д.

«Ю» после «ч», «ш» и «щ» заменено, согласно правописанию XVIII в., на «у» («чюднна» → «чудна», с. 12; «чюде^с□» → «чудесь», с. 12 и т. д.); «ы» после «к» заменено на «и» (всюду «паky» → «паки»; «великы^х» → «великихъ», с. 12). В некоторых случаях в середину слова вставлен «ь» — опять-таки в тех случаях, где это требовалось орфографией и произносительными нормами XVIII в. («печална» → «печальна», с. 4; «меншими» → «меньшими», с. 7; «хвално» → «хвально», с. 12; «силныіа» → «силны□», с. 12; «толко» → «только», с. 37; «дѣтми» → «дѣтьми», с. 42; «половечскы^х» → «Половечскихъ», с. 43 и т. д.). Отдельные русские формы церковнославянизированы («луче» → «лучше», с. 5; «разноличнии» → «разноличніи», с. 12; «присужено» → «присуждено», с. 31 и т. д.).

Таким образом, мусин-пушкинское издание «Поучения» не может быть охарактеризовано только как издание, «изобилующее разнообразными ошибками»¹, неправильными прочтениями и т. п. Во многих случаях то, что исследователи принимали за ошибки, было определенной системой передачи текста. Оправдывалась эта система тем, что А. И. Мусин-Пушкин считал «Поучение» написанным на «славянском наречии», «от переписчиков инде испорченном»². Можно не сомневаться, что «порчу» текста А. И. Мусин-Пушкин видел в отступлениях от современной ему церковнославянской орфографии и в нарушениях привычного корректорского единообразия.

Остановимся более подробно на некоторых приемах передачи текста в «Поучении», проливающих свет на приемы передачи текста в Екатерининской копии и в издании 1800 г.

Существенное значение для установления приемов передачи текста «Слова о полку Игореве» в Екатерининской копии и в первом издании «Слова» имеют принципы расстановки «і» в мусин-пушкинском издании «Поучения». В самой рукописи «Поучения» «і» встречается только шесть раз: «крщеніи», «приімите», «□діну»,

299

«ні на биричи», «ї в ловчи^х», «і нынѣ». Между тем в издании «Поучения» оно всюду расставлено по правилам орфографии конца XVIII в.: «крщеніи» (с. 1; оставлено, как и в рукописи), «пріимите» (с. 14), «□дину» (с. 15), «ни на биричи» (с. 46), «и въ ловчихъ» (с. 47), «и нынѣ» (с. 61), а также: «дѣтій» (вм. «дѣтий»), и «бжій» (вм. «бии»), «пріимайте»

(вм. «приимайте»), «лукавнующїи» (вм. «лукавнующии») и многие другие. Следовательно, только в одном случае в издании «Поучения» «і» совпадает с «i» в рукописи!

Ту же выдержанность расстановки «і» по правилам орфографии XVIII в. находим мы и в первом издании «Слова»: «братїе», «повѣстїи», «замышленїю», «вѣщїи», «мыслїю» и т. д. Данные мусин-пушкинского издания «Духовной» Владимира Мономаха не позволяют сомневаться в том, что расстановка «і» в Екатерининской копии и в первом издании «Слова о полку Игореве» отнюдь не отражает графику самой рукописи. Несомненно, что «і» расставлялось в первом издании в строгом соответствии с правилами орфографии конца XVIII в.

Исключение может быть отмечено только в двух случаях: «усобицѣ» (с. 3) и «а Володимирѣ» (с. 28). Характерно, что в обоих этих случаях Екатерининская копия более последовательно проводит орфографию XVIII в. В ней читается «усобицѣ» и «а Володимирѣ». Надо думать, что изменения внесены в текст издания 1800 г. из рукописи (на примерах исправления текста 1800 г. по рукописи мы еще остановимся).

Таким образом, единственный случай, где мы можем полагать, что «і» издания точно соответствует «i» рукописи, — это слово «усобицѣ».

Отсюда ясна правота А. С. Орлова, отказавшегося в своем издании «Слова» от «і» первого издания и всюду заменившего его буквой «и». В своем издании «Слова» А. С. Орлов писал: «Новостью нашей графики является совершенное устранение буквы «і», поставленной первыми издателями в тексте «Слова» несомненно под влиянием орфографии конца XVIII в. Итак, все «і» заменены у нас посредством «и», что соответствует средневековой графике в преобладающем числе случаев»¹. Вслед за А. С. Орловым «і» заменяется на «и» и в тексте

300

«Слова», подготовленном к печати мною¹. Думаю, что данные первого издания «Поучения Владимира Мономаха» полностью подтверждают правильность такой замены.

Совершенно ясно, что конечный «ъ» расставлен в Екатерининской копии и в первом издании во всех случаях в конце слов, оканчивающихся на согласный, даже тогда, когда его не было в рукописи. В самом деле, не может представлять сомнения, что в рукописи «Слова» были выносные буквы. Как известно, выносные буквы очень часты в конце слов, но в выносах конечный «ъ» не пишется. В первом же издании «Слова» почти все слова, оканчивающиеся на согласный (за крайне немногими исключениями, о которых я скажу в дальнейшем), имеют конечный «ъ». Здесь тот же прием передачи текста, что и в мусин-пушкинском издании «Поучения». Обычна, в частности, постановка «ъ» после предлогов, оканчивающихся на согласный. Предлоги же, как правило, в древнерусских текстах пишутся слитно с последующим словом.

При разделении предлога и слова в мусин-пушкинском издании «Поучения» обычно после конечного согласного в предлоге ставится «ъ»: «въ сердци» (из «всрдци»), «съ нами» (из «снами») и т. д. То же самое видим мы и в первом издании «Слова»: «подъ облакы» (дважды), «предъ пълкы», «отъ стараго», «отъ него», «къ дружинѣ», «съ вами», «въ тропу», «чресъ поля», «чрезъ поля», «къ Дону», «въ Кыевѣ», «въ Новѣградѣ», «въ Путивлѣ», «подъ трубами», «подъ шеломы», «въ полѣ», «въ златѣ», «въ стазби» (об этом выражении ниже), «въ срожатѣ» (об этом выражении ниже), «съ зараня въ пяткѣ», «съ ними», «въ полѣ», «съ моря», «въ нихъ», «съ Дону», «съ моря», «отъ Дона и отъ моря и отъ всѣхъ странъ», «отъ тебе», «въ златѣ», «въ градѣ», «въ Черниговѣ», «съ тояже», «къ Киеву», «въ княжихъ», «въ ты рати, и въ ты пълкы», «съ зараня», «съ вечера», «въ полѣ», «подъ копыты», «предъ зорями», «къ полуднїю», «къ земли», «въ силахъ», «съ всѣхъ», «съ побѣдами», «къ морю», «въ пламянѣ», «отъ двора», «изъ луку», «отъ железныхъ», «въ

градѣ», «въ гридниціѣ», «изъ сѣдла», «въ сѣдло», «въ Кіевѣ», «съ вечера» (дважды), «съ трудомъ»,

301

«безъ кнѣса», «къ синему», «съ отня», «въ путины», «съ нимъ», «въ морѣ», «въ жестоцемъ», «въ буести», «съ черниговскими», «съ Могуты и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчаки, и съ Ревугы, и съ Ольберы», «съ засапожники», «въ прадѣдную», «въ мытехъ», «въ обиду», «подъ саблями», «подъ ранами», «въ злата», «чрезъ облаки», «съ отня», «въ буести», «въ буйствѣ», «подъ шеломы», «подъ тыи», «къ граду» (дважды), «подъ кликомъ», «подъ чрълеными», «изъ храбра», «чресъ злато», «изъ дѣдней», «отъ земли», «отъ нихъ», «въ плъночи», «изъ Бѣла-града», «съ Дудутокъ», «отъ тѣла», «въ ночь», «изъ Кыева», «въ Полотскѣ», «въ колоколы», «въ Кыевѣ», «въ друзѣ», «къ горамъ», «въ Каялѣ», «въ Путивлѣ», «подъ облакы», «къ мнѣ», «къ нему», «къ Путивлѣ», «въ полѣ», «изъ земли», «къ отню», «отъ великаго», «въ полуночи», «къ тростию», «съ него», «къ лугу», «подъ мглами», «подъ сѣнію», «къ земли», «съ Кончакомъ», «къ рѣцѣ», «къ гнѣзду» (дважды), «къ Кончакови», «безъ Игоря», «въ Руской», «къ Святѣй».

Сейчас я не останавливаюсь на некоторых незначительных разночтениях между Екатерининской копией и изданием 1800 г. Важно, что и в издании «Поучения», и в Екатерининской копии, и в издании 1800 г. принята одна и та же система расстановки «ъ» в конце слов после согласного, значительно нарушающая орфографические нормы XII—XVI вв.

В связи с изложенным встает вопрос, как было написано в рукописи слово «къмети». Как известно, Мусин-Пушкин не знал этого слова и разделил его на два «къ мети», переведя «в цель». Очень может быть, что конечный «ъ» поставлен был им при разделении этого слова на два, в рукописи же это слово вполне могло быть написано без «ъ»: «кмети». Предположение это полностью подтверждается мусин-пушкинским изданием «Поучения», где вместо «инѣхѣ кметии молоды^x» напечатано «и инѣхѣ къ мети и молодыхъ» (с. 44). Так именно это слово писалось в подавляющем числе случаев¹. Отсюда ясно, что при реконструкции непонятных «въ стазби» и «въ срожать» надо иметь в виду, что «ъ» также мог отсутствовать в рукописи.

Из всего приведенного материала о конечном «ъ» совершенно ясна ошибочность того, что пишет С. П. Обнорский

302

о «ъ» в конце предлогов в своем исследовании языка «Слова о полку Игореве»: «Выдержанною графической чертой памятника, вероятно, обаянной последнему его писцу, отдавшему дань позднему югославянскому влиянию, служит устойчивое употребление «ъ» в исходе предлогов. Таковы написания не только тех предлогов, которые исконно оканчивались на «ъ» (въ 46 случаев, къ 23 сл., отъ 12 сл., подъ 14 сл., предъ 3, 18, съ 28 сл., чресъ 6, 34 и чрезъ 7, 30, 45), но в подравнение к ним и предлогов, не имевших первоначально в исходе «ъ» (таковы безъ 23, 44, и изъ 21, 22, 34 bis, 35, 36, 39)»¹.

Вернемся к вопросу о некоторых, весьма немногочисленных в первом издании «Слова», исключениях из рассмотренного нами приема расстановки «ъ» после конечного согласного. Случаи эти следующие: «вмоемъ» (с. 23), «стугою» (с. 43) и «бес щитовъ» (с. 27). В первом и последнем случаях в Екатерининской копии предлоги написаны с «ъ» в конце и сами предлоги отделены от последующего слова. Во втором случае («стугою») слова написаны так же точно, как в Екатерининской копии (без «ъ» и слитно). Забегая несколько вперед, скажу, что издатели «Слова», несомненно, проверяли весь текст по рукописи, но в основе своей работы имели для проверки по рукописи текст, восходящий к

протографу Екатерининской копии. Одновременно надо принять во внимание, что издание 1800 г. имеет большое количество опечаток, не изученных и даже не учтенных в науке. Первые издатели были весьма малоопытными корректорами и в исправлении опечаток, и в проведении единожды принятой системы.

Установлению единообразия в издании 1800 г. мешало постоянное обращение к подлинной рукописи «Слова» и стремление как можно ближе придерживаться текста рукописи, входившее в постоянное противоречие со стремлением к корректорскому единообразию на основе орфографических приемов XVIII в.

Приведу некоторые примеры. В издании 1800 г. слова «съморя» дважды напечатаны слитно (с. 12), в Екатерининской копии они разделены. Такого написания не могло быть в рукописи. В рукописи, без сомнения, было «сморя». А. И. Мусин-Пушкин первоначально отделил предлог

303

от последующего слова и поставил после предлога «ъ». Такое написание в обоих случаях и дошло до нас в Екатерининской копии. При просмотре текста по рукописям первыми издателями, а может быть, и в результате ошибки наборщиков (во втором случае набор строки оказался очень тесным) оба слова слились. Имеются в первом издании и другие явные просмотры в разделении на слова. Так, например, напечатано: «и съ Шельбиры, и съ Топчаки, и съ Ревугы, и съ Ольберы» (с. 27). Совершенно ясно, что соединение союза «и» с предлогом «съ» в сочетании «и съ Ревугы» является не больше как грубым просмотром первых издателей.

Из сказанного становится ясным происхождение тех трех случаев, в которых после предлога с конечным согласным не был поставлен конечный «ъ». Предлог «в» (с. 23) не был отделен по недосмотру издателей, в отмену своему правилу, от последующего слова. Слова были написаны вместе в результате их очевидной проверки по рукописи, и, таким образом, восстановлено написание рукописи. Перед нами, несомненно, след воздействия самой рукописи, так как в Екатерининской копии, к протографу которой, как мы увидим в дальнейшем, восходит текст первого издания, эти слова написаны отдельно и с «ъ» после «в» — согласно приемам передачи текста А. И. Мусиным-Пушкиным. Не имеет конечного «ъ» предлог «бес» при последующем шипящем: «бес щитовъ» (с. 27). Как известно, в таких случаях, согласно фонетическому приему письма в Древней Руси, буква «с» вообще опускается. В рукописи «Поучения» Мономаха мы имеем два таких случая: «ищерьнигова» и «ищернигова». В своем издании «Поучения» А. И. Мусин-Пушкин восстанавливает «правильное» (согласно представлениям XVIII в.) написание этих слов: «из Чернигова» (с. 43) и «и съ Чернигова» (с. 44), но странным образом, вопреки своей системе, забывает поставить «ъ» в конце предлога «из». Очевидно, А. И. Мусин-Пушкин, дополнив предлог буквой «з» и восстановив первоначальное «Ч» в слове «Чернигова», не решился поставить «ъ» — иными словами, не довел до конца своей переделки текста.

Вообще в тех случаях, когда А. И. Мусин-Пушкин в своем издании «Поучения» восстанавливал в конце предлога согласную, он не ставил «ъ»: «без суперникъ» (с. 58; в рукописи «бесуперни^к»), «безсемени» (с. 60; в рукописи «бесемене»). Полную аналогию этим случаям

304

из «Поучения» мы и имеем и в «Слове» в примере с «бес щитовъ».

Совсем просто решается вопрос об отсутствии «ъ» в словах «стугою» (с. 43). Здесь еще в протограф Екатерининской копии «проскочило» написание подлинной рукописи. Текст издания 1800 г. генетически восходит к этому протографу Екатерининской копии (доказательства мы приведем ниже), но неоднократно проверялся по рукописи. Естественно, что эти проверки только подтверждали слитное написание «стугою» без «ъ», интересы же корректорского единообразия в данном случае ускользнули от внимания издателей (такие случаи, как мною уже отмечалось, неоднократно в издании 1800 г.).

Теперь обратимся к тем правилам передачи текста рукописи, где Екатерининская копия ближе к системе, принятой для передачи текста в «Поучении», чем издание 1800 г. Наблюдения в этой области окажутся для нас в дальнейшем особенно важными.

Выше уже указывалось, что в отношении правил расстановки «і» и «ѣ» в конце слов издание 1800 г. сравнительно с Екатерининской копией допускает отдельные (правда, очень редкие) исключения, приближающие, как можно предположить, издание 1800 г. к орфографии подлинной рукописи.

Еще яснее эта тенденция выступает в других правилах передачи текста, принятых в издании «Поучения» и в Екатерининской копии, но почти отмененных в издании 1800 г.

Крайне неустойчиво в издании «Поучения» «ѣ». Постоянно встречается «ѣ» в тех случаях, когда его нет в рукописи, и наоборот. По большей части такие перемены производились по орфографическим правилам конца XVIII в.; «сане^x» → «санѣхъ», «смѣренье» → «смеренье» (с. 9), «собе» → «собѣ» (с. 10), «тобе» → «тобѣ» (с. 13), «онемѣють» → «онѣмѣють» (с. 13), «кленитес□» → «кл□нитес□» (с. 17), «душѣ, своеѣ» → «душе своее» (с. 17), «сторожѣ» → «стороже» (с. 20), «идеже» → «идѣже» (с. 23), «боле же» → «болѣ же» (с. 23), «в□тич□» → «в□тиче» (с. 31), «на сутеиску» → «на Сутѣиску» (с. 32), «к бѣлѣ вежи» → «къ Беле вежи» (с. 37), «вежѣ вз□хомъ» → «Веже вз□хомъ» (с. 38), «половьчскіѣ» → «Половьчскіе» (с. 39), «своѣ» → «свое» (с. 43), «браѣѣ» → «братье» (с. 44), «дикиѣ» → «дикіе» (с. 45), «оубогыѣ вдовицѣ» → «оубогые вдовицѣ» (с. 47) и т. д.

305

В первом издании «Слова» сравнительно с Екатерининской копией довольно много случаев колебания в написании слов с «ѣ» и с «е». Вряд ли здесь дело только в том, что А. И. Мусин-Пушкин и его ученые помощники не разобрали написаний. По-видимому, путаница объясняется тем, что публикаторы колебались между орфографической системой XVIII в. и написаниями рукописи. При этом по большей части (хотя были и обратные случаи) Екатерининская копия следовала орфографическим правилам XVIII в., а издание 1800 г. частично восстанавливало старые формы рукописи. Так, например, звательный падеж в Екатерининской копии оканчивается на «е», в издании же 1800 г. — на «ѣ»: «землѣ» (с. 12; Ек. — «земле»), «Всеволодѣ» (с. 13, 46; Ек. — «Всеволоде»), «Осмомыслѣ» (с. 30; Ек. — «Осмомысле»), «вѣтрѣ» (с. 38; Ек. — «ветре»). Сравнительно с Екатерининской копией издание 1800 г. восстанавливает древнее написание родительного падежа множественного числа: «на стадо лебедѣй» (с. 3 и 4; Ек. — «на стадо лебедей», согласно орфографии XVIII в.)¹.

Необходимо при этом отметить, что в конце XVIII в. древнее написание окончания родительного падежа множественного числа на «ѣй» не было известно. Поэтому следование в данном случае издания 1800 г. за рукописью несомненно.

Малопонятно систематическое разноречие между Екатерининской копией и изданием 1800 г. в словах «стрелять» и «стрела». В Екатерининской копии эти слова постоянно пишутся через «е», в издании же 1800 г. — всюду через «ѣ»: «стрѣлами» (с. 12, 13, 33, 43; Ек. — «стрелами»), «стрѣлы» (с. 15, 17; Ек. — «стрелы»), «стрѣляти» (с. 29; Ек. — «стреляти»), «стрѣляеши» (с. 30; Ек. — «стреляеши»), «Стрѣляй» (с. 30; Ек. — «Стреляй») И в рукописях XII—XVII вв., и в орфографии XVIII в. в корне этих слов обычно пишется «ѣ» (исключение могло быть только в новгородских рукописях). Окончательно решить вопрос о том, должно ли было быть в рукописи «Слова» в этих

случаях «ѣ» или «е», смогут только лингвисты. Не подлежит, однако, сомнению, что либо в Екатерининском списке, либо в издании 1800 г. (а может быть, в тексте обоих) написания этих слов подверглись сплошной корректорской унификации.

306

К сожалению, рукопись «Поучения» не знает болгаризированной орфографии в сочетаниях плавных с «ѣ» и «ь», и поэтому нам трудно с уверенностью судить о том, как поступили бы издатели «Поучения» в случаях сочетаний «ръ», «рь», «ль» и «ль». Однако все же на с. 41 мусин-пушкинского издания «Поучения» имеется, правда, один, но весьма характерный пример: там напечатано «полкы», тогда как в рукописи стоит «плъкы». Тот же прием замены болгаризированных сочетаний «ръ», «рь», «ль» и «ль» русскими «ор», «ер», «ол» и «ел» мы постоянно встречаем в Екатерининской копии. В издании же 1800 г. это болгаризированное сочетание восстанавливается, и, нет сомнений, по подлинной рукописи: «наплънвися» (с. 5; Ек. — «наполнвися»), «плъкы» (с. 5; Ек. — «полкы»), «бръзья» (с. 5; Ек. — «борзья»), «бръзый» (с. 7; Ек. — «бързый»), «вълци» (с. 8; Ек. — «вълци»), «чръленя» (с. 10; Ек. — «чрленя»), «мльнїи» (с. 12; Ек. — «молнїи»), «плъкы» (с. 12, 13, 27; Ек. — «полки»), «Чрънигова» (с. 13; Ек. — «Чернигова»), «плъци» (с. 14; Ек. — «полци»), «Святоплъкъ» (с. 16; Ек. — «Святополкъ»), «плъкы» (с. 17; Ек. — «полкы»), «чръна» (с. 17; Ек. — «черна»), «плъкы» (с. 18; Ек. — «полкы»), «мльвити» (с. 19; Ек. — «молвити»), «плъку» (с. 20; Ек. — «полку»), «плъковъ» (с. 22; Ек. — «полковъ»), «чръною» (с. 23; Ек. — «черною»), «плъки» (с. 30; Ек. — «полки»), «плъку» (с. 32, 39; Ек. — «полку»), «плъночи» (с. 35; Ек. — «полночи»), «вълкомъ» (с. 35; Ек. — «волкомъ»), «вълкомъ» (с. 36 bis; Ек. bis — «волокомъ»), «пръвое» (с. 37; Ек. — «первое»), «пръвую» (с. 37; Ек. — «первую»), «пръвыхъ» (с. 37; Ек. — «первыхъ»), «слънце» (с. 39; Ек. — «Солнце»), «бръзь» (с. 41; Ек. — «борзь»), «вълкомъ» (с. 41 bis; Ек. bis — «волкомъ»), «бръзая» (с. 41; Ек. — «борзая»); «вълнахъ» (с. 42; Ек. — «волнахъ»), «помлъкоша» (с. 43; Ек. — помолкоша), «Мльвить» (с. 43; Ек. — «Молвить»), «плъки» (с. 46; Ек. — «полки»). Только в одном случае нужно думать, что Екатерининская копия дает лучшее чтение сравнительно с первым изданием: «мркнетъ» (с. 10; Ек. — «мръкнетъ»). Здесь, очевидно, сказалась двойная невнимательность: составитель текста Екатерининской копии не провел своей системы в сочетании, а составители текста первого издания «Слова» имели уже перед собой «исправленный», согласно орфографии XVIII в., список с «меркнетъ» вместо «мръкнетъ», который и выправили по подлинной рукописи, но не до конца (ограничившись тем, что выбросили «е»).

307

Как известно, отдельные страницы первого издания «Слова» перепечатывались, причем в текст вкрались изменения: вместо «плъку» — «плъку», вместо «Владимир» — «Владиміръ» и др. Можно думать, что второе из этих изменений внесено не по рукописи, а является обычным для издателей «приноровлением» орфографии подлинника к орфографии XVIII в. Во всяком случае, в древних рукописях написание «Владиміръ» с «і» нам не встречалось. Что же касается первого случая, то изменение здесь введено, как нам кажется, для единообразия, к которому, как это ясно и из текста издания «Поучения», первые издатели были весьма чувствительны. Введя болгаризированные формы «ръ», «ль» по рукописи, издатели вполне могли начать распространять эту особенность, принятую за древнюю «систему» рукописи «Слова», и на те случаи, где этих болгаризированных форм не было. Сомнительно, например, чтобы в рукописи действительно было написание «плъночь» (см. первое издание, с. 35), так как в «пол» «о» было исконным. Сомнительны и такие написания, как «Влъзъ» (с. 9), «Чрънигова» (с. 13) и некоторые другие.

Вызывает размышление следующее наблюдение С. П. Обнорского: «Можно обратить внимание на то, что этот доминирующий в памятнике способ передачи сочетаний «о, е + р, л» по типу болгарской орфографии был освоен писцом «Слова» не сразу: по началу

писец держался приблизительно старорусского типа написаний этих сочетаний, т. е. пользовался употреблением «ъ» перед плавным... а далее уже у него вырабатывается устойчивый прием написаний соответственных слов на болгарский лад, с «ъ» после плавного...»¹. Заметим от себя, что переход от одной системы к другой (в данном случае от старорусской к болгаризированной) мало вероятен для писца (писец обычно придерживался каких-то своих постоянных приемов передачи текста, либо следуя за текстом подлинника, либо в некоторой степени его переиначивая, но не «перестраиваясь» на ходу); для издателя же текста, стремящегося к известному единообразию, попытка выдержать текст в одной орфографической системе гораздо вероятнее: издатель, переписывая текст для публикации, мог не сразу заметить, что в нем преобладают болгаризированные формы, и перешел к ним

308

постепенно (ближе к концу). Перед нами — типичная ошибка малоопытного *публикатора*. Эта ошибка станет нам вполне понятной, если мы вспомним, что большинство болгаризированных форм было устранено в первоначальной копии с рукописи (как об этом свидетельствуют Екатерининская копия и издание 1793 г. «Поучения») и восстановлено по рукописи в издании 1800 г. Нам кажется естественным, что, восстанавливая текст по рукописи и не отказавшись от идеи «единообразия» орфографии, издатели увлеклись и переделали всю систему. Исправления по рукописи незаметно для самих издателей перешли в установление новой «системы».

При перепечатке самого начала «Слова» слово «пълку» в его заголовке было также переделано на «пльку» по этой новой «системе».

Следовательно, и тут перед нами еще одно соображение в пользу того, что у издателей 1800 г. была рукопись, которую они считали авторитетной, но передать все особенности которой они не могли главным образом потому, что стремились к корректорскому единообразию, с одной стороны, и к «правильности правописания» — с другой. В меньшей мере сказывалось неумение читать древние тексты.

В мусин-пушкинском издании «Поучения» «ю» после шипящих «ч» и «щ» заменяется, согласно орфографическим правилам XVIII в., на «у»: «душо» → «душу» (с. 6, 8), «възношюс□» → «взношус□» (с. 9), «чюдна» → «чудна» (с. 12 bis), «чюдесь» → «чудесь» (с. 12 bis), «чюду» → «чуду» (с. 12), «чю^дса» → «чудеса» (с. 13), «чюжимъ» → «чужимъ» (с. 22), «въсход□щю» → «всход□щу» (с. 29). К сожалению, мы не можем установить, как было бы в случаях с «я» после «ч» и «щ», так как в рукописи «Поучения» в этих случаях всегда «а», которое, естественно, в издании 1793 г. и сохраняется: «привечавше» (с. 24), «часто» (с. 26), «щадя» (с. 46) и др. В Екатерининской копии в основном «я» после «ч» и «щ» заменяется на «а», но в первом издании первоначальное «я» систематически восстанавливается: «начяти» (с. 1; Ек. — «начати»), «поскочяше» (с. 13; Ек. — «поскочаше»), «Святъславличя» (с. 15; Ек. — «Святъславлича»), «давечя» (с. 18; Ек. — «давеча»), «начяша» (с. 19; Ек. — «начаша»), «сыновчя» (с. 26; Ек. — «сыновча»), «Брячяслава» (с. 34; Ек. — «Брячаслава»), «начясте» (с. 35; Ек. — «начасте»). Имеется только один обратный случай: «Полочаномъ» (с. 33; Ек. — «Полочяномъ»).

309

Следовательно, и здесь перед нами несомненно свидетельство того, что текст «Слова» для издания 1800 г. выверялся по подлинной рукописи и приведенная выше особенность орфографии XVIII в., проникшая в первоначально подготовленный текст «Слова» (сохранившийся в Екатерининской копии), затем была отменена.

Отчасти в пользу той же выверки текста «Слова» по рукописи для издания 1800 г. свидетельствует еще и тот факт, что в издании 1800 г., сравнительно с Екатерининской

копией, все цифровые обозначения чисел заменены буквенными, как в рукописи («10 соколовъ» bis; «въ 3 день» вместо «10 соколовъ» bis, «въ 3 день»).

Необходимо отметить, что замена «ь» на «ъ» и обратно, согласно орфографическим нормам XVIII в., проведена в мусин-пушкинском издании «Поучения» недостаточно последовательно. Так, например, в нескольких случаях «ъ» в третьем лице единственного числа оставлено без изменений: «согрѣшитъ» (с. 15), «избываетъ» (с. 15), «оумѣтъ» (с. 28); оставлено в одном случае «потомъ» (с. 37) при изменении «потомъ» в «потомъ» в двух соседних случаях и т. д.

Такою же непоследовательностью в случаях с окончаниями на «ь» и «ъ» отличалась, по-видимому, и работа первых издателей «Слова» над его текстом.

Так, например, в первом издании «Слова» очень часто конечное «ъ» Екатерининской копии, соответствующее орфографическим нормам XVIII в., заменяется на «ь» — очевидно, в соответствии с написаниями рукописи: «былинамъ» (с. 2; Ек. — «былинамъ»), «помняшетъ» (с. 3; Ек. — «помняшетъ»), «соколовъ» (с. 3, 4; Ек. — «соколовъ»), «умь» (с. 5, 6; Ек. — «умъ»), «трубятъ» (с. 7; Ек. — «трубятъ»), «имь» (с. 8; Ек. — «имъ»), «скачють» (с. 8; Ек. — «скачють»), «пасеть» (с. 9; Ек.: — «пасеть»), «текутъ» (с. 12; Ек. — «текутъ»), «человѣкомъ» (с. 17; Ек. — «человѣкомъ»), «Святъславъ» (с. 23; Ек. — «Святъславъ»), «зоветь» (с. 32; Ек. — «зоветь»).

Однако гораздо более часты обратные случаи: «въсрожать» (с. 9; Ек. — «въсрожать»), «яругамъ» (с. 9; Ек. — «яругамъ»), «хотятъ» (с. 12; Ек. — «хотятъ»), «прикрывають» (с. 12; Ек. — «прикрывають»), «летятъ» (с. 17; Ек. — «летятъ»), «заворочаетъ» (с. 18; Ек. — «заворочаетъ»), «синѣмъ» (с. 19; Ек. — «синемъ»), «Княземъ» (с. 19; Ек. — «Княземъ»), «за нимъ» (с. 20; Ек. — «за нимъ»), «Черниговъ» (с. 20; Ек. — «Черниговъ»), «отець» (с. 21; Ек. — «отець»), «нѣгуютъ» (с. 23; Ек. — «нѣгуютъ»), «поють»

310

(с. 25; Ек. — «поють»), «побѣждають» (с. 27; Ек. — «побѣждають»), «подѣлимъ» (с. 27; Ек. — «подѣлимъ»), «бываетъ» (с. 27; Ек. — «бываетъ»), «птиць» (с. 27; Ек. — «птиць»), «възбываетъ» (с. 27; Ек. — «възбываетъ»), «дасть» (с. 27; Ек. — «дасть»), «рыкають» (с. 29; Ек. — «рыкають»), «текутъ» (с. 30; Ек. — «текутъ»), «умь» (с. 31; Ек. — «умъ»), «бологомъ» (с. 32; Ек. — «бологомъ»), «кличеть» (с. 32; Ек. — «кличеть»), «течетъ» (с. 33; Ек. — «течетъ»), «болотомъ» (с. 33; Ек. — «болотомъ»), «Васильковъ» (с. 33; Ек. — «Васильковъ»), «стелють» (с. 36; Ек. — «стелють»), «животь кладуть» (с. 36; Ек. — «животь кладуть»), «сыновъ» (с. 36; Ек. — «сыновъ»), «пашуть» (с. 37; Ек. — «пашуть»), «слышитъ» (с. 37; Ек. — «слышитъ»), «плачетъ» (с. 38, 39; Ек. — «плачетъ»), «всѣмъ» (с. 39; Ек. — «всѣмъ»), «идуть» (с. 39; Ек. — «идуть»), «спить» (с. 40; Ек. — «спить»), «бдитъ» (с. 40; Ек. — «бдитъ»), «мѣритъ» (с. 40; Ек. — «мѣритъ»), «Донецъ» (с. 41; Ек. — «Донецъ»), «летить» (с. 43; Ек. — «летить»), «Княземъ» (с. 46; Ек. — «Княземъ»).

С. П. Обнорский в своем исследовании языка «Слова» объясняет эти колебания между Екатерининской копией и изданием 1800 г. недостаточно четким написанием «ъ» и «ь», позволявшим их смешивать¹. Палеографически такое объяснение вполне вероятно, однако несомненно и другое: сам А. И. Мусин-Пушкин и его ученые помощники явно колебались в данном случае между написаниями рукописи и интересами проведения орфографического единообразия. Эти колебания были, возможно, поддержаны тем, что «ъ» и «ь» в подлинной рукописи действительно недостаточно четко различались.

Колебания между орфографической системой XVIII в. и чтениями подлинной рукописи весьма характерны для издания 1800 г., хотя в целом мы должны признать, что первое издание гораздо ближе следует за рукописью, чем Екатерининская копия. Тем не менее есть и такие случаи, когда Екатерининская копия вернее отражает оригинал, чем издание 1800 г., подчинившее в том или ином частном случае свое правописание

орфографии XVIII в. Приведем примеры: в издании 1800 г. «веселія» (с. 26), в Екатерининской копии «веселіа», что точнее отражает югославянскую графику оригинала «Слова»; затем: «Готскія» (с. 25; Ек. — «Готьскыя»), «Святславъ» (с. 26;

311

Ек. — «Святъславъ»), «Святславлича» (с. 30; Ек. — «Святъславлича»), «по Рси» (с. 32; Ек. — «по Роси»), «Русскую» (с. 33; Ек. — «Рускую»), «Ростиславя» (с. 42; Ек. — «Ростиславля»), «чрезъ» (с. 45; Ек. — «чресь») и многие другие. Лучшие чтения в Екатерининской копии объясняются, во-первых, тем, что издатели «Слова» постоянно колебались при написании того или иного слова между «системой» (от попытки провести которую они целиком не отказались, а только несколько «умерили» ее сравнительно с Екатерининским списком) и написаниями рукописи. Во-вторых, они, по-видимому, объясняются и еще одним обстоятельством. Правя текст «Слова», А. И. Мусин-Пушкин постоянно заказывал своим писцам копии, которые и рассылал для консультации, комментирования и перевода различным ученым. Поправки вносились, по-видимому, в эти писарские копии. Эти-то писарские копии и плодили различные ошибки и упрощения текста (следствие невольного подведения текста под орфографические нормы XVIII в.).

В дальнейшем мы увидим, что в тексте «Слова» имеется целый ряд описок, общих с Екатерининским списком.

Колебания в написаниях с «ъ» и «ь» объясняются не только тем, что «ъ» и «ь» имели сходные начертания. Они объясняются, как уже говорилось, и тем, что тут имело место колебание между «системой» и текстом рукописи. Доказывается это тем обстоятельством, что в ряде случаев мы имеем отнюдь не путаницу в написаниях «ь» и «ъ», а пропуски или вставки этих самых «ъ» и «ь», которые никак не могут быть объяснены простым сходством начертаний: «Ольга» (с. 15; Ек. — «Олга»), «Тьмутороканъ» (с. 15; Ек. — «Тмутороканъ»), «иноходьцы» (с. 16; Ек. — «иноходцы»), «сильными» (с. 21; Ек. — «силными»), «Кіевскій» (с. 21; Ек. — «Кіевьскій»), «Тьмутороканя» (с. 24; Ек. — «Тмутороканя»), «крыльца» (с. 24; Ек. — «крилця»), «готскія» (с. 25; Ек. — «готьскыя»), «съ Ольберы» (с. 27; Ек. — «съ Олберы»), «Литовскія» (с. 33; Ек. — «Литовьскыя»), «Полотскъ» (с. 36; Ек. — «Полотьскъ»), «мьглами» (с. 41; Ек. — «мглами»). Аналогичные пропуски и вставки «ь» и «ъ» в середине слов, главным образом (но не всегда) с целью приспособления текста к орфографии XVIII в., наполняют собой и издание «Поучения» 1793 г.

Особенно интересны в издании «Поучения» некоторые ошибочные прочтения, совпадающие с такими же неверными

312

прочтениями «Слова» в Екатерининской копии и в издании «Слова» 1800 г. Мы уже говорили о том, что А. И. Мусин-Пушкин и в «Духовной», и в «Слове» не понял слова «къмети». В «Поучении» вместо «инѣхъ кметии молоды^х» напечатано «инѣхѣ къ мети и молодыхъ»; в первом же издании «Слова о полку Игореве» вместо «свѣдоми къмети» напечатано «свѣдоми къ мети». Не понял А. И. Мусин-Пушкин и слов «мужество», «мужаться». В «Поучении» вместо «мужьство и грамоту» напечатано «мужь твой грамоту»; в первом издании «Слова о полку Игореве» — «му жа имѣся сами» вместо «мужаимься сами». Эти общие в «Поучении» и «Слове» ошибки ясно показывают, что виновником их был сам А. И. Мусин-Пушкин, а не кто-либо из его ученых помощников. Они же, кстати сказать, лишний раз и совершенно бесспорно свидетельствуют о том, что перед А. И. Мусиным-Пушкиным была подлинная, древняя рукопись «Слова», которую он не во всех случаях умел прочесть, и что он делал типичные для него ошибки в прочтении древних рукописей.

Публикаторскую технику Мусина-Пушкина довольно ярко характеризуют и другие случаи неумелого прочтения и разделения на слова текста «Поучения» («и □почиваетъ» вместо «бо почиваетъ», «съ Штавомъ» вместо «со Ставомъ», «и съ Переславл□» вместо «ис Переславл□», «даси ми» вместо «да сими»), а также манера в случаях затруднений с пониманием какого-либо слова считать его именем собственным: «по Стугани ва...» вместо «по сту оуганиваль». И то, и другое, как известно, представлено рядом примеров и в Екатерининской копии, и в первом издании «Слова».

Отдельные случаи своеобразной передачи текста в «Поучении» объясняют неточности Екатерининской копии и издания 1800 г. Так, например, в «Поучении» имеются вставки согласного там, где его не было в рукописи, под влиянием требований этимологии: «оттвори» (с. 35; в Екатерининской копии — более вероятное в рукописи «отвори»); ср. в издании «Поучения»: «беззаконье» (с. 4, 6 и 49; в рукописи — «безаконье»), «безсемени» (с. 60; в рукописи — «бесемене»).

Я не ставлю перед собой цели восстановления более правильных чтений, критики текста «Слова о полку Игореве». Поэтому я не предполагаю анализировать все расхождения между Екатерининской копией и изданием 1800 г. Такая работа в значительной мере уже проделана.

313

В данном случае перед нами другая задача, гораздо более узкая, но до сих пор в науке не поставленная: установить общие приемы передачи текста в Екатерининской копии и в издании 1800 г. и самый ход работы над подготовкой Екатерининской копии и изданием 1800 г.

Приведенные материалы позволяют нам сделать следующие предварительные выводы. И Екатерининская копия, и издание 1800 г. отразили определенные приемы передачи текста древних рукописей, свойственные А. И. Мусину-Пушкину и привлеченным им ученым. Эти приемы близки к тем, которые совершенно достоверно могут быть установлены для мусин-пушкинского издания «Поучения» Мономаха. Ближе всего к приемам этого издания Екатерининская копия. В издании 1800 г. заметно стремление строже придерживаться текста рукописи, в связи с чем некоторые приемы были отменены вовсе, а в других заметны колебания, но некоторая часть приемов осталась без изменений. Будущие исследователи языка «Слова» и реконструкторы его текста непременно должны считаться с тем, что в ошибках Екатерининской копии и издания 1800 г. отразилось не простое неумение прочесть текст погибшей рукописи, а некоторая, правда не совсем последовательная и четкая, *система* приемов передачи текста рукописи. Поэтому совершенно иначе распределяются в Екатерининской копии и издании 1800 г. достоверные и недостоверные чтения. Прежние исследователи не колебались признавать в тексте «Слова» достоверным и восходящим к погибшей рукописи все то, что является общим Екатерининской копии и изданию 1800 г. Мы убедились, что это не совсем так.

* * *

Исследователи и публикаторы Екатерининской копии не ставили вопроса о том, как работал писец, с чего он делал свою копию: непосредственно с погибшей ли рукописи «Слова» или с какого-то специально для него подготовленного текста. По-видимому, П. Пекарский, И. И. Козловский, Н. С. Тихонравов, П. К. Симони не сомневались в том, что писцу была предоставлена сама рукопись «Слова» и что писец являлся, таким образом, одним из первых ее исследователей и интерпретаторов. Так, например, И. И. Козловский считал, что особенности

314

Екатерининской копии объясняются «простым неумением писца или руководившего им графа» прочесть затруднительный текст¹; отсюда ясно, что И. И. Козловский считал, что писец сам переписывал рукопись. Только М. В. Щепкина в своем исследовании «К вопросу о сгоревшей рукописи „Слова о полку Игореве“» писала: «Для характеристики Екатерининской копии важно знать, с чего списывал писец — с самого оригинала конца XV — начала XVI века, т. е. непосредственно с мусин-пушкинского сборника, или уже со списка, изготовленного под наблюдением и по указаниям А. И. Мусина-Пушкина. Всего вероятнее последнее, ибо если бы даже самый опытный писец XVIII века стал копировать рукопись XV—XVI века с таким необычным текстом, то, с одной стороны, он дал бы больше неверных чтений и неправильных делений на слова, а с другой стороны, опытный писец проще и правильнее раскрыл бы ряд сокращений и учел бы ряд выносных знаков, пропущенных Мусиным-Пушкиным»².

Рассмотрение мусин-пушкинских приемов издания текстов ясно показывает, что так называемая Екатерининская копия «Слова» делалась не непосредственно с рукописи, а с подготовленного Мусиным-Пушкиным текста и отражает одну из стадий его работы по прочтению рукописи. Если бы писарь списывал текст непосредственно с рукописи, то он неизбежно отразил бы свое понимание текста, нарушил бы в чем-то систему передачи текста. Между тем в работе писаря мы видим ту же систему расстановки «ъ», «ь», «і» и многие характерные и для издания 1800 г. неправильности в прочтении текста: «къ мети», «мужа имѣ ся» (в первом издании «му жа имѣся»), «нѣ рози нося» и т. д. В Екатерининской копии ясно ощущается, что над протографом ее работал ученый интерпретатор текста, дававший тексту свое толкование, расставлявший знаки препинания, прописные буквы, разделявший текст на слова и т. д. При этом с изданием 1800 г., даже в неверных толкованиях, гораздо больше сходства, чем различий.

Объяснение этому может быть только одно. Писец Екатерининской копии переписывал не рукопись «Слова»

315

XV или XVI в., а приготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным текст. В основном этот текст был А. И. Мусиным-Пушкиным приготовлен теми же приемами, что и издание «Поучения», но только гражданским, привычным для него почерком, а не церковнославянским полууставом. В нем поэтому не было церковнославянских букв и были уже расставлены все знаки препинания, приведена к корректорскому единству орфография. Правда, в Екатерининской копии кое-где имеются выносные буквы, которых нет в первом издании «Слова». В этих выносных буквах видят обычно остатки графики самой рукописи, отраженные якобы писцом, стремившимся точно следовать за рукописью. Это неправильно. В мусин-пушкинском издании «Поучения» выносные буквы совершенно не отражают графику оригинала. Они расставлены Мусиным-Пушкиным по правилам их постановки в церковнославянских текстах XVIII в., главным образом в конце слов. То же самое видим мы и в Екатерининской копии. Здесь выносные буквы имеются также только в окончаниях слов (по преимуществу конечные «х» и «м»), как и в церковнославянских текстах XVIII в.) и отражают приемы расстановки выносных букв в письме XVIII в. (не следует забывать, что выносные буквы еще продолжали употребляться в письме XVIII в.). Это обстоятельство заставляет сильно сомневаться в том, что выносные буквы Екатерининской копии перешли в нее из погибшего оригинала. Эти сомнения окончательно подтверждаются следующим наблюдением. Екатерининская копия имеет выносные буквы только в конце своих строк, там, где строка копии оказывалась длиннее обычного. Выносная буква помогала писцу Екатерининской копии избегать неудобных переносов, и только. Вот эти слова с выносными буквами: умо^М, оди^Н, поведаю^Т, трепещу^{ТЬ}, шеломо^М, желѣзны^Х, со^Н, трудо^М, ури^М, звере^М, босы^М, на свои^Х, лети^Т, молоды^М.

Совершенно не прав Н. С. Тихонравов, который считал выносные буквы Екатерининской копии принадлежностью погибшей рукописи «Слова» и на этом основании даже обвинял первых издателей в том, что они неверно внесли их в текст при подготовке первого издания. «Выводя некоторые слова из-под титл, — пишет Н. С. Тихонравов, — первые издатели произвольно ставят «ь» или «ъ» и там, где их, конечно, не было в подлиннике. Так, они печатают «трудомь» (с. 7), где в Екатерин.

316

списке «трудомь», «умомь» (с. 2), где в Ек. сп. „умо^м«»¹.

Между тем написания «трудомь» и «умомь» в издании 1800 г. как раз с полной очевидностью говорят о том, что выносные буквы «м» в этих случаях принадлежат писцу Екатерининской копии и отсутствовали в рукописи. В самом деле, если бы окончания этих слов были восстановлены А. И. Мусиным-Пушкиным, как думает Н. С. Тихонравов, а не принадлежали оригиналу, он бы восстановил их, как мы теперь можем думать, зная его систему передачи текста, не с «ь», а с «ъ», по правописанию XVIII в. Таким образом, в этом случае изданию 1800 г. мы можем верить.

Можно думать, что выносные буквы не только не принадлежат погибшей рукописи «Слова», но не отражают даже и того оригинала, который был предоставлен А. И. Мусиным-Пушкиным писцу. Это чисто графическая особенность *самой копии*, и только.

Отнюдь не отражают графики погибшей рукописи «Слова» и такие слова под титлами, как «гѣа» и «гѣе» (дважды), — это обычные сокращения, принятые в церковнославянских изданиях конца XVIII в., а отчасти и в письме.

О том, что писец Екатерининской копии имел перед собою не подлинную рукопись, а подготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным оригинал, убеждает также и расстановка знаков препинания в Екатерининской копии: она в большинстве случаев почти соответствует первому изданию. Совпасть в своей расстановке знаков препинания с первым изданием «Слова» в такой степени, как это мы видим в Екатерининской копии, обычный писец не смог бы.

Характерная манера Мусина-Пушкина — опускать, не оговаривая, непроченные места — также отразилась в Екатерининской копии. В ней пропущены слова «свисть звѣринъ въ стазби». В первом издании эти слова восстановлены, очевидно, по инициативе А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского. В одном случае Екатерининская копия включает в свой состав комментаторскую глоссу, взятую в скобки: «Пѣти было пѣснѣ Игореви, того (Ольга) внуку». Эту же глоссу, как известно, имеет и первое издание «Слова» (с. 6) с той разницей, что слово «Ольга» написано без «ь». Принадлежать эта глосса

317

писцу также никак не могла. Слово «Ольга», поставленное в скобки, по свидетельству Н. М. Карамзина, отсутствовало в подлиннике и было внесено в текст «для большей ясности речи»¹.

Итак, Екатерининская копия отражает один из этапов подготовки текста к печати А. И. Мусиным-Пушкиным — этап первоначальный и далеко не совершенный. Екатерининская копия — список с подготовленного А. И. Мусиным-Пушкиным текста.

Наблюдение это подтверждается и следующим обстоятельством. Тот же писец, который переписывал текст «Слова», переписывал также и его перевод с примечаниями, и содержание «Слова». Почерк всех этих бумаг Екатерины совершенно идентичен. Но ведь перевод, примечания и содержание «Слова» составлялись писцом не самостоятельно, а переписывались с подготовленного оригинала. Следовательно, нет ничего удивительного, что и для текста «Слова» оригинал был подготовлен А. И. Мусиным-Пушкиным, причем подготовлен теми же приемами, что и издание «Поучения».

Зная, что писец переписывал не подлинную рукопись «Слова», а оригинал, подготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным, можно объяснить и другие особенности Екатерининской копии. Так, например, некоторые ошибки Екатерининской копии объясняются отнюдь не тем, что писец не разобрал рукописи XVI в., а тем, что он не разобрал почерка А. И. Мусина-Пушкина. В Екатерининской копии писец написал «самого» вместо двойственного числа «самаю» в рукописи (последняя форма сохранена нам изданием 1800 г.). Для объяснения этой ошибки писца И. И. Козловский прибег к чрезвычайно натянутому объяснению: он предположил, что в погибшей рукописи «о» писалось близко к «а», а слог «го» мог быть принят за «ю»². Однако всякий обращающийся к рукописям XV—XVI вв. знает, что смешать в них «а» и «о», а тем более «го» с «ю», чрезвычайно трудно и что сходные начертания могут быть указаны крайне редко. Если же мы обратимся к почерку самого А. И. Мусина-Пушкина, то в нем смешать буквы «го» и «ю» было вполне просто, тем более что форма двойственного числа «самаю» была писцу неизвестна. Окончание же «ого»

318

вместо «аго» также было легко писцу подставить, так как такого рода прием передачи текста был типичен для мусин-пушкинских изданий (он обычен и в его издании «Поучения»).

То обстоятельство, что писец Екатерининской копии, несмотря на всю его «квалифицированность»¹, все же допускал при переписывании ошибки, может быть доказано рядом примеров. Так, под влиянием соседних букв в слове «великий» «е» заменено им ошибочно на «ы»: «грозный выликый Кіевський» (в издании 1800 г. «великий»). К таким же опискам писца Екатерининской копии может быть отнесено: «падоша стяж» вместо «падоша стяги». Смешать «ги» с «ж» можно было именно в почерке XVIII в., тем более что мусин-пушкинский перевод «Слова», присланный им Екатерине, дает правильное понимание этого слова: «знамена». К числу описок писца может быть отнесена и такая: «за не (здесь и далее разрядка моя. — Д. Л.) землю Русскую» вместо «за землю Русскую» (с. 30 первого издания), «халужными» вместо «харалужными» (с. 36). Некоторые описки произошли не по вине писца, а принадлежат подготовленному тексту. Вместо текста «а быхъ несала къ нему слезъ на море рано. Ярославна р а н о плачеть» (первое издание, с. 39) в Екатерининской копии написано: «а быхъ несала к нему слезъ на морѣ рано. Ярославна н а м о р ѣ плачет». Писец два раза повторил «на морѣ», опустив одно «рано». Это явная описка, но описка эта произошла не по вине писца, а принадлежала тому оригиналу, с которого писец списывал. Это доказывается тем, что то же второе «на морѣ» имеется и в том мусин-пушкинском переводе «Слова», копия которого им была послана Екатерине II: «Ярославна на морѣ плачеть къ Путивлю». В дальнейшем мы увидим, что перевод для Екатерины подготовлялся уже тогда, когда копия текста была Екатерине отослана, — следовательно, она делалась с другого оригинала, по-видимому, с протографа Екатерининской копии.

Другая явная ошибка Екатерининской копии — двойное, «очное» «о» в слове «ниоочима» — также принадлежит не писцу, а была уже в протографе Екатерининской копии, подготовленном непосредственно с рукописи;

319

протографу же принадлежит неправильное прочтение слова «Зояни» вместо «Трояни» и многие другие.

Впрочем, Екатерининская копия была не просто переписана с текста, подготовленного для писца А. И. Мусиным-Пушкиным. Возможно, что она проверялась самим А. И. Мусиным-Пушкиным после переписки ее писцом. И. И. Козловский отметил, что в Екатерининской копии в слове «наполнился» буквы «ол» писаны по подскобленному тексту¹. Очевидно, что Мусин-Пушкин сперва правильно скопировал рукопись: «наплънився» (так этот текст и читается в издании 1800 г.), а затем подновил его, чтобы

сделать его чтение понятным. По-видимому, в этом месте текст Екатерининской копии был подвергнут правке с точки зрения системы, проводившейся А. И. Мусиным-Пушкиным в его изданиях.

Протограф Екатерининской копии, составленный А. И. Мусиным-Пушкиным (возможно, при участии Болтина), не затерялся. Несомненно, что он отразился в издании 1800 г. Текст издания 1800 г. генетически восходит к протографу Екатерининской копии, с поправками непосредственно по погибшей рукописи. В самом деле, интерпретация текста в издании 1800 г. во многом, несмотря на многочисленные поправки по рукописи, сохраняет особенности, характерные и для Екатерининской копии. Общими являются глосса «Ольга», отдельные ошибки («влъзѣ» со строчной; «сице и рати», «стугою», «сыпахутьми», «исъ Ревугы», «му жа имѣся» и т. д.), одинаковая расстановка знаков препинания, особенно показательная в спорных и неясных случаях (например, и в Екатерининской копии, и в издании 1800 г.: «...въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука. Вступиль дѣвою...»), «Грозою бяшетъ; притрепеталь своими сильными плѣкы» и др.).

Некоторые особенности расстановки знаков препинания в издании 1800 г. объясняются через протограф Екатерининской копии. Так, например, известное место, в котором русские войска прощаются с Русской землей, в Екатерининской копии пунктуационно читается так: «О Руская земле! Уже за Шоломянемъ еси длъго: ночь мръкнетъ» и т. д. В издании 1800 г. пунктуация поправлена, очевидно под влиянием повторения этого места в начале описания битвы, где слово «длъго» отсутствует.

320

И это слово «длъго» отделено от предшествующей фразы точкой, но объяснения своего оно еще не получило и осталось стоять особняком, отделенное точками и от предшествующей, и от последующей фразы, к которой оно относится: «О Руская земле! уже за Шоломянемъ еси. Длъго. Ночь мръкнетъ...»¹

* * *

Между протографом Екатерининской копии и изданием 1800 г. существовало еще несколько этапов работы над текстом «Слова». К сожалению, не все этапы этой работы до нас дошли. Один из этих этапов может быть все же отчасти представлен с помощью того текста перевода «Слова о полку Игореве», который наряду с Екатерининской копией сохранился в бумагах Екатерины II.

Не может быть сомнений в том, что текст перевода «Слова о полку Игореве», найденный среди бумаг Екатерины II, не одновременен Екатерининской копии. Факт этот также до сих пор не обращал на себя внимания исследователей.

В самом деле, бумага Екатерининской копии текста «Слова» не отличается от бумаги перевода и бумаги содержания «Слова», хотя П. Симони и утверждал, что она «несколько большего формата»² и имеет иные водяные знаки. Тем не менее текст «Слова», перевод и содержание когда-то составляли самостоятельные части и переплетены вместе уже после смерти Екатерины II, не ранее 1804 г., как о том можно судить по водяному знаку на первом, нумерованном листе фолианта, вплетенном при переплете³.

Перевод «Слова» писан той же рукой, что и текст, но это не свидетельствует об одновременности текста и перевода, так как та же рука видна и в других бумагах, писанных для Екатерины в различное время. Вместе

321

с тем совершенно ясно из рассмотрения обоих текстов, что они переписаны различными способами и не могли составлять части единого целого. Текст «Слова» писан в лист с небольшими полями. Перевод же «Слова» писан на листах, перегнутых пополам. Перевод находится в правом столбце. Левый столбец оставлен пустым или занят случайными

заметками. Внизу листов, под прямой, проведенной по линейке чертой, размещаются примечания. Обращает на себя внимание, что в этой второй тетради перевод и примечания расположены точно так же, как и в первом издании «Слова», и в издании «Поучения»; левый же, незаполненный столбец явно предназначался для текста, опять-таки так же, как и в первом издании. Перед нами, следовательно, как бы подготовительные материалы для издания, чего отнюдь нельзя сказать про Екатерининскую копию текста. Весьма возможно, что перевод и примечания были спешно посланы Екатерине II в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пушкина под рукой¹.

Если же мы проанализируем и самый перевод «Слова», то убедимся, что он сделан не по Екатерининской копии текста или ее протографа, а отражает какую-то промежуточную стадию подготовки текста «Слова», более позднюю, чем Екатерининская копия, но более раннюю, чем текст издания 1800 г.²

Оставляя в стороне общее рассмотрение Екатерининского перевода «Слова» с точки зрения его достоинств, отраженного в нем понимания «Слова» и т. д.³, остановимся только на тех его особенностях, которые позволяют установить какие-либо данные о том тексте, с которого этот перевод велся.

В основном Екатерининский перевод сделан с текста, близкого тексту Екатерининской копии, однако можно

322

думать все же, что перед переводчиком был текст, содержащий уже некоторые из поправок, принятых затем в издании 1800 г. Приведу примеры.

В Екатерининской копии слово «галици», в отличие от названий других животных, последовательно пишется с прописной буквы: «Галици стада», «говорь Галичь», «а Галици свою речь говоряхуть». Это заставляет предполагать, что подготавливавший текст для Екатерининской копии А. И. Мусин-Пушкин первоначально считал, что «галици» — это «галичане» (названия народов, жителей местности в Екатерининской копии, как и в изданиях старых текстов в XVIII — начале XIX в., пишутся с прописной буквы: «Половци», «Нѣмци», «Греци», «Морава» и т. д.). Однако в Екатерининском переводе, так же как и во всех последующих переводах XVIII в., «галици» правильно переводится «галки».

Испорченное в Екатерининской копии место «падоша стяж Игоревы» в переводе понято правильно: «пали знамена Игоревы».

В Екатерининской копии «Карна и Жля» соединены в одно слово: «За нимь кликну Карнаижля поскочи по Русской земли». В переводе эти слова уже разъединены: «В след за ним крикнул Карна, и Жля рассеялась по русской земле».

В Екатерининской копии не понятно слово «дъскы»: «Ужедь скы». В переводе эти слова разделены правильно: «Уже дски».

В некоторых случаях Екатерининский перевод предлагает иное понимание текста, и хотя далекое от ныне принятого, но все же более близкое к изданию 1800 г., чем к Екатерининской копии. Так, например, в Екатерининской копии слово «урим» написано со строчной буквы: «Се ури^м кричатъ». Очевидно, что составитель текста еще не видел в нем имени собственного. В переводе это слово написано уже с прописной буквы; оно понято так же, как и в издании 1800 г.: «Се Уримъ кричить»¹.

В некоторых случаях переводчик не разобрал текста, правильно переписанного в Екатерининской копии: вместо «по суху шерешеры стрелять» автор перевода имеет в виду какой-то другой, испорченный текст — «по суку шерешеры стрелять»; вместо «Галичкы Осмомысле» переводчик пишет «Галицкий Гостомысле». В последнем

323

случае переводчик явно поправляет текст, предполагая, очевидно, популярного в конце XVIII в. персонажа русской истории — новгородца Гостомысла. Впрочем, последняя ошибка могла возникнуть и в связи с тем, что автор принял букву «м» за треногое «т». Дурное прочтение текста переводчиком заметно и в другом случае: слова «кое ваши» переводчик переводит «но ваши». Очевидно, слово «кое» было написано в оригинале, с которого делался перевод, недостаточно ясно.

Очень важна поправка, которая была перед переводчиком, в известной ошибке Екатерининской копии: «на седмомъ вѣцѣ Зояни». Как доказано, эта ошибка — «Зояни» вместо «Трояни» — могла произойти только при одном условии, что перед составителем текста для Екатерининской копии была рукопись XVI в. с обычным для этого времени лигатурным написанием букв «Тр», которое могло быть легко принято за «З». Иного объяснения этой ошибки Екатерининской копии, как известно, дано не было. В переводе Екатерининского архива это слово понято правильно: «Трояновом» («На седьмомъ вѣкѣ Трояновомъ»). Это доказывает, что перед переводчиком был действительно иной текст, чем в Екатерининской копии, текст, проверенный и поправленный по подлинной рукописи.

Текст этот не мог представлять собой тот же протограф Екатерининской копии, но с поправками; это был заново переписанный с этого оригинала и исправленный текст, в который, как мы видели, писцом были внесены и некоторые описки. Отмеченные нами выше погрешности перевода, как мы видели, являются погрешностями того текста, который был перед переводчиком; вероятнее всего, что эти погрешности принадлежали писцу, а не самому А. И. Мусину-Пушкину, так как они обе ухудшают текст, являются следами «механического» непонимания текста, в чем вряд ли можно подозревать А. И. Мусина-Пушкина.

Наконец, отметим более правильное разделение на слова следующих мест Екатерининской копии: «вазнистри кусы» (в Екатерининском переводе, так же как и в переводе издания 1800 г., — «вонзив стрикусы») и «о дне пресловутицю!» (в Екатерининском переводе — «О Днѣпре, славный!»).

Таким образом, перевод делался не с Екатерининской копии, а с переписанного писцом и исправленного еще раз непосредственно по рукописи «Слова» текста, генетически

324

восходящего к протографу Екатерининской копии.

В дальнейшем, когда предпринятая Сектором древнерусской литературы работа по опубликованию всех переводов «Слова» XVIII в. закончится, необходимо будет попытаться проверить, какие тексты лежат в основе переводов, сохранившихся в бумагах Малиновского и в архиве Воронцова.

* * *

Текстологическое исследование дошедшего до нас Екатерининского списка, первого издания 1800 г. и первого перевода «Слова» ясно доказывает, что существовала авторитетная для первых издателей рукопись «Слова» и именно с нею сообразовалось то «движение текста», которое может быть отмечено прямо в издании 1800 г., сравнительно с Екатерининской копией, и косвенно в Екатерининском переводе, отражающем промежуточный этап подготовки и толкования текста.

Текст «Слова о полку Игореве» в мусин-пушкинских копиях его (мы условно называем мусин-пушкинскими те копии, которые находились в его распоряжении, но которые, по существу, являлись плодом коллективной работы ученых и простых переписчиков) постоянно исправлялся, и эти исправления в целом не отдаляли этот текст

от подлинной рукописи, а приближали к ней. Все изменения в тексте «Слова» по мере подготовки его к печати могут быть объяснены четырьмя обстоятельствами: во-первых, наличием авторитетной для издателей рукописи, по которой они постоянно выправляли текст, стремясь его не только механически прочесть, но и понять, сделать удобочитаемым; во-вторых, некоторой неподготовленностью издателей к своей работе; в-третьих, стремлением издателей к унификации орфографии и попытками приблизить ее к правописанию XVIII в. — попытками более определенными в начале работы и менее отчетливыми под конец подготовки «Слова» к печати; и, в-четвертых, тем, что в процессе работы над текстом он переписывался профессиональными писарями, которые вводили в текст некоторое (небольшое) количество механических ошибок, описок, неправильных прочтений.

Все эти четыре обстоятельства настолько несомненны при анализе разночтений, что отсюда может быть сделан и вполне определенный вывод: издатели «Слова» безусловно

325

были уверены в подлинности рукописи; весь ход работы над изданием «Слова» убеждает, что издатели ничего сознательно не придумывали, не сочиняли, не изменяли более раннего текста без каких-либо серьезных оснований.

Если бы кто-либо из издателей «Слова», будь то сам А. И. Мусин-Пушкин, Н. Н. Бантыш-Каменский или А. Ф. Малиновский, не был уверен в подлинности рукописи, а считал бы, что имеет дело с удобочитаемой подделкой (а подделки, как правило, бывают обычно удобочитаемы: в них нет темных мест, тем более таких, которые в некоторой части с течением времени бесспорно могут быть объясняемы), то весь ход работы был бы совсем иным.

Ход работы А. И. Мусина-Пушкина и его «ученой дружины» над первым изданием на основании всего изложенного может быть наглядно показан в виде приведенной здесь схемы (см. с. 327).

Почему издание 1800 г., в отличие от издания «Поучения» 1793 г., с которым оно имеет так много общего, применило гражданский, а не церковный шрифт?

Причины могли быть разные, и все они могли действовать в совокупности.

Прежде всего отметим, что выбор шрифта определился самим ходом работы над текстом «Слова». Текст «Слова» раньше, чем быть окончательно подготовленным к печати, многократно переписывался от руки. Его, по-видимому, подготовил первоначально сам А. И. Мусин-Пушкин или И. Н. Болтин. Затем А. И. Мусин-Пушкин давал его переписывать писарю. После писаря в текст вносили поправки сам А. И. Мусин-Пушкин и те из авторитетных для него лиц, которым он посылал текст «Слова» для замечаний, исправлений, толкований. После текст переписывался еще и еще. Само собой разумеется, что простую переписку текста не к чему было производить церковнославянским шрифтом. Церковнославянский шрифт при переписке рукописи мог быть применен только тогда, когда этот текст непосредственно предназначался для церковнославянского набора. Поскольку этого вначале не было, а текст готовился для его изучения, рассылки отдельным ученым, он многократно переписывался обычным способом, и это неизбежно создавало некоторую инерцию, которая затем и сказалась в выборе именно гражданского шрифта. По существу, выбора шрифта и не было: гражданский шрифт явился

326

результатом всего хода работы над текстом погибшей рукописи¹.

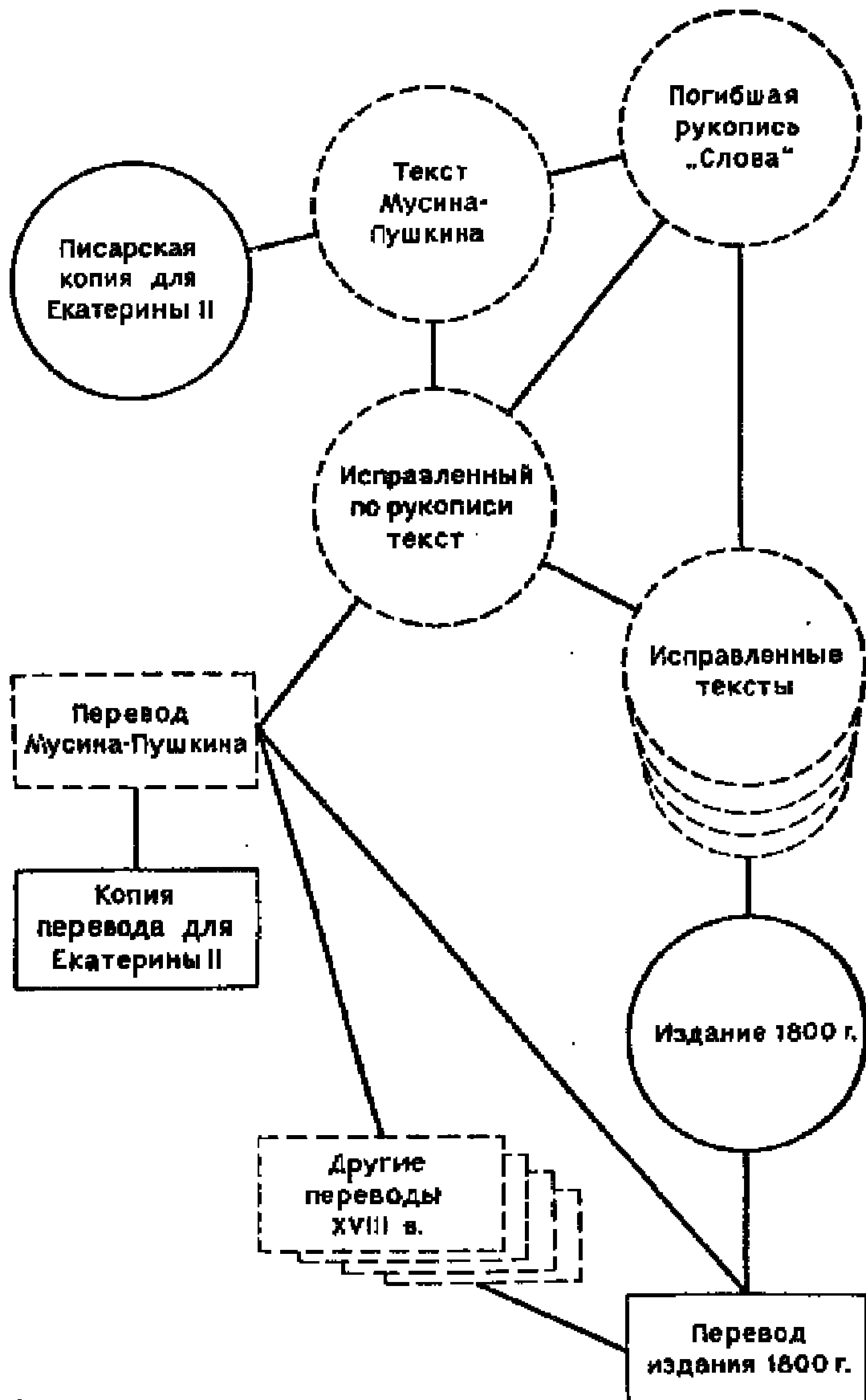
Применение гражданского алфавита в первом издании «Слова» было удачным: оно обеспечивало гораздо большую точность передачи текста; оно избавляло издателей от необходимости расставлять надстрочные знаки, без которых в конце XVIII в. казались немислимыми издания церковной печати; кроме того, оно избавляло издателей от

необходимости вводить в текст □, □, S, расстановка которых в изданиях XVIII в. также обычно не соответствовала рукописной традиции XII—XVI вв. Иной была в церковных изданиях XVIII в. и система сокращений, постановки титлов и выноса букв над строкой. Гражданский шрифт гораздо менее связывал издателей, позволял точнее следовать тексту. Он был более нейтрален по отношению к древнерусскому тексту, чем церковнославянский.

Совсем иным было бы отношение издателей к гражданскому шрифту, если бы не задавались целью более или менее точной передачи древнего текста, написанного в иной орфографической системе, чем в изданиях церковной печати конца XVIII в. Если бы перед издателями стояла цель передать древний колорит памятника или тем более создать подделку под древность, они, возможно, остановились бы в своем выборе на церковнославянском шрифте и, не будучи связаны оригиналом, расставили бы юсы, ъ, выносные буквы и титла так, как это было принято и казалось им обычным в «славянском наречии» без всяких смущавших издателей неправильностей его.

Связанность издателей текстом авторитетной для них рукописи может быть доказана для всех случаев исправления текста, для всей системы подготовки текста к печати и для всех приемов передачи текста «Слова о полку Игореве».

В свете рассмотренных материалов становится ясным, почему редакторы первого издания, Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский, запрещали А. И. Мусину-Пушкину править корректуры. Чего, собственно, могли



опасаться Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский? Может быть, они опасались, что А. И. Мусин-Пушкин обратится к рукописи «Слова» и введет в корректуру свое

собственное понимание какого-либо множество раз уже толкованного и перетолкованного темного места «Слова», не считаясь с мнением им же самим привлеченных к изданию ученых? Вряд ли именно этого опасались Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский. Однако они, естественно, могли ожидать, что А. И. Мусин-Пушкин станет править не по рукописи и, «унифицируя» текст согласно тем старым приемам, которые он применил в издании «Поучения» и первоначальной копии, введет новые ошибки. В издании могли пострадать характерные югославянские формы «ль», «рь», могло быть заменено «ю» после «ч» на «у» и т. д. Иными словами, ученые редакторы первого издания имели все основания бояться правки А. И. Мусина-Пушкина не по рукописи (в этом случае А. И. Мусин-Пушкин вряд ли бы предложил самостоятельные прочтения), а правки без рукописи, по привычным нормам орфографии XVIII в. Последняя, как мы видели, и не была вовсе изгнана из издания 1800 г., а лишь умерена.

Весь приведенный материал бесспорно и совершенно отчетливо убеждает в том, как много потеряла наука и русская культура в целом оттого, что первые издатели «Слова» не применили дипломатических приемов передачи текста. Если бы издатели «Слова» своевременно отказались от попыток собственного прочтения текста, от введения правописания XVIII в., современного разделения на слова, расстановки знаков препинания и др. и приняли бы дипломатические приемы издания, которые к этому времени уже стали намечаться, то мы были бы избавлены от многих ошибок и искажений, от которых не гарантирован ни один из исследователей, ставящих перед собою целью интерпретацию текста, приближение текста к читателю, а не только точное его издание.

Сейчас же волей-неволей перед исследователями встает как одна из важнейших задач исследования «Слова» реконструкция такого его текста, в котором были бы отмечены все те буквы и написания, в отношении которых мы можем подозревать, что они явились результатом интерпретации текста, введения правописания XVIII в. Такой текст мог бы служить исходным материалом для последующей лингвистической и конъектуральной

329

работы над ним. Этот текст должен учитывать показания генеалогического соотношения двух его списков — Екатерининской копии и издания 1800 г., и на основании тех сведений, которые могут быть собраны относительно приемов передачи текста в том и другом, в нем должны быть показаны (особым шрифтом или каким-либо другим способом) все те места и отдельные буквы, которые могли быть изменены издателями сравнительно с погибшей рукописью.

Работа эта сможет быть закончена только тогда, когда станут известны не только все данные относительно того, как готовился текст к изданию 1800 г., но и история печатания этого издания, что может быть сделано на основании установления разночтений всех сохранившихся экземпляров первого издания. Было бы полезно, восстанавливая текст рукописи XVI в., отмечать все те буквы («ъ», «ь» и т. д.), которые могли быть расставлены издателями «Слова» в порядке приспособления к орфографическим нормам конца XVIII в.

* * *

Данное исследование было напечатано в XIII томе «Трудов Отдела древней литературы» в 1957 г. После этого появилась уже упоминавшаяся выше обстоятельная монография Л. А. Дмитриева «История первого издания „Слова о полку Игореве“» (М. — Л., 1960), во многом подтвердившая и продолжившая выводы моего исследования. Приведу наиболее важные дополнения к моим заключениям из этой книги Л. А. Дмитриева.

Во-первых, Л. А. Дмитриев обращает внимание на то, что тенденциями первых издателей «Слова» подчинить текст его некоторым особенностям орфографии XVIII в. и приемам издательской практики А. И. Мусина-Пушкина могут объясняться некоторые

отличия выписок Карамзина от чтений первого издания. «Возможно, что в некоторых случаях и Карамзин при цитации древнерусских текстов мог под влиянием современных ему орфографических правил изменять орфографическое написание цитируемого подлинника, вследствие чего мы не можем безоговорочно считать, что все написания Карамзина в выписках из «Слова», отличающиеся от написаний соответствующих слов в первом издании и Екатерининской копии, точнее передают чтения рукописи

330

«Слова», чем первое издание или Екатерининская копия. Но, принимая во внимание то обстоятельство, что цитаты Карамзина из «Слова» могли быть сделаны либо непосредственно из рукописи, либо с какой-то неизвестной нам копии с этой рукописи, и зная тщательное отношение к цитированию Н. М. Карамзиным древнерусских текстов вообще, мы должны учитывать все его выписки из «Слова о полку Игореве», так как они могут или подтвердить лишний раз правильность передачи написания отдельных слов в первом издании и Екатерининской копии, или дать такие чтения оригинала, которые были неверно переданы в первом издании и Екатерининской копии. Поэтому при восстановлении текста «Слова о полку Игореве», наряду с текстом первого издания, Екатерининской копией и выписками А. Ф. Малиновского, необходимо учитывать и все выписки из текста «Слова», имеющиеся в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина» (с. 12—13).

Второе дополнение Л. А. Дмитриева заключается в следующем. Л. А. Дмитриев в своей книге весьма внимательно проследил изменения в тексте тех страниц первого издания, которые перепечатывались первыми издателями. «После наблюдений Д. С. Лихачева над текстом «Слова», — пишет Л. А. Дмитриев, — мы можем объяснить изменения, сделанные в древнерусском тексте при перепечатке отдельных страниц, тенденцией первых издателей соблюсти в своей книге корректорское единообразие» (с. 64). Таким образом, наблюдения Л. А. Дмитриева над текстами перепечатывавшихся страниц не вносят изменений в то соотношение рукописи и печатного текста, которое было предложено нами в приведенной выше схеме.

Третье дополнение заключается в следующем. Исследуя текст выписок А. Ф. Малиновского из «Слова», Л. А. Дмитриев определил, что «выписки Малиновского очень часто совпадают по написанию отдельных слов с Екатерининской копией. Совпадения эти преимущественно падают на те написания, которые отражают стремление Мусина-Пушкина следовать орфографическим правилам XVIII в.: написание «ей» в род. п. мн. ч., правильное употребление «ѣ», замена сочетаний «ръ», «ль» русскими слогами «ор», «ол». Таким образом, выписки Малиновского подтверждают оценку, данную Д. С. Лихачевым особенностям подготовки текста «Слова» Мусиным-Пушкиным. Сделанные Малиновским с копии,

331

восходящей к тексту, приготовленному Мусиным-Пушкиным, они отражают те же специфические черты в подготовке древнерусского текста, которые характерны для Екатерининской копии» (с. 168—169).

Четвертое дополнение состоит в том, что исследованные Л. А. Дмитриевым первые переводы «Слова» подтверждают сделанные мною предположения об их истории. В частности, Л. А. Дмитриев пишет: «Д. С. Лихачев... высказывает предположение, что перевод «Слова» был отправлен Мусиным-Пушкиным Екатерине очень поспешно «в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пушкина под рукой». Это предположение подтверждается тем, что, по существу, рукопись «Е» имеет рабочий вид. Дело происходило, очевидно, так. После того как императрица познакомилась с собирательской деятельностью Мусина-Пушкина, последний решил преподнести ей текст и перевод «Слова о полку Игореве» с комментариями. Внешне он хотел оформить весь этот материал по такому же типу, как это позже было осуществлено в первом издании «Слова

о полку Игореве»: в левой половине страницы — текст оригинала, справа, параллельно, его перевод, а внизу, под общей чертой, комментарии. В таком виде вся эта рукопись и стала оформляться. Сначала писец очень точно разметил по страницам распределение перевода и комментариев, вписал в правую колонку перевод, оставив левую часть чистой, чтобы потом подогнать под перевод расположение в ней древнерусского текста, и начал вписывать в нижней части листов, под чертой, комментарии к переводу. Уже во время работы писца Мусин-Пушкин решил пополнить комментарии дополнительными статьями. Так как нумерация комментариев уже была проставлена и нижнее поле рукописи занято текстом основных комментариев, то писец эти дополнительные статьи комментариев стал соотносить с текстом перевода условными знаками и вписывать их туда, где должен был быть размещен древнерусский текст «Слова». Этим нарушался чистовой характер рукописи, и писец дополнительные статьи комментариев стал вписывать скорописью, мелко и небрежно. Вся рукопись приобрела рабочий вид — вписать в нее древнерусский текст «Слова» было уже невозможно. Посылка Мусиным-Пушкиным рукописи в полурабочем виде императрице, очевидно, могла быть вызвана только какой-то спешкой. Так как древнерусский текст уже не мог быть вписан рядом с переводом, Мусин-Пушкин

332

вынужден был послать Екатерине древнерусский текст «Слова» в виде отдельного списка. Этим и объясняется то, что у Екатерины оказались одновременно и текст, и перевод, переписанные различными способами» (с. 312—313).

Итак, история подготовки к печати текста «Слова о полку Игореве» в конце XVIII в. представляется сейчас довольно ясной. Эта история показывает, с одной стороны, что первые издатели относились к имеющемуся у них тексту «Слова» с особенной бережностью. Текст «Слова» был для них авторитетен. Совсем другой характер носила бы их правка, если бы они имели хоть тень сомнения в подлинности рукописи. С другой стороны, история подготовки текста «Слова» к изданию существенно помогает нам в восстановлении того текста, который был в руках у первых издателей и который отразился как в Екатерининской копии, так и в первом издании «Слова» 1800 г. Мои наблюдения над приемами передачи текста в Екатерининской копии и в первом издании «Слова о полку Игореве» были существенно продолжены в статье О. В. Творогова «К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со „Словом о полку Игореве“», в параграфе втором этой статьи — «Палеографические и орфографические черты „Слова о полку Игореве“»¹.

*Несколько замечаний в помощь начинающим изучать
«Слово о полку Игореве»*

«Слово о полку Игореве» привлекает внимание широких читателей и множества исследователей-любителей, которые, не являясь филологами, серьезно им занимаются и сделали немало интересных открытий. Некоторые из работ любителей печатаются в научных изданиях — таких, например, как «Труды Отдела древнерусской литературы АН СССР».

Естественно, что любовь к «Слову» заставляет этих любителей искать и обнаруживать в «Слове» то, что им

333

близко и что их волнует, — обнаруживать, но не навязывать «Слову». Последнее очень важно. Навязывание «Слову» своих идей и концепций тоже имеет место, но оно отнюдь не расширяет и не углубляет наших представлений о «Слове», а заставляет специалистов

тратить время на опровержение этих взглядов и трактовок, изрядно иногда засоряющих нашу науку.

Не лишним поэтому представляется подытожить некоторые ошибки, совершаемые этими лишенными чувства ответственности «исследователями», и дать некоторые рекомендации начинающим ученым, собирающимся посвятить свои усилия изучению «Слова».

Как известно, в «Слове о полку Игореве» еще много отдельных мест, не получивших удовлетворительного объяснения. Поэтому появление новых толкований этих «темных мест», новых исправлений текста следует только приветствовать. К таким темным местам, не получившим ясного истолкования, принадлежат, например, следующие места: «свить звѣринъ въ стазби», «на болони бѣша дѣбрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю», «суть бо у ваю желѣзныи папорзи подь шеломы латинскими», «и схоти ю на кровать, и рекъ», «и стругы ростре на кусту», «рекъ Боянь и ходы на Святъславля пѣтворца старого времени Ярославля Ольгова Коганя хоти»¹.

Прежде всего исследователь должен доказать, что то или иное место действительно нуждается в исправлении и существующий текст никак не может быть принят. Переиначивать ясный и простой текст, исходя из собственных предвзятых представлений о памятнике, недопустимо принципиально. Всякая гипотеза или даже предположение должны быть прежде всего необходимы. В самом деле! Одному исследователю захочется уменьшить в «Слове» элемент таинственности, и он заменит «Дива» на «дива» — половца. Другому захочется уменьшить в «Слове» и без того слабый в нем церковный элемент, и он заменит обычное заключительное «аминь» на «честь» («а дружине честь»). Третий соберется увеличить в «Слове» весомость своего этноса. Идя по этому пути, исследователи станут менять текст в зависимости от различных конъюнктурных соображений, и мы вообще останемся без твердого текста памятника. Необходимость исправлений должна быть внутренней, она должна определяться самим памятником в зависимости от той

334

суммы сведений, которые мы имеем о памятнике и об эпохе памятника (о языке, культуре и пр.). Внешняя необходимость (необходимость для подведения памятника под определенную концепцию) не может служить основанием для конъектур и новых истолкований.

Второе условие выдвижения новой гипотезы: необходимо доказать, что предлагаемое новое объяснение проще и яснее предлагавшихся ранее. Для этого исследователь должен, разумеется, полностью знать всю существующую литературу и «публично», перед своими читателями с полной честностью (не скрывая сильных сторон сделанных до него предположений) показать их неудовлетворительность.

В-третьих, исследователь должен доказать, что новое исправление не противоречит данным истории русского языка, палеографии, истории, эстетическим представлениям своего времени.

В-четвертых, если исследователь берется исправлять текст, он должен быть компетентен во всех этих вопросах и не перелагать свои обязанности на каких-то будущих специалистов.

Разумеется, исследователь должен уметь ориентироваться в литературе вопроса, как бы она ни была обширна. К счастью, в большой литературе о «Слове» существуют хорошие ориентиры¹.

Перечисленными условиями, разумеется, не могут быть ограничены требования к исследователям «Слова». Укажу еще на одно, очень важное. Предлагая свои поправки, исследователь обязан по возможности привести аналогии и параллели, указать на случаи употребления в древнерусском языке именно предлагаемого слова и именно в том

значении, которое указывается исследователем. Если исследователь не может подкрепить свое исправление существованием сходных текстов — вероятность его исправления сильно ослабевает. Между предлагаемыми

335

типами исправлений существует своеобразная, но достаточно отчетливая иерархия. В первую группу входят исправления, опирающиеся на реально существовавшие слова и на их реально бытовавшие, а не придуманные значения. Во вторую группу входят исправления, хотя и опирающиеся на реально существовавшие в текстах слова, но с незарегистрированными значениями этих слов. В третью группу входят исправления, вводящие искусственные слова, увеличивающие в «Слове» число гапаксов (то есть слов, отсутствующих в других памятниках). Все три группы могут быть усложнены степенями палеографической правдоподобности. Несомненно, что палеографически наиболее правдоподобны те исправления, которые меняют только деление на слова и не вводят новых букв. Как известно, деление на слова внесено в текст «Слова» его первыми издателями. Менее достоверны исправления, сохраняющие общий счет букв и вносящие лишь незначительные замены отдельных букв при общей графической схожести исправляемых букв с теми, которые они заменяют в первом издании и Екатерининской копии. Еще менее достоверны исправления, изменяющие общий счет букв, не считающиеся с начертаниями букв, с существовавшими обыкновениями в сокращении слов и так далее.

Разумеется, я упоминаю здесь только самые элементарные приемы оценки исправлений текста, и они не могут заменить исследователю филологической грамотности, не могут предусмотреть всех сложностей, с которыми исследователь сталкивается, особенно, допустим, при объяснении и исправлении иноязычных элементов текста.

Укажу все же еще на одно общее соображение, которое надо иметь в виду исследователю, критикующему своих предшественников. Принимая то или иное прочтение текста, издатель «Слова» не всегда считает избранное им прочтение полностью удовлетворительным. В тех случаях, когда то или иное темное место никак не может быть исправлено с полной убедительностью, достоинством условно принимаемого исправления является его нейтральность по отношению к остальному тексту «Слова»: то есть отсутствие новых сильных образов, особенно образов, выпадающих из общей эстетической системы «Слова». Издателям «Слова» сплошь и рядом приходится избирать из существующих толкований наиболее «незаметное». Приблизительно так поступают, например, реставраторы древней живописи: они покрывают исчезнувшее

336

в красочном слое место нейтральным тоном. Мне лично приходится поступать именно так в изданиях «Слова» во всех указанных мною выше темных местах, не имеющих, по моему мнению, достаточно обоснованных толкований и конъектурных исправлений. Из всех возможных исправлений не поддающегося прочтению места «Слова» я выбираю наиболее нейтральное, не вносящее противоречащих эстетической системе XII в. образов.

Известный исследователь «Слова» И. П. Еремин предложил другой способ «преодоления» такого рода «неисправимых», «темных мест»: он просто опускал их в своем издании. Вряд ли, однако, этот способ может дать наилучший выход из положения. Получающиеся от этого в тексте «Слова» «зияния» разрушают цельность эстетического впечатления и все равно вносят произвольное изменение в текст. Пропуски в тексте отнюдь не нейтральны по отношению к соседним местам текста.

337

ИССЛЕДОВАНИЯ

О русской летописи, находившейся в одном сборнике со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947, т. V, с. 131—141.

Из наблюдений над лексикой «Слова о полку Игореве». — Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1949, т. 8, вып. 5, с. 551—554. [С дополнениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 199—205; то же в наст. изд., с. 254—260.]

Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, с. 5—52. [С исправлениями и дополнениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве и культура его времени». Л.: Худож. лит., 1978, с. 75—149; с изменениями в наст. изд., с. 76—144.]

Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве». — Там же, с. 53—92. [С исправлениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 150—198; то же в наст. изд., с. 182—229.]

Археографический комментарий. — В кн.: «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, с. 352—368.

Комментарий исторический и географический. — Там же, с. 375—466.

История подготовки к печати текста «Слова о полку Игореве» в конце XVIII в. — ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957, т. XIII, с. 66—89. [С дополнениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 237—277; то же в наст. изд., с. 293—332.]

О словаре-комментарии «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960, т. XVI, с. 424—441. [Совместно с Б. Л. Богородским и Б. А. Лариним.]

«Возни стрикусы» в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962, т. XVIII, с. 587.

Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 5—78.

«Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы. — Там же, с. 300—320 [С дополнениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 7—39; с изменениями в наст. изд., с. 6—38.]

338

Черты подражательности «Задонщины». (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве»). — Русская литература, 1964, № 3, с. 84—107.

[То же с некоторыми переделками]: Nem-stilizációs utáztatok. (A Zadonscssina és az Igor-ének viszonyáról.) [Нестилизационные подражания («Задонщина» и «Слово о полку Игореве»).] — Filológiai közlöny. A Magyar tudományos akadémia. Budapest, 1965, 11. évf., 1—2 szám, 18—35.

Нестилизационные подражания. — В кн.: Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967, с. 191—211; 2-е изд., доп. Л.: Худож. лит., 1971, с. 209—231; 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979, с. 189—208.

Нестилизациона подражаванья. — В кн.: Д. С. Лихачев. Поэтика старе руске књижевности. Превео, предговор Д. Богдановћ. Београд: Српска књижевна задруга, 1972, с. 223—245.

Nestylované nápodoby. — In: D. S. Lichačov. Poetika staroruské literatury. Přeložil Ladislav Zdražil. Doslov napsala Světlá Mathauserová. Praha: Odeon, 1975, s. 174—192.

Naśladownictwa niestylizacyjne. — In: D. S. Lichaczow. Poetyka literatury staroruskiej. Przeł. A. Prus-Bogusławski. Warszawa. Państwowe Wyd. Naukowe, 1981, s. 208—210.

Niestylizacyjne naśladownictwo w literaturze staroruskiej. — Zagadnienia rodzajów literackich. Łódź, 1965, t. 8, zes. 1, s. 19—40. [Резюме на рус. и англ. яз.]

Поэтика художественного пространства. — В кн.: Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967, с. 362—363; 2-е изд., доп. Л.: Худож. лит., 1971, с. 401—403; 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979, с. 349—351.

Уметнички простор у старој руској књижевности. — В књ.: Д. С. Лихачов. Поэтика старе руске књижевности. Превео, предговор Д. Богдановћ. Београд: Српска књижевна задруга, 1972, с. 420—422.

Umělecký prostor ve staroruské literatuře. — In: D. S. Lichačov. Poetika staroruské literatury. Přeložil Ladislav Zadražil. Doslov napsala Světlá Mathauserová. Praha: Odeon, 1975, s. 331—332.

Przestrzeń artystyczna w literaturze staroruskiej. — In: D. S. Lichaczow. Poetyka literatury staroruskiej. Przeł. A. Prus-Bogusławski. Warszawa. Państwowe Wyd. Naukowe, 1981, s. 369—372.

Сон князя Мала в летописце Переяславля Суздальского и сон князя Святослава в «Слове о полку Игореве». — In: Festschrift für Margaret Woltner zum 70. Geburtstag am 4. Dezember 1967. Heidelberg, Carl Winter, 1967, SS. 168—170. [См. об этом в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 229—233; то же в наст. изд., с. 288—292.]

«Тресвѣтлое солнце» Плача Ярославны. — В кн.: ТОДРЛ. Л.: Наука, т. XXIV, 1969, с. 409.

339

Работа Н. Заболоцкого над переводом «Слова о полку Игореве». Комментарии Д. Лихачева и Н. Степанова. [Публикация писем Д. С. Лихачева к Н. Заболоцкому и Н. Заболоцкого к Д. С. Лихачеву; комментарии Д. С. Лихачева к письмам и статье Н. Заболоцкого «К вопросу о ритмической структуре «Слова о полку Игореве».] — Вопросы литературы, 1969, № 1, с. 164—188.

Сюжетное повествование в памятниках, стоявших вне жанровых систем XI—XIII вв. — В кн.: Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л.: Наука, 1970, с. 195—207.

«Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования XI—XIII вв. — В кн.: ТОДРЛ. Л.: Наука, т. XXVII, 1972, с. 69—75.

Еще раз о «сне Святослава» в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л.: Наука, 1976, с. 9—11.

«Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — Русская литература, 1976, № 2, с. 24—37. [С дополнениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 40—74; с изменениями в наст. изд., с. 39—75.]

Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII веков. — В кн.: Литература и социология. Сборник статей. М.: Худож. лит., 1977, с. 99—102.

Монументально-исторический стиль древнеславянских литератур. — В кн.: Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации. М.: Наука, 1978, с. 119—143.

«Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, 340 с. [С приложением библиографии работ Д. С. Лихачева по «Слову о полку Игореве»]; наст. изд. [с приложением библиографии работ Д. С. Лихачева по «Слову о полку Игореве».]

Катарсис в «Слове о полку Игореве». — In: Byzance et les Slaves. Etudes de Civilisation / Mélanges Ivan Dujčev. Paris, 1979, p. 249—252.

«Słońce mu ciemnością droge zagradzało». Nauka o świetle Jana Damasceńskiego czy Dionizego Areopagiti w «Słowio o wyprawie Igora»? — Pamiętnik literacki, 1980, Warszawa — Wrocław — Kraków, R. 71, zesz. 4, S. 123—125. [См. об этом также в наст. изд., с. 262—265].

Заметка о значении света в Древней Руси. — In: Festschrift für Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Erlangen, 1982, SS. 118—120: [См. об этом также в наст. изд., с. 261—264.]

Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве». — Русская литература, 1983, № 4, с. 9—21. [См. об этом также в наст. изд., с. 234—253.]

Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве». — Русская литература, 1984, № 3, с. 130—144.

340

Княжеские певцы по свидетельству «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ. Л.: Наука, 1984, т. XXXVIII. (Печатается. См. об этом также в наст. изд., с. 230—233.)

Новгородские черты в «Слове о полку Игореве» — ТОДРЛ. Л.: Наука, 1984, г. XXXVIII. [Печатается.]

ПОЛЕМИКА И РЕЦЕНЗИИ

Рец.: J. Besharov Imagery of the Igor tale in the Light of Byzantino-Slavic Poetic Theory. [Образы повести о походе Игоря в свете византийско-славянской поэтической теории.] Leiden. 1956. — Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1956, т. 15, вып. 6, с. 549—552.

Рец.: Новое болгарское издание «Слова о полку Игореве». «Песен из похода на Игор, Игор Святославич, внук Олегов». Преведе Людмил Стоянов. Издание на Българската Академия на науките. София, 1956, 142 с. — Славяне, 1956, № 7, с. 57—59.

Новый перевод «Слова о полку Игореве». [О переводе С. В. Ботвинника.] — Ленинградский альманах, 1957, кн. 12, с. 359—360.

Рец.: Замечательный труд. «Слово о полку Игореве» на сербско-хорватском языке. [Слово о полку Игореве. Белград: Нолит, 1957.] — Литературная газета, 1958, 6 февраля.

Рец.: Sovjetski akademik Lihačov o delu M. Panicá-Surepa. [О переводе М. Panicá-Surepa «Слова о полку Игореве» на сербо-хорватский язык.] — Književne novine. Beograd, 1958, gd. 9, Nov. ser., br. 64, 21/III, s. 2.

Когда было написано «Слово о полку Игореве»? — Вопросы литературы, 1964, № 8, с. 132—160.

[Выступление 4—6 мая 1964 г. в Отделении истории АН СССР в г. Москве по поводу концепции А. А. Зиминой]: Обсуждение одной концепции о времени создания «Слова о полку Игореве». — Вопросы истории, 1964, № 9, с. 121—140.

От редакторов. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л.: Наука, 1966, с. 3—10. [Совместно с Л. А. Дмитриевым.]

В поисках единомышленников. [К опубликованию Институтом славяноведения Парижского университета труда М. И. Успенского «Небольшие исторические данные о происхождении „Слова о полку Игореве“».] — Вопросы литературы, 1966, № 5, с. 158—166.

The Authenticity of the Slovo o Polku Igoreve: A Brief Survey of the Arguments. [Подлинность «Слова о полку Игореве»: краткий обзор аргументов.] — Oxford Slavonic Papers, 1967, vol. 13, p. 33—46.

К статье А. Г. Кузьмина «Мнимая загадка Святослава Всеволодовича». — Русская литература, 1969, № 3, с. 110.

341

Further Remarks on the Textological Triangle: Slovo o Polku Igoreve, Zadonshchina and the Hypatian Chronicle. [Дальнейшие замечания по поводу текстологического треугольника: «Слово о полку Игореве», «Задонщина» и Ипатьевская летопись.] — Oxford Slavonic Papers, 1969. New Series, vol. 2, p. 106—115. [С некоторыми изменениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 296—309.]

Рец.: Труд, побеждающий скептиков. В. П. Адрианова-Перетц. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л.: Наука, 1968. — Правда, 1969, 5 сентября, № 248. [Совместно с Л. А. Дмитриевым.]

[Ответ на выступление Д. Ланга по докладу Д. С. Лихачева «Жанр „Слова о полку Игореве“».] — In: Atti del Convegno Internazionale sul tema: La poesia epica e la sua formazione (Roma, 28 marzo — 3 aprile 1969). Roma: Accad. nazionale dei Lincei, 1970, p. 331—332. [Текст на ит. яз.]

[Ответ на выступление А. Лорда по докладу Д. С. Лихачева «Жанр „Слова о полку Игореве“».] — Ibid., p. 332. [Текст на ит. яз.]

Рец.: В. П. Адрианова-Перетц. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. М.: Наука, 1968. — Social Sciences, Moscow, 1970, vol. 2, p. 163—164. [Текст на англ. яз. То же на фр. и исп. яз.]

Рец.: Опираясь на знание эпохи. Б. А. Рыбаков. «Слово о полку Игореве» и его современники. М.: Наука, 1971. — Вопросы литературы, 1972, № 2, с. 207—210.

«Слово о полку Игореве» и скептики. — В кн.: Д. С. Лихачев. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. (Б-ка «Любителям российской словесности».) М.: Современник, 1975, с. 348—363; 2-е изд., доп. М.: Современник, 1980, с. 294—409.

Взаимоотношения списков и редакций «Задонщины» (Исследование Анджело Данти). — В кн.: ТОДРЛ. Л.: Наука, 1976, т. XXXI, с. 165—175. [См. об этом также в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 278—295.]

Гипотезы или фантазии в истолковании темных мест «Слова о полку Игореве». — Звезда, 1976, № 6, с. 203—210. [С дополнениями в кн.: Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. лит., 1978, с. 310—328.]

[Отзыв о книге О. Сулейменова «Аз и Я»]: Заика С. Обсуждение книги О. Сулейменова «Аз и Я». — Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, 1976, т. 35, вып. 4, с. 376—383.

[Отзыв о книге О. Сулейменова «Аз и Я»]: Обсуждение книги Олжаса Сулейменова. — Вопросы истории, 1976, № 9, с. 147—154.

«Тактические умолчания» в споре о взаимоотношениях «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». — Русская литература, 1977, № 1, с. 87—91.

342

РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА И ПОПУЛЯРНЫЕ

Культура и народ накануне татаро-монгольского нашествия. — В кн.: Д. С. Лихачев. Национальное самосознание древней Руси. Очерки из области русской литературы XI—XVII вв. (Научно-популярная серия.) М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945, с. 61—64.

«Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. (Научно-популярная серия.) М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, 164 с.: 2-е изд., доп. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955, 152 с.

«Слово о полку Игореве». (Историко-литературный очерк.) — В кн.: «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. (Серия «Литературные памятники».) М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, с. 229—290.

Бессмертное произведение русской литературы. (К 150-летию первого издания «Слова о полку Игореве».) — Звезда, 1950, № 12, с. 150—154.

Литература [XI—XIII вв.]. — В кн.: История культуры древней Руси. Т. 2. Домонгольский период. Ч. 2. Общественный строй и духовная культура. Под ред. Н. Н. Воронина, М. К. Каргера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951, с. 204—212.

Die Literatur. — In: Geschichte der Kultur der alten Rus'. Die vormongolische Periode. Bd. 2. Gesellschaftsordnung und geistige Kultur. Hrsg. unter der Red. von N. N. Woronin, M. K. Karger. Deutsche Ausg. besorgt von Bruno Widera. Berlin: Akademie-Verlag, 1962, S. 206—215.

«Слово о полку Игореве» в становлении русской литературы. — В кн.: Д. С. Лихачев. Возникновение русской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 179—205.

Народное поэтическое творчество в годы феодальной раздробленности Руси — до татаро-монгольского нашествия (XII — начало XIII в.) — В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Т. 1. Очерк по истории русского народного поэтического творчества X — начала XVIII веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953, с. 244—247.

Venäjäin kirjallisuuden merkkitieteos. [Выдающееся произведение русской литературы.] — В кн.: Laulu Igorin sotaretkestä. Suomentanut Jaakko Rugojev. Petroskoi: 1953, s. 44—70.

«Слово о полку Игореве». — БСЭ, 2-е изд. Т. 39. М., 1956, с. 357—358. [Совместно с Н. К. Гудзием.]

Бессмертное произведение древнерусской литературы. — В кн.: «Слово о полку Игореве». В иллюстрациях и документах. Составитель О. А. Пини. Л., 1958, с. 3—14.

Литература второй четверти XII — первой четверти XIII века. Рост местных литературных центров. Критическое отношение прогрессивной литературы к феодальному дроблению страны и отражение идеи

343

единства Руси. — В кн.: История русской литературы в 3-х т. Т. 1. Литература X—XVIII веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 113—130.

Литературата през втората четвърт на XII и първата четвърт на XIII в. Разрастване на местните литературни центрове. Критично отношение на прогрессивната литература към феодалната раздробеност на страната и отражение на идеята за единство на руската земя. — В кн.: История на руската литература. Т. 1. Литературата от X—XVIII в. Прев. от руски. София: Наука и изкуство, 1960, с. 90—135.

«Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. М.; Л.: Гослитиздат, 1961, 134 с.; 2-е изд. Л.: Худож. лит., 1967, 120 с.

«Слово о полку Игореве». — Огонек, 1963, № 51, с. 14—15.

«Слово о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». М.: Худож. лит., 1964, с. 5—20. (Народная б-ка); 2-е изд. М.: Худож. лит., 1967, с. 5—20; 3-е изд. М.: Худож. лит. 1968, с. 5—20; 4-е изд. Л.: Худож. лит., 1976, с. 3—22.

«Слово о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве». Куйбышев, 1974, с. 5—33. (Школьная б-ка.)

Жанр «Слова о полку Игореве». — In: Atti del Convegno Internazionale sul tema: La poesia epica e la sua formazione (Roma, 28 marzo — 3 aprile 1969). Roma: Accad. nazionale dei Lincei, 1970, p. 315—330. [Текст на русском и англ. яз.]

«Слово о полку Игореве». — КЛЭ, т. 6. М., 1971, с. 961—963.

«Слово о полку Игореве». — В кн.: Д. С. Лихачев. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. (Б-ка «Любителям российской словесности».) М.: Современник, 1975, с. 132—205; 2-е изд., доп. М.: Современник, 1980, с. 163—240.

The Lay of Igor's Host. — In: Likhachov D. The Great Heritage. The Classical Literature of Old Rus. Moscow: Progress Publishers, 1981, s. 155—225.

Солнце русской поэзии. — Литературная газета, 1975, 22 октября, № 43, с. 6.

Героический пролог русской литературы. [Беседа с кор. С. Селивановой о «Слове о полку Игореве».] — Литературная газета, 1975, 23 июля, с. 6.

«Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. М.: Просвещение, 1976, 175 с.; 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1982, 176 с. [Пособие для учителя.]

Музей «Слова о полку Игореве». — Литературная газета, 1976, 1 января, с. 5. [Совместно с другими.]

«Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — В кн.: Древняя русская литература в исследованиях: Хрестоматия/Сост. Л. Н. Гусева, Л. Л. Короткая. Минск: Изд-во БГУ, 1979, с. 110—130.

344

Литература эпохи «Слова о полку Игореве». — В кн.: Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.: Худож. лит., 1980 с. 5—22.

«Слово о полку Игореве». Перевод И. Шкляревского. — Октябрь, 1980, № 9, с. 3. [Предисловие.]

Слово о походе Игоревом. — В кн.: «Слово о полку Игореве». Сост. А. Е. Тархов. М.: Молодая гвардия, 1981, с. 8—14. (Школьная б-ка.)

Слово о «Слове». [Беседа.] — Известия, 1982, 9 мая, с. 3.

«Слово о полку Игореве». — Неделя, 1984, № 23, с. 19. [Совместно с Л. Дмитриевым и О. Твороговым.]

В защиту «Слова о полку Игореве». — Вопросы литературы, № 1984, № 12. [Полемика с очерком А. Никитина «Испытание „Словом“». — Новый мир, 1984, № 5—7.]

ИЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

«Слово о полку Игореве». (Б-ка поэта. Малая серия. 2-е изд.) Л.: Советский писатель, 1949, с. 5—110, 163—204. (Б-ка поэта. Малая серия, 3-е изд.) Л.: Советский писатель, 1953, с. 5—80, 233—275. [Вступительная статья, редакция текста, прозаический перевод, примечания.]

«Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, с. 5—31, 53—101, 229—290, 352—466. [Подготовка текста, ритмический перевод с древнерусского и объяснительный перевод, статья, комментарии, разночтения и примечания.]

«Слово о полку Игореве». М; Л.: Детгиз, 1953 [на обл. 1952.], с. 5—111, 165—221; 2-е изд., доп. М.; Л.: Детгиз, 1954 [на обл. 1955], с. 5—111, 166—228; 3-е изд. М.; Л.: Детгиз, 1961, с. 5—111, 166—228; 4-е изд. М.: Дет. лит., 1970, с. 5—107, 157—220; 5-е изд. М.: Дет. лит., 1972, с. 5—107, 157—220; 6-е изд. М.: Дет. лит., 1975, с. 5—107, 157—220; 7-е изд. М.: Дет. лит., 1978, с. 5—107, 157—220; 8-е изд. М.: Дет. лит., 1979, с. 5—107, 157—220; 9-е изд. М.: Дет. лит., 1980, с. 5—107, 157—220; 10-е изд. М.: Дет. лит., 1983, с. 5—107, 157—220. [Вступительная статья, редакция текста, дословный и объяснительный перевод с древнерусского, примечания.]

«The Lay of the Warfare Waged by Igor. Moscow: Progress Publishers, 1981, s. 9—123. [Редакция текста, перевод с древнерусского; вступительная статья и примечания на англ. яз.]

«Слово о полку Игореве». Калининград, 1971, с. 5—111, 165—228. [Вступительная статья, редакция текста, дословный и объяснительный перевод с древнерусского, примечания.]

[Прозаический перевод с древнерусского «Слова о полку Игореве»]. — In: Das Igor — Lied eine Heldendichtung. Der altrussische Text mit der Übertragung von Rainer Maria Rilke und der neurrussischen

345

Prosafassung von D. S. Lichatschow. Leipzig: Insel — Verlag, 1960, S. 51—64.

«Слово о полку Игореве». (Б-ка поэта. Большая серия. 2-е изд.) Л.: Советский писатель, 1967, 539 с. [Вступительная статья; составление и подготовка текстов совместно с Л. А. Дмитриевым; перевод с древнерусского совместно с Л. А. Дмитриевым и О. В. Твороговым.]

«Слово о полку Игореве». — В кн.: «Изборник». Сборник произведений литературы Древней Руси. (Б-ка всемирной литературы.) М.: Худож. лит., 1969, с. 196—213, 715—726. [Подготовка текста, перевод и примечания.]

«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Художник В. Семенов. Л.: Художник РСФСР, 1971, с. 4—111. [Подготовка текста, перевод с древнерусского, послесловие.]

Древняя русская литература. [«Слово о полку Игореве».] — В кн.: Русская литература. Хрестоматия для 8 класса средней школы/Сост. Т. П. Казымова. М.: Просвещение, 1974, с. 3—18; 2-е изд. М.: Просвещение, 1975, с. 3—18; 3-е изд. М.: Просвещение, 1976, с. 3—18; 4-е изд. М.: Просвещение, 1978, с. 3—18; 5-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1980, с. 3—18; 6-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1983, с. 3—18. [Предисловие, примечания, подготовка текста и перевод с древнерусского совместно с Л. А. Дмитриевым и О. В. Твороговым.]

«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова». Перевод. — В кн.: Слово о полку Игореве в переводах А. Мусина-Пушкина, А. Майкова, И. Новикова, А. Югова, Н. Заболоцкого, Л. Дмитриева, Д. Лихачева, О. Творогова, Н. Рыленкова. М.: Современник, 1975, с. 211—230. [Совместно с Л. Дмитриевым и О. Твороговым].

[Ритмический перевод с древнерусского на современный русский язык «Слова о полку Игореве».] — In: Igló Endre, Misley Pal. Régi orosz széprőza [Древнерусская художественная проза]. Budapest: Tankönyvkiadó, 1977, old. 46—66.

Слово о полку Игореве. Киев: Дніпро, 1979, с. 10—45, 89—118. (Школьная б-ка.) [Редакция текста, перевод с древнерусского, примечания].

Слово о полку Игореве. (Школьная б-ка). Минск: Юнацтва, 1981, с. 5—37, 60—79. [Предисловие, дословный и объяснительный переводы.]

Слово о полку Игореве. — В кн.: За землю Русскую!: Памятники литературы Древней Руси XI—XV веков/Сост., вступительная статья, комментарии и подбор миниатюр Ю. К. Бегунова. Худож. В. Носков. М.: Сов. Россия, 1981, с. 102—125. [Редакция текста и перевод.]

Слово о полку Игореве. — В кн.: О, Русская земля! [Библиотека русской художественной публицистики]/Сост., предисловие и примеч.

346

В. А. Грихина. М.: Сов. Россия, 1982, с. 248—256. [Перевод с древнерусского на совр. рус. яз.]

«Слово о полку Игореве» (Классики и современники. Поэтическая библиотека). М.: Худож. лит., 1983, с. 3—79, 163—187. [Вступительная статья, подготовка текста, дословный и объяснительный перевод с древнерусского.]

«Слово о полку Игореве» — В кн.: Повести Древней Руси XI—XII века. (Б-ка «Страницы истории отечества».) Л.: Лениздат, 1983, с. 14—16, 378—411. [Вступительная статья, подготовка текста, перевод.]

«Слово о полку Игореве». Алма-Ата: Мектеп, 1983, с. 5—20, 55—79. (Школьная б-ка.) [Вступительная статья, объяснительный перевод, комментарии.]

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГБЛ — Государственная Публичная библиотека им. В. И. Ленина
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения (СПб.)
МГИАИ — Московский Государственный историко-архивный институт
ОЛЯ — Отделение литературы и языка (АН СССР)
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности (АН, СПб.)
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом)
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете

347

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

Авраамка 94
Аепа 130
Александр Чарторыйский 223
Александр Ярославич Невский 43, 44, 127, 184, 220, 245
Алексей Михайлович 69, 222, 285
Андрей Владимирович Добрый 130
Андрей Михайлович Курбский 226
Андрей Юродивый 279
Андрей Юрьевич Боголюбский 133, 151, 154, 201, 203, 207, 209, 277
Антоний, епископ черниговский 154
Асалуп 130
Асмолд 209

Батый 8, 26, 43, 45, 87, 192, 266
Беглюк 130
Боз 178
Болеслав II 99
Болеслав Кривоустый 136, 137
Боняк 108, 120, 213, 223
Борис Владимирович 10, 41, 149, 162, 163, 186, 201
Борис Вячеславич 56, 86, 87, 89, 107, 109, 121, 122, 166, 220, 221
Борис Юрьевич 202
Борисовичи 91
Боян 21, 26, 35, 36, 37, 49, 56, 57, 59, 62, 85, 86, 100—103, 109—111, 117, 205, 221, 231, 232, 240, 247, 250, 333
Брячислав (в «Слове») 231, 308
Брячислав Василькович 156
Брячислав Изяславич 92
Бякоба 157

Варлаам Хутынский 63
Василий Васильевич Темный 94, 223
Василий Косой 94
Василько Романович 184, 203, 205, 226
Василько Ростиславич Требовльский 14, 183, 190, 208
Васильковичи 91
Велес 26, 28, 103, 247
Владимир Андреевич 203
Владимир Василькович 67, 68, 190, 208
Владимир (Владимирко) Владимирович 122, 134, 137, 198, 210, 220
Владимир Всеволодович Мономах 10, 14, 23, 33, 41, 43, 49, 57, 66, 68, 71, 72, 78, 83, 84, 88, 100, 107, 108, 137, 139, 175, 190, 192, 193, 219, 221, 222, 225, 245, 261, 281, 295, 296, 298, 299, 300, 303

Владимир Глебович Переяславский 21, 132, 151, 155, 160, 161, 164, 299, 307
Владимир Глебович Рязанский 140
Владимир Давыдович 153, 184, 217
Владимир Игоревич 21, 118, 130, 131, 147, 157, 184, 195
Владимир Мстиславич, сын Мстислава Владимировича 161
Владимир Мстиславич Дорогобужский 136, 192, 218
Владимир (Володарь) Ростиславич 208
Владимир Рюрикович 67
Владимир Святославич (I) 17, 26, 74, 77, 79, 83—85, 92, 93, 178
Владимир Святославич, сын Святослава Всеволодовича 144
Владимир Ярославич Галицкий 141, 147
Владислав Герман 137
Всеволод (в «Слове») 231
Всеволод Глебович 140
Всеволод Мстиславич, сын Мстислава Владимировича 168, 169
Всеволод Мстиславич, сын Мстислава Изяславича 136
Всеволод Ольгович 152, 167
Всеволод Святославич 18, 21, 33, 53, 59, 66, 67, 117, 118, 120, 121, 124, 129—131, 144, 147, 164, 173, 184, 192, 200, 230, 231, 243, 246—248, 258, 275
Всеволод Святославич Чермный 191
Всеволод Юрьевич 23, 48, 55, 60, 98, 116, 124, 125, 132, 133, 140, 141, 156, 158, 169, 173, 200, 223, 226, 305
Всеволод Ярославич, сын Ярослава

348

Владимировича 33, 86, 100, 105, 137, 151
Всеволод Ярославич, сын Ярослава Изяславича Луцкого 136, 214, 224, 247
Всеслав Василькович 156
Всеслав Брячиславич Полоцкий 27, 54, 56, 57, 60, 76, 77, 89—94, 96, 97—106, 109—111, 115, 117, 123, 138, 166, 167, 172, 184, 203, 208, 214, 231, 232, 241, 243, 247, 258
Всеславичи 27, 93—96, 107, 109, 110, 123, 201, 203
Вячеслав (Вацлав) Чешский 291, 292
Вячеслав Владимирович 108, 135, 189, 191, 218
Вячеслав Ярославич 86
Вышата 183
Вятко 57, 77

Гза (Гзак, Кза) 108, 119, 120, 240
Глеб Владимирович 10, 41, 149, 162, 163, 186, 201
Глеб Рогволодович 156
Глеб Ростиславич 133
Глеб Святославич, сын Святослава Всеволодовича 158, 201
Глеб Святославич, сын Святослава Ярославича 86
Глеб Юрьевич 151, 153
Глебовичи 91
Глебовна 67
Гостомysl 323
Григорий, архиепископ российский 35
Григорий, монах Киево-Печерского монастыря 89
Гюрги Жирославиц 167

Давыд Ольгович 144
Давыд Ростиславич 84, 116, 122, 132, 133, 134, 140, 146, 156—157, 203, 211, 219, 241, 243, 246, 270
Давыд Святославич 163, 190, 252
Дажьбог (Дажьбожи внуки) 26, 28, 33, 45, 102, 103, 122, 194, 246, 319
Даниил Заточник 14, 15, 16, 33, 43, 44, 127, 141

Даниил Иванович (Божин внук) 94
Даниил Романович Галицкий 29, 66, 67, 85, 125, 184, 200, 203, 209
Демьян, галицкий тысяцкий 125
Дмитрий Вольнец 32
Дмитрий Иванович Донской 228, 290
Добрыня 85
Довмонт (Тимофей) 43, 44

Елтут 157
Епифаний Премудрый 256
Еупатий (Евпатий Коловрат) 192
Ефимий, епископ переяславский 161

Иван Берладник 203
Иван Васильевич (III) 125
Иван Васильевич (IV) 125, 226
Игорь, сын Рюрика 79, 80
Игорь Ольгович 10, 76, 148, 149, 152, 155, 161, 162, 216
Игорь Святославич 4, 10, 16, 18—22, 32, 33, 35, 42, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 68, 81, 83, 84, 88, 90, 91, 101, 107, 108, 110, 111, 116—124, 126—131, 139, 143—165, 167—169, 171—175, 183, 184, 192, 195, 200, 204, 208, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 226, 230—232, 242—244, 246—251, 252, 253, 259, 263, 264, 267—276, 287, 290, 291, 293, 302, 317
Изяслав Василькович 57, 90, 117, 138, 200, 231, 232, 249, 250
Изяслав Владимирович, сын Владимира Мономаха 221
Изяслав Владимирович, сын Владимира Святославича 92
Изяслав Глебович 207
Изяслав Давыдович 147, 153, 154, 217
Изяслав Мстиславич 44, 76, 135, 137, 152, 153, 154, 161, 191, 203, 206, 210, 211, 216—218, 220, 223, 255
Изяслав Ярославич, сын Ярослава Изяславича Луцкого 136
Изяслав Ярославич, сын Ярослава Мудрого 97—100, 107, 165—167, 169
Иларион, митрополит 43, 44, 57, 74, 75, 78
Ингварь Ингорович 45, 267
Ингварь Ярославич 136, 214, 224, 247

349

Казимир Справедливый 137
Кирик 168
Кирилл Туровский 31, 34, 36, 37, 41, 110, 240
Климент Смолятич 154
Кобяк 91, 157, 158
Козел Сотанович 157
Константин, митрополит киевский 154
Константин Всеволодович 135, 200
Кончак 91, 108, 109, 119, 120, 130, 131, 140, 155, 157—159, 171, 173, 195, 225, 227, 240, 247, 301
Кунычюк 157

Лавор см. Овлур
Ларион (Иларион) сочьский 218
Лев Данилович 192, 200, 207, 208
Леон, епископ ростовский 154

Макарий, митрополит 280
Мал 289, 290, 291
Мамай 94
Мария Васильевна Полоцкая 27
Мария Святославна 148
Мешко (Мечислав) Старый 137, 206

Михаил Всеволодович Пронский (кир Михаил) 266
Михаил (Михалка) Юрьевич 140, 161, 277
Михаил Ярославич Тверской 219
Моисей, игумен Выдубицкого монастыря 146
Мономахович 96, 132, 149, 151, 156, 158, 161, 162
Мстислав (в «Слове») 44, 48, 135
Мстислав Владимирович, сын Владимира Святославича 56, 59, 85, 86, 89, 100, 109, 110, 118, 273
Мстислав Владимирович, сын Владимира Мономаха 77, 108, 136, 171, 173, 221, 281, 282
Мстислав Всеволодович Городенский 135
Мстислав Данилович 190, 208
Мстислав Изяславич 44, 136, 192, 211, 218
Мстислав Мстиславич 67, 77, 78, 189, 191
Мстислав Ростиславич 146
Мстислав Святославич 144, 158
Мстислав Юрьевич 203
Мстислав Ярославич Пересопницкий 135, 136
Мстиславичи 136, 137, 151, 203, 214, 224

Некомат 94

Никифор, митрополит киевский 33
Никола Заразский 22, 45
Нифонт, архиепископ новгородский 123, 168, 288

Овлур 175, 246

Олег, князь русский 26, 79, 80
Олег Игоревич 130, 147
Олег Святославич (Гориславич) 14, 27, 51, 54, 56, 77, 87, 89, 90, 96, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 130, 142, 144, 165, 175, 190, 192, 194, 201, 202, 221, 231, 245, 246, 250, 353
Олег Святославич, сын Святослава Всеволодовича 147—150, 154, 155
Ольга, жена князя Игоря 77, 79, 81, 183, 290, 291
Ольга Романовна 67
Ольговичи 27, 56, 62, 96, 106, 109, 110, 117, 125, 132, 147, 150—156, 158, 160, 161, 162, 172, 173, 174, 216, 275, 311, 316, 319
Осень 130
Отрок 23, 108, 109, 120

Пересвет 212, 228

Перун 28, 103
Петр Бориславич 232
Петр Ильич 148
Претич 201

Радим 58, 77

Ратьша 190
Рах 115
Редедя 56, 85, 86, 89, 273
Рогволод, князь полоцкий 92, 93, 189
Рогволод (Рагъволод) Борисович 153
Рогнеда 92, 93, 189
Роман Брянский 67
Роман Мстиславич Галицкий 14, 22, 23, 24, 48, 54, 135—137, 184, 226
Роман Ростиславич 146, 148, 155
Роман Святославич 86, 100, 109, 110, 118

Ростислав Всеволодович 20, 34, 50, 56, 68, 86, 88, 89, 248, 311
Ростислав Мстиславич 135, 148, 152, 154, 280, 281

Ростислав Юрьевич 152, 153, 202
Ростислав Ярославич 144
Ростиславичи 146, 154, 156, 162
Рюрик, князь русский 54, 77
Рюрик Ростиславич 56, 84, 116, 117, 122, 124, 130, 132—134, 140, 146, 151, 155, 157, 148, 174, 211, 219, 241, 243, 246
Рюриковна, дочь Рюрика Ростиславича 158

С
Сварог 28
Свенелд 209
Святополк Изяславич 107, 108, 130, 165, 166, 190, 306
Святослав Владимирович 108
Святослав Всеволодович 16—18, 21, 27, 42, 44, 48, 54, 55, 59, 60, 64, 109, 117, 119, 121, 122, 124—128, 130—133, 139, 140, 144, 155—159, 171, 173, 174, 200, 212, 223, 227, 231, 244, 251, 253, 258, 267, 268, 275, 288—292, 309—311
Святослав Игоревич, внук Рюрика 79, 81, 183, 208, 209, 224, 242
Святослав Игоревич, сын Игоря Святославича 147
Святослав Мстиславич 136
Святослав Ольгович 26, 123, 147—150, 152—156, 161, 167—169, 174, 191, 210, 217
Святослав Ольгович Рьльский 130, 131
Святослав Ростиславич 146
Святослав Ярославич 47, 100, 105
Севенч Бонякович 213
Серапион Владимирский 10
Сергий Радонежский 257
Соловей Будимирович 42
Софья Витовтовна 94
Степанко, новгородец 94
Стефан, игумен Киево-Печерского монастыря 280

Т
Твердислав 191
Тотур 157
Троян 28, 96, 97, 101—106, 142, 246, 319, 323
Тугорхан 130

Ф
Феодосий Печерский 63, 67, 73, 74, 280
Феоктист, епископ черниговский 252

Х
Ходына 103, 231, 232, 250
Хорс 28, 103

Ч
Чюгай 157

Ш
Шарукан 107—109, 120, 171

Ю
Юрий Владимирович Долгорукий (Гюрги, Дюрдий) 23, 45, 125, 130, 133, 137, 148, 151—153, 191, 214
Юрии Всеволодович 189, 191, 219, 226
Юрий Львович 190

Я
Якун 169
Ян Вышатич 77, 201
Ярополк Владимирович 108, 152, 173
Ярополк Изяславич 137
Ярослав Владимирович, сын Владимира Мстиславича 90
Ярослав Владимирович Галицкий (Осмомysl) 54, 60, 62, 116, 125, 126, 132—134, 135, 140, 141, 147, 160, 211, 214, 215, 225, 247, 305, 322

Ярослав Владимирович Мудрый 33, 57, 59, 78, 85, 92, 93, 101—104, 106, 109, 110, 116, 117, 118, 138, 142, 167, 172, 203, 213, 216, 231, 245, 258, 296
 Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Юрьевича 130, 219
 Ярослав Всеволодович Черниговский 57, 90, 91, 95, 109, 131, 144, 145, 147
 Ярослав Изяславич Луцкий 136, 155
 Ярослав Святополчич 137, 214
 Ярослав Святославич 156
 Ярослав Юрьевич Пинский 91, 95
 Ярославичи 90, 92, 95, 96, 101, 102, 104, 107, 123, 201, 203
 Ярославна 17, 20, 21, 60, 67, 123, 248, 249, 268, 269, 274, 318
 Ясыня 158

351

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
«Слово о полку Игореве» и особенности русской средневековой литературы	6
«Слово» и эстетические представления его времени	39
Исторические и политические представления автора «Слова о полку Игореве»	76
*Летописный свод Игоря Святославича и «Слово о полку Игореве»	145
*К вопросу о «Слове о полку Игореве» как историческом источнике	176
Устные истоки художественной системы «Слова»	182
*Тип княжеского певца по свидетельству «Слова о полку Игореве»	230
Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве»	234
Представление о времени в «Слове»	254
*«Свет» и «тьма» в «Слове о полку Игореве»	261
Катарсис в «Слове о полку Игореве»	265
«Пирогощая» «Слова о полку Игореве»	270
Сон князя Святослава в «Слове»	288
История подготовки текста «Слова о полку Игореве» к печати в конце XVIII в.	293
<i>Несколько замечаний в помощь начинающим изучать «Слово о полку Игореве»</i>	332
Библиография работ Д. С. Лихачева по «Слову о полку Игореве»	337
Список сокращений	346
Указатель имен	347

352

Лихачев Д. С.

Л65 «Слово о полку Игореве» и культура его времени: Монография. — 2-е изд., доп. — Л.: Худож. лит., 1985. — 352 с.

В исследовании академика Д. С. Лихачева «Слово о полку Игореве» рассматривается в связи с историческими и эстетическими представлениями эпохи, на фоне историко-литературного процесса Древней Руси. В работе неопровержимо доказывается подлинность «Слова». Новое, второе, издание дополнено исследованием представлений автора «Слова» о «свете» и «тьме», о поэтике повторяемости, о типе княжеского певца.

Книга предназначена специалистам и всем читателям, интересующимся этим великим произведением. Исследование выходит в год 185-летия со времени первой публикации «Слова».

4603010100-056
Л ————— 221-85
028(01)-85

ББК 83.3Р1

**Дмитрий Сергеевич
Лихачев**

«СЛОВО
О ПОЛКУ
ИГОРЕВЕ»
И КУЛЬТУРА
ЕГО ВРЕМЕНИ

Редактор Т. Мельникова. Художественный редактор Р. Чумаков. Технический редактор М. Шафрова. Корректор Л. Никольшина.

ИБ № 3922

Сдано в набор 26.04.84. Подписано в печать 10.12.84. М 25599. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48 + вкл. 0,1 = 18,58. Усл. кр.-отт. 19,0. Уч.-изд. л. 20,42 + 1 вкл. = 20,51

Тираж 20 000 экз. Изд. № IX-94. Заказ № 1403. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15